СОДЕРЖАНИЕ

В. Савельева. Вместо предисловия. Предостережение настоящему в романах Геннадия Доронина 6

Высокая эротика катастроф (Ромашка) 19
Реальность номер один (Сборка) 40
Эмиграция в ноябре 218
Трилогия
Тайна 258
Шамбала Иванова 276
Блэк энд Голд (черное и золотое) 305
Ставка по максимуму 331
За подкладкой 373

Вместо предисловия

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ НАСТОЯЩЕМУ В РОМАНАХ ГЕННАДИЯ ДОРОНИНА

Два романа, написанные с интервалом в три года, тесно связаны между собой и их можно представить как дилогию. «Реальность номер один» (2014) имеет подзаголовок «роман-пародия». Сатирическое, ироническое, пародийное, действительно, определяют содержание и стиль романа, но его жанровая сверхзадача, по-моему, — это представить картины жизни Земли в относительно недалеком будущем накануне экологической катастрофы, которая уничтожит всё. Футурологические прогнозы автора неутешительны. Люди также несовершенны, управляемы, коварны и простодушны одновременно, их легко подчинить хлебом, обмануть тайной или обольстить чудом. Андроиды, разумные механизмы, генетические мутации и технические открытия не улучшили жизнь, а привели к еще большему социальному расслоению землян. Все это и многое другое позволяет назвать «Реальность номер один» антиутопией.

Этот жанр крайне востребован современной литературой. Если в основе утопии лежит оптимистическая вера в возможности разумного развития цивилизации, то антиутопия, наоборот, представляет катастрофические картины возможной эволюции. В антиутопии Доронина объединились элементы научной и гротесковой фантастики, социальной сатиры и экологического прогнозирования.

Действие романа происходит на планете Земля. Всем известно, что планете грозит катастрофа. На Земле принято решение оставить родную планету. Разрабатываются разные варианты спасения. Например, в секретной

космической лаборатории ученые сумели построить искусственную автономную планету, на которой можно в открытом космосе пережидать катастрофу. Но такая планета со всеми удобствами для одной семьи стоит сто миллионов мань — а это очень дорого. Более приемлемый выход — это строительство космических ракет по секретному плану «Ковчег», которые увезут людей с земли.

События в романе развиваются в трех параллельных сюжетных линиях. На секретном Полигоне, который расположен в степях Казахстана, где кипит работа над грандиозным космическим проектом по созданию Ковчегов для переселения землян. В покоях циничного и коварного императора Ликурга Шестнадцатого, который подозревает в измене всех и цинично уверен в своей безнаказанности и защищенности. Наконец, в большом пространстве среди полуразрушенных городов и в подземном мире, столицей которого является город Майна, где скрываются бунтари, зараженные радиацией, и мутанты. Майна — это особое место, где, по выражению одного фантастического персонажа романа, «не живут, а прячутся». В Майну можно попасть из разных мест, но герои романа попадают в Майну через озеро. То есть город открывается им как новый град Китеж.

В романе несколько главных персонажей. Девушка Натаха, как ее звали в детстве, а сейчас конструктор Наталья Павловна выполняет в лаборатории Полигона важную секретную миссию по разработке «гайки повышенной прочности», которая должна выдерживать 15 тонн веса. Как только будет приготовлено достаточное количество гаек повышенной точности и прочности, начнется сборка Ковчегов Надежды. Свою молодость, красоту, здоровье Натаха отдает выполнению этого секретного задания, но в своих мыслях эта красавица-девица мечтает о Егории, друге детства, с которым росла вместе на маленьком полустанке. Жизнь развела их, но и Егорий, который стал знатным станочником, не забыл свою землячку. Конечно,

Натаха создает такую гайку. Ее пытается обольстить и запугать коварный технорук Пахом Пахомыч, который знает, что Ковчеги «будут строиться только для людей высшей очистки, безупречной верности и эволюционной ярости». Он говорит испуганной Наталье: «Ни андроиды, ни дебилы, ни люди бункеров и шахт — вся эта бунтовщицкая шваль — на них не попадут! Грядет великий очищающий Отбор!». Как в сказке, Егорий является в самый нужный момент и спасает красавицу. Теперь они оба и приятель Егория Артур, выросший на Майне, оказываются беглецами и преступниками. Читатель становится свидетелем истории преследования врагов империи.

Автор не случайно выбирает для своего героя имя Егорий. Георгий — имя знаковое в русском фольклоре и славянской мифологии. Георгий Победоносец выступает как покровитель скота, воин и змееборец (драконоборец). С 14 века Георгий на коне рассматривается как покровитель Москвы, а с 1769 года в России был учрежден военный орден св. великомученика и победоносца Георгия, в 1913 — военный Георгиевский крест. В духовном стихе о «Егории Храбром» Егорий терпит мучения за веру и 30 лет проводит в подземной темнице. Все завершается богатырским поединком с «царищем Демьянищем».

В романе Г. Доронина одним из врагов Егория выступает Генеральный Куратор Полигона Демьян Третий. Бунт, на который решается Егорий, сочетает славянское отчаяние, французское вольнодумство и европейское рыцарство. Не случайно с детства в его воображении существуют слова «ратуша» и «Бастилия, которую все время штурмует разгневанный народ, возглавляемый храбрым Гаврошем».

В основе фантастического государства будущего, описанного в романе, лежит западный вариант римской империи и восточный тип деспотии. Г. Доронин создает откровенную сатиру на абсолютную и тоталитарную власть, которая опирается на послушный ей аппарат. Империя

живет по законам Дисциплинария и Манифеста Прав и Обязанностей Человека, «в котором обязанности занимали пятьсот страниц, а права две строчки».

В главе, носящей библейское название «Исход», описываются тревожные волнения и сборы землян перед отлетом. «За последние месяцы Солнце как будто потяжелело, хмуро смотрело на Землю, ученые опасались, что Сборка и Эвакуация может затянуться, и тогда ничто не спасет планету вместе с Ковчегами.

Хаос, атмосфера страха и содом царят не только на земле, но и в поземном городе Майне, куда, преодолевая все трудности, добираются Натаха, Егорий, Артур и Боевая Фиолетовая крыса. Они решают встретиться с искусственным интеллектом Ремембером и задать ему вопрос о судьбе Солнца и Земли: «И все сразу станет ясно — оставаться здесь или удирать с этой планеты поскорей».

В романе много остроумных сцен с фантастическими явлениями персонажей и гротесковыми превращениями. Именно так среди спасающихся от преследователей главных героев появляется Боевая Фиолетовая крыса величиной с сенбернара, продукт генетических экспериментов. Такие крысы владеют боевыми искусствами, делают до шестидесяти выстрелов в секунду, могут набирать на компьютере до трехсот знаков в минуту и находятся на службе безопасности государства. Герои приготовились к смертельной схватке, но крыса вдруг швыряет оружие под ноги и произносит глухим голосом сакральную, как в сказке, фразу: «Возьмите меня с собой. Я пригожусь. Я много чего умею». И, действительно, оказывается чудесным помощником, да еще и философом, потому что поучает: «Молите Создателя, что я перешла на вашу сторону…Мир полон страстей. Сам мир — страсть, так мы всегда готовы подлить в него, как вино в переполненный кубок, еще и еще своих любовей, разводов, расставаний, кажущихся нам роковыми, не замечая, что из кубка уже льется через край… Вы, люди, умеете любить

всегда через край, ненавидеть только до зубовного скрежета — инстинкты, заложенные природой, вы для чего-то превращаете в абсурд — с дуэлями, доносами, клятвами, слезами и часто в итоге с ненавистью… Вы готовы полюбить с полуоборота, вы сходитесь друг с другом, как в бою. Вы охотно ставите слово «любовь» в один ряд со «смертью». Вот наш крысиный мир холоден, но прекрасно организован. Поэтому нас больше, чем людей, в нас больше гармонии…».

Роман-пародия, как называет его Доронин — это не просто остроумный фантастический текст, хорошо написанный, вычурно выстроенный, наполненный событиями смешными, а местами страшными — это книга о ***реальности номер один***, смысл которой хочет открыть нам писатель. Смысл названия становится ясным из монолога одного из персонажей, который продает у ворот Императорского парка свои цепи: «Купите, купите, купите цепь, это самая надежная, самая незаменимая деталь в устройстве мира… Вы все собираетесь в новый мир, но как в нем обойтись без цепей?.. Купите, купите!.. Это воплощенная в чугуне реальность номер два… Вы еще не забыли, что ***реальность номер один в нашем мире — это жизнь***. Если это вообще реальность… А может, цепь — наипервейшая наша реальность? Купите, купите на дорожку цепь!.. А вдруг реальности нет совсем, а?..». Охрана в парке решила положить конец этому концерту. Продавца объявили сумасшедшим

Финал романа загадочен. В нем описана катастрофа, но распространяется она на всю Землю или только на надземный мир — не ясно. «Солнце вдруг стало распухать, невиданным еще протуберанцем тянуться к Земле. В одно мгновенье эта раскаленная солнечная плоть поглотила скорлупки кораблей, они вспыхнули, как спичечные головки, и посыпались на Землю подсолнечной шелухой. — Аааааа! — раздался тысячеголосый вопль, но скоро стих. …Так для чего тогда пел сверчок? Для чего проливался утренний дождь и сумасшедший жерех вылетал чуть не на метр над поверхностью реки? Для…».

Роман начинается с упоминания песни сверчка и воспоминанием о ней завершается. Может, этим выражается надежда на то, что жизнь не должна исчезнуть и земной мир будет спасен? Но здесь мы нарушаем границы и чистоту жанра антиутопии и склоняемся в другой жанр — утопию. А это уже не «Реальность номер один».

Небольшой сатирический роман из десяти глав «Высокая эротика катастроф» (2017) автор ласково или снисходительно называет «ромашкой», и он естественно вписывается в творческую биографию писателя Доронина, который от лиризма, юмора, иронии переходит в зрелой прозе к сатире и гротеску. Стиль писателя узнаваем: сочетание реализма и фантастики, нарушение временной последовательности событий (этакий рваный нарратив), соседство сказовой манеры и описательности, открыто выраженная любовь к малой и большой Родине и прорывающийся тенденциозный пафос — то, что Лев Толстой назвал «не могу молчать!».

Главный герой Бочаров перекочевал на страницы произведения из «романа путешествий и приключений» «Остров» (2012). В «Острове» это милый чудак немного за тридцать, который живет с матерью в подвальном этаже без окон, где никогда не выключается электричество. Он откровенно признается, что «считает себя стариком», не любит женщин, а любит читать книги и сочувствует тем, кто их сочиняет, потому что им «некогда читать». «Читателей-то всё меньше, преобладают писатели». «Книг у него было огромное количество. Целые холмы, горы книг». Но хранит он их на чердаке и там, на чердаке или на крыше, читает. Автор рассказывает о «жителях крыш» с нежной иронией: там были жители пятьдесят третьего года, «много было более поздних людей — шестидесятых, семидесятых годов», «очень много начала нового века», но «попадались здесь люди тридцатых годов

и даже двадцатых, правда редко». Связей с «нижними» людьми «люди крыш» старались избегать.

Прошло примерно десять лет. Бочарову уже сорок два. В начале романа «Высокая эротика катастроф» читатель узнает, как неожиданно изменяется жизнь Бочарова после смерти матушки и встречи с соблазнительной красавицей Машей, которая полезла на крышу, чтобы достать унесенную ветром тоненькую, прозрачную и дорогую ночную рубашку, подарок любовника Генерала. Чтобы лучше представить ситуацию, приведем цитату из первой главы романа: «Как-то раз ее тоненькая ночная рубашка, соблазненная утренним ветром, была сорвана этим ветром, с бельевой веревки и унесена куда-то на ржавые пространства. Маша не очень дорожила рубашкой, потому что, скажу по секрету, спала совершенно обнаженной; она часто и по квартире ходила нагой, ни мало не смущаясь бывшего мужа, но все-таки захотела рубашку вернуть с крыши, потому, что, объясняла она потом Бочарову, это был подарок Генерала — он привез рубашку из самого Парижа, куда ездил (вместе с женой своей Агнетой Карловной, светской львицей, записной красавицей, фотомоделью, киноактрисой) на международную военную конференцию». Маша просит Бочарова спасти ее «ночнушку», которая зацепилась за самую высокую антенну, и принести в квартиру номер пять этого дома.

Вот так «свободная женщина Маша» полностью перекроила судьбу Бочарова: «Маша, можно сказать, сбила его для себя с крыши, как палкой сосульку». Она убедила его переселиться в свою двухкомнатную квартиру, объяснила, что мир теперь живет на пороге различных предсказанных учеными и политиками катастроф. А раз так, то надо ловить момент и наслаждаться. «Один мой знакомый Генерал считает, что волна эротизма, секса без обязательств, захлестнувшая мир, — это не совсем осознанный ответ человечества, живущего под постоянной угрозой уничтожения: живи и люби, как в последний час мира…

Вот поэтому даже в обводах современных небоскребов, в очертаниях огромных машин, даже атомных подводных лодок, нам мнятся фаллические символы».

Выясняется, что, пока Бочаров прятался на крыше, нижний мир стал другим. Бочаров кое-что об этом знал или догадывался. Например, он знал, что книги стали странной, даже запретной диковинкой. Однажды одну молоденькую журналистку с телевидения, которой поручили подготовить передачу «Забытая старина», направили к нему, так как в городской библиотеке «не смогли подобрать необходимых бумажных книг, чтобы напомнить телезрителям, как они выглядели во времена Пушкина». Её очень удивило, что во времена Пушкина не было электронных книг. «Но что она могла предложить, если у каждого, кто помнил, как читать книги (теперь говорили «юзать книги»), была гетеродинная флеш-карта, на которой размещена вся разрешенная мировая литература — до единой запятой, даже записки писателей в кассу взаимопомощи, даже их доносы друг на друга. Эту флешку можно было купить в любой табачной лавке, ее давали на сдачи в пивных ларьках». Эта журналистка называла Пушкина Львом Николаевичем и считала, что поэму «Демон» написал Стивен Кинг. Бочаров показал ей «свои сокровища», она была поражена. «Их можно трогать? — спросила она и взяла в руки увесистый том — «На ножах». — У нас в доме тоже были бумажные книги — две или даже три. Отец ими очень дорожил и с риском для себя и своих близких хранил их даже после выхода известного постановления об ограничении использования бумаги в книгоиздании, о запрете хождения и распространения социально-пустых, враждебных народу книг. Отец говорил, что книги нужно держать в руках, листать, читать-перечитывать, любоваться ими, как произведениями искусства…».

Конечно, книжная тема в романе Доронина перекликается с событиями фантастических антиутопий Р.Брэдбери и недавнего романа В.Сорокина «Манарага». Но теперь

это уже не далёкое будущее, а почти сегодняшний день. Ведь статистика книгоиздания и опрос читателей, действительно, показывают, что книги С.Кинга занимают главные позиции в рейтингах.

На пышной свадьбе Маши и Бочарова присутствуют все важные городские персоны, а также посетители салона, который собирает жена Генерала. После этого быт Бочарова преображается. «Как он иногда говорил сам, у него выбили из-под ног крышу». Правда, Маша купила ему дубовый письменный стол: «вдруг Бочаров захочет написать роман или мемуары, что-нибудь наподобие «Годы. Крыши. Люди». (Это любимые игры книгочея Доронина с читателем, который, конечно, должен вспомнить мемуары И.Эренбурга «Люди. Годы. Жизнь».)

Злободневность романа проявляется в сатирическом воплощении экологической «мусорной темы», темы коварных пришельцев, карамазовского разврата шоу-бизнеса, прощания с эпохой книжной культуры и, конечно, темами алкогольной и военной истерии.

Центральной городской политической фигурой и лидером «жителей города» является Генерал, который озабочен возможными последствиями новой войны, но одновременно рассуждает о «необходимости аннексии Луны, а со временем и всей галактики». Генерал снисходительно относится к проектам, которые задумывают и осуществляют его «светская львица» жена и его любовница.

Маша подсказывает Агнете Карловне идею построить новый город, центром которого станет новая Вавилонская башня. В события романа естественно вписывается фантастический сюжет строительства Нового Вавилона. Доронин по-своему реанимирует мифологему Вавилонской башни. Её начинают строить из мусорных отходов на городской свалке, тем самым хотят одновременно решить и экологическую проблему. Новая Вавилонская башня теперь должна будет не разъединить, а объединить людей. Жена с радостью сообщает Генералу: «Несколько дней назад я встретила на нашей башне человека, говорившего на странной смеси английского, французского и русского языков… Процесс, которому предстоит объединить народы, кажется начался...».

«А между тем гора, нависшая над городом, давно закрывала солнце, на улицах даже в полдень было сумрачно». Генерал предупреждает своих «заигравшихся девушек»: «нужно отпустить город из объятий мусорной горы». «Знаете ли вы, что гора постепенно вытягивает, высасывает, как пылесосом, из города его жителей. Прошел слух (не вы ли его сами распустили?), что во время ожидаемого через пару недель конца света спасутся только обитатели мусорного острова; люди бросают имущество и тянутся в ваш Новый Вавилон... ваш Новый Вавилон, — даже звучит как-то дико».

Любовный союз Маши и Бочарова скоро терпит катастрофу. Его выставляют из квартиры, и теперь Бочаров присоединяется к жителям мусорной горы. Он пассивно наблюдает за строительством Нового Вавилона. Его мучает ревность, и чтобы быть поближе к Маше, он соглашается принять участие во втором авантюрном проекте: экспедиции на байдарках по реке для жителей города и «вавилонцев». Слоган похода по реке Урал: «Единение, взаимопонимание, Бесконечный Порядок на фоне катастрофы».

Экспедиция получает имя «Эммануэль». Напомним, этим женским именем назывался изданный во Франции в 1959 году эротический роман, больше известный по экранизации семидесятых годов. Понятно, что персонажи Доронина не особенно различают, кто такой или такая Эммануэль. Это им не важно. А важно, что во время экспедиции рождается идея проведения конкурса, которому «залпом орудий салютовала страна».

Описание конкурса — это, по-моему, жесткая карикатура на современные коллективные музыкальные мероприятия, включая конкурс Евровидения. Доронин представляет заигравшуюся цивилизацию сытых и амо-

ральных людей, которые инфантильно не замечают, что происходит в мире. Подготовке и описанию конкурса посвящена глава «Триумф Эммануэль». «Шатер изображал вселенную — негасимый огонь мироздания, в этом шатре соревновались акыны, ашуги, скальды — пели, выводили речитативы, декламировали, иногда даже пританцовывали — о вечной любви отважного паренька Эманнуэля, не пожалевшего для любви собственной жизни. Строгое жюри оценивали произведения по десятибалльной шкале В этом им помогали мощные компьютеры».

Автор дает своему герою шанс одуматься, бежать из этого содома, опять стать жителем крыши. Но у «народа крыш» начался великий исход. «За последний год жизненное пространство значительно сократилось: половина старинного здания лежала в руинах, поговаривали, что власти готовятся снести все столетние дома и на их месте построить здания из стекла, алюминия, стали, с достающими до неба острыми шпилями».

Реальная катастрофа приближается, когда все узнают, что в недрах мусорной горы в результате различных химических процессов родилось гигантское мусорное существо Кло, которое потребовало, чтобы город откупался от него юными красавцами и красавицами. Генерал ведёт с ним переговоры, задабривает, но одновременно стягивает войска. Радикалы призывали к оружию: «Много воли дали инородцам!». Либералы выступали в газетах: ««Руки прочь от беззащитного гостя всех землян!», «Долой партию войны!», «Разумный пришелец — подарок истории!», «Распахнем гостеприимные объятья космическим братьям!», «Готовится подлое убийство!».

Введенные в роман такие сквозные для творчества Доронина персонажи, как книжник Бочаров или писатель Иванов, всё же очень близки автору. Может поэтому автор дарит Бочарову чудесный сон, который он видит в то время, когда конкурсная вакханалия достигает своего апогея. В этом необъявленном сне Бочаров оказывается в странном месте, у костра, где негромко разговаривают люди, потягивая вино из алюминиевых кружек. Бочаров вспомнил рассказы о лагере у реки. «В лагере собирались сочинители, художники, непризнанные гении из всех сфер высокого искусства и изводили друг друга неизданными стихами, невыставленными картинами, разговорами о сволочах — критиках, придурках — издателях, но больше всего доставалось редакторам, которые ничего не понимают в литературе, живописи, да вообще ничего не понимают». В своём сне он встречает ушедших из жизни знакомых и незнакомых людей искусства, а писатели несут ему рукописи с просьбами передать их в какое-нибудь издательство. Бочаров в конце концов соглашается взять и произносит: «Рукописи, конечно не горят, но легко могут потеряться в необъятных столах редакций, издательств...». Когда Бочаров просыпается в душной палатке с мыслью «приснится же такое», он видит, что в углу палатки свалена груда бумаги. А в сновидении, собирая рукописи «почивших писателей», Бочаров вспоминает «противные ему нынешние электронные книги, бестелесные фантомы, которые живут, пока пульсирует в их проволочных жилах электрическая кровь».

В конце романа Бочаров одержим желанием спасти себя, Машу, людей, город от ракетной атаки по мусорной горе, но уже поздно. «Внезапно, как будто подземная молния вспорола пол под ногами, и образовалась гигантская трещина, в которую в мгновение ока провалились пусковые столы, а следом и сами ракеты. Некоторые ракеты запустились как бы сами по себе, это сработала умная электроника и нанесла автоматический «удар возмездия», но большинство ракет взорвались еще на старте, и только несколько смертоносных снарядов ушли на цель. В огромном здании бушевал и раскидывал свои щупальцы огненный смерч. Люди сгорали, как спички. Никто не знал, где искать спасения. И тут в теле мусорной горы образовались гигантские вращающиеся воронки, и они принялись

затягивать «Новый Вавилон» в труднопредставимые подземные пространства».

«Было так страшно, что Бочаров закричал: «Help! Help!.. Маша!!!». «И никто друг друга не понимал… И никто никого не любил… В те дни мир погибал, и, кажется, погиб».

Однозначный финал романа, когда гибнут все, не внушает оптимизма, звучит как приговор фантастическому Новому Вавилону, его жителям, а может всем, живущим сегодня.

В двух романах, которые я условно объединила в дилогию, представлены острые углы современной цивилизации. Жизнь так стремительно меняется, что человеку, как и героям романов, трудно что-либо прогнозировать и сделать нужный выбор, о котором они потом не пожалеют.

Вера Савельева,
доктор филологических наук, профессор

«…Сяду, накатаю повестушку, экое дело,
а напишется больше — назову «ромашкой» —
не романом же...»
Из интервью Михаила Чудинова-Бухалова
корреспонденту «Time»

ВЫСОКАЯ ЭРОТИКА КАТАСТРОФ (Ромашка)

Глава первая: на ржавых пространствах

Она развелась с Бочаровым еще год назад, свободная женщина, но они продолжали жить под одной крышей, а куда ему деваться? Квартира, эта тесная «двушка», досталась Маше от бабушки, и Маша уже намекала, что сможет выставить Бочарова на улицу за пятнадцать минут, и будет он, дескать, валяться по канавам и жить на крыше, где, в общем-то, ему самое место. Но иногда, когда тоска наваливалась, или замолкал надолго телефон, или на работе не ладилось, она в одном халатике приходила вечером в маленькую комнату, где Бочаров обитал, притягивала бывшего мужа к себе и, учащенно дыша, говорила:

Он вспомнил одну девчушку с телевидения, которой нужна была книга Иванова про Пушкина, но что ей делать с Пушкиным, если у девчушки есть караока, а в ней пятнадцать тыщ песен — караока эта сама играет, сама слова подсказывает, сама аплодирует? Но на телевидении решили снять и показать несколько передач под общим названием «Забытая старина», и, конечно же, в городской библиотеке не смогли подобрать необходимых бумажных книг, чтобы напомнить телезрителям, как они выглядели во времена Пушкина, да и саму библиотеку едва нашли, спасибо уборщице тете Зине, которая вспомнила, что видела библиотеку на втором этаже овощного магазина — там ее и обнаружили, но что она могла предложить, если

у каждого, кто помнил, как читать книги (теперь говорили «юзать книги»), была гетеродинная флеш-карта, на которой размещена вся разрешенная мировая литература — до единой запятой, даже записки писателей в кассу взаимопомощи, даже их доносы друг на друга. Эту флешку можно было купить в любой табачной лавке, ее давали на сдачи в пивных ларьках. Но во времена Пушкина электрических книг, как будто, не было, или были? И тогда девчушке кто-то посоветовал обратиться к Бочарову, и она обратилась.

Это был почти весь его любовный опыт. И когда Маша впустила его в свою квартиру номер пять, он понял, что готов полюбить ее со всем неистовством сорокалетнего холостяка, и даже неистовей. Она заметила эту его готовность, но не торопила события. Все-таки диковинный его наряд, волосы припорошенные ржавчиной (то ли рыжий, то ли ржавый), карманы набитые книгами, неважно сочетались с китайским фарфором, шторами с золотой ниткой, всем тем, о чем мы уже говорили.

— Я вспомнил ! — закричал Бочаров.- Я читал эту книгу, только первые страницы у нее отсутствовали… Потом эту башню разрушили до основания… «*И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь: вот один народ, и один у всех язык; и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же, и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они перестали строить город…*»

— Пожалуйста!

— Да хоть двести!

Соседняя комната была спальней, с огромной кроватью, похожей на бастион. На стене действительно висел «Вавилонский переполох». Малыгин изобразил на небольшом полотне множество народа: народ этот клубился вокруг башни, похожей на пожарную каланчу, да это и была каланча — за ней виднелась пожарная машина, и вовсю тянуло гарью, пламя вот-вот и рванет, но никто не

встревожен, кроме женщины, которая кричит что-то на ухо празднично одетому — в плисовые штаны, косоворотку и фетровые валенки — городскому чиновнику (и почему на этой картине, если ты начальник, то обязательно тебе и фетр, и яйца в мешочек, и много другого ценного?), а чиновник явно не понимает, какая опасность грозит всем, он запустил руку в мешок с казной, где хранятся и денежки на новые брандспойты, брезентовые негорючие куртки и сияющие медью шлемы. Наверное, можно тушить пожары и без новых шлемов, справиться с огнем, навалившись всем миром, но нет согласья в этих мужчинах и женщинах, даже лохматый пес на полотне безмятежно спит в двух шагах от разгорающегося пламени. А вот, смахивая пот со лба, строит дом для себя и своих детей, человек, не замечающий, что огонь уже лижет только что поставленные стены. А другой самозабвенно колотит по струнам расстроенной гитары, не слыша собственной музыки. А третий — выступает перед публикой с лекцией, наверное, «Есть ли жизнь в Америке?». Его никто не слушает. Пятый взасос целует женщину, которая в это время вяжет шерстяной свитер мужу, который находится в длительной командировке, должно быть, в глубоком вражеском тылу. Двадцатый равнодушно стирает порты. Сотый какую уж неделю подряд жрет целебный напиток «Талас» типа портвейн, пропил дом, велосипед с моторчиком, сундук, битком набитый какими-то старинными письмами; сотый заглянул как-то раз под крышку — сверху лежало письмо перевязанное, голубой лентой. Он открыл письмо без колебаний — любому секрету прошел срок давности. Он посмотрел: пожелтевшее письмо датировано сентябрем 1833 года. Он пробежал глазами первые строчки: «Здравствуй, душа моя, Наталья Николаевна!.. Яицкие казаки ни в какую не хотели меня отпускать, такой душевный народ. А какие расчудесные песни они поют, а какие у них девушки — красавицы. Я на твоем месте ревновал бы меня, жонка…», — в общем, ничего интересного, но тот чудик, который купил сундук с этими письмами, от радости аж затрясся!

— А теорию катастроф развил в своей книге «Катарсис на пороге» замечательный человек — Генерал… Он — ученый-историк, он же незаурядный полководец — многогранная личность, — сказала Маша. — Генерал сторонник гипотезы, предложенной им же, о бесконечности возобновлений вселенной. Он считает, что каждая цивилизация, планета, галактика, а в итоге весь мир, обязательно — рано или поздно — погрузится в пучину катастроф, и исчезнет. Но он обязательно возродится, причем на той же ступени, на том же месте своего развития, на котором застала катастрофа. И будут в этом новом-старом мире наша золотая река, наш неповторимый город, улицы Большая Михайловская, Буянная… И будет на Буянной жить девочка Таня, которая однажды напишет «… а главное — останется река, на берегах которой молвлю: «Дома!..» И будем в этом городе мы — другие, но чудесным образом все те же… И этот мир тоже пропадет в пучине неверного времени, чтобы опять возродиться — с тобой, мною, всеми нами…

— Да, это центральная городская свалка, она же самая старая… Ее столетний холм возвышается над всем городом. Со дня на день ее закроют, и будь уверен, сюда больше никто не сунется на протяжении столетий, во всяком случае — никто из начальства. Но тайно привозить сюда отходы, строительный мусор будут еще долгие годы, дело в том, что новая свалка почти в пятидесяти километрах от города. Так, что, остается только направлять этот процесс; водители охотно повезут сюда всякий железобетонный брак, разбитые конструкции, тем более, если за это можно получить живую водку…

Глава вторая: под барабанный бой

«Мы — два грозой зажженного ствола,
Два пламени полуночного бора.
Мы — два в ночи летящих метеора,
Одной судьбы двужалая стрела!..
Мы — две руки единого креста…»

Глава третья: необыкновенные приключения, в основном на суше

Но Маша плохо помнила Гека, думала, что он из группы «Open Shearts», а о Преобразователе фарша даже слушать не захотела. Напрасно он говорил ей, что Гек был дружен с Марком Твеном и самим Томасом Сойером, а Преобразователь может также превращать доллары в рубли, ее все это не заинтересовало, и на крышу она не захотела подниматься. Она сказала:

Глава четвертая: удивительные приключения, в основном на воде

— Ну, ты, брат, попал прямо на раскаленную сковородку. Что делает из нас любовь! Вот ты серьезный человек, от корки до корки прочитавший десять тысяч томов, знающий химическую формулу чистого спирта — C2H2OH, — доказавший ужасную черную силу любимого народного напитка, — даже ты не можешь противостоять любви!.. Против спирта выходишь один на один — и иногда побеждаешь, против любви — никогда. У меня тоже был случай, встретил в крабовой туманности номер восемь одну брюнетку. Огонь-баба, бездонные глаза, голос с хрипотцой, походка такая, что душа обмирает!.. Звали ее… Впрочем, разве что-то в них меняется от того, как их зовут? Я тогда был парень хоть куда, возглавлял огромную империю — каждый день иноземные послы, приемы, подписание указов, шампанское, на год шестьсот костюмов,.. а у нас на востоке еще и наложницы, обязательный гарем… Но она затмила всех красавиц крабовой туманности, ну, и нашей империи тоже. Я влюбился в нее, как мальчишка. Мне нужно было видеть ее каждый день, каждый час, каждую минуту, она стала сопровождать меня в поездках за границу, по империи, в нарушение этикета ее включали в списки официальных членов делегации,

и она украшала собой банкеты, церемонии подписания договоров — и это никому не казалось странным. Кроме нее самой.

Глава пятая: история возвышения и погибели Пулемет-Града

Исстари так повелось, что мастера этого города (теперь уже никто не помнит, как он прежде назывался) были искусны в оружейном деле. Если делали луки, то за ними приезжали из Шервуда; тамплиеры восхищались изяществом и разящей силой, заключенными в тамошних мечах; кинжалы, отточенные здесь, пробивали любой панцирь; кольчуги были легки, надежны, стрелы от них отскакивали, как от кирпичной стены. Умельцы города славились также и тем, что были неистощимы на выдумку, создавая все новые боевые системы, которые помогали сокрушать противника. В свое время здесь были изобретены трехручный меч, кавалерийские капканы, липучая лента для пехоты, боевой бамбук, который вырастал за ночь, окружая врагов непроходимой бамбуковой чащей — армии, попавшие в бамбуковую ловушку, десятилетиями не могли прорубиться сквозь этот, стоящий стеной, лес. Не многие знают, что в подобную ловушку попала армия Круши, и напрасно ждал подмоги Наполеон.

Глава шестая: чужие и свои

Однажды она заявилась не одна, вместе с ней в «двушку» ввалилась целая гоп-компания. Гоп-компания принялась уничтожать запасы спиртного, а двое из них — знаменитый, как представила его Маша, театральный режиссер Феодор, и подающий большие надежды ученый-историк — Миклуха — прилепились к ней и наперегонки подливали в ее бокал то шампанское, то коньяк.. В результате надрались все — и спаивамая, и спаивающие, и гурьбой

повалились у камина на ковер, как рухнувший акробатический этюд, помните, они были украшениями школьных вечеров, как обязательная драка? Конечно, этой ночью тоже не обошлось без мордобоя, схватились Миклуха и Феодор, каждому из них приснилось, что его сопернику повезло больше. Миклуха спросонья двинул слева, добавил справа и послал Феодора в глубокий нокдаун. Тогда режиссер применил филологическое, в чем-то даже психологическое, оружие. Он, борясь с тяжестью в голове продекламировал: «…Давайте после драки».

Глава седьмая: триумф Эммануэль

После объявления конкурса жизнь круто переменилась. По вечерам у костра теперь играла знаменитая рок-группа «Арай», высадившаяся на парашютах у поселка с чудным названием Коловертное, и Бочаров искренне радовался, что эти воздушные рокеры поют на иностранном языке. А Бочаров иностранного языка не знал, поэтому его не могли поранить все эти «I need you, I love you…». Из рациона экспедиции почти исчезла тушонка, макароны и сало; сделано это было по просьбе конкурсантов, которые таким образом боролись с лишним весом, морщинами и каким-то Целлюлитом…

Прибыли из города учителя английского языка, предполагалось, что конкурс будет проходить именно на английском — в память о великой команде — не «Битылз», а именно «Beatls». Прибывшие учителя долго восторгались речному приволью, говорили:

— В городе не увидишь буйства природы, да и небосвод заслоняет гора — огромная, неведомо откуда взявшаяся гигантская, дымящая, как необъятная куча мусора, горища.

Приехали и мастера художественного слова. Их пригасила Маша. «Изящная словесность, — говорила она, — это кислород для общества, истосковавшегося по истинной культуре...» . И где только она этого набралась? Агне-

та Карловна никак не выразила свое отношения к тому, что едва не в каждой пятой лодке сидели теперь люди в безукоризненно отутюженных костюмах и по памяти читали Алигьери, Иванова, ну и, конечно, Шабаренину, и декламаторы совсем распоясались, принялись читать стихи в микрофон спасательной службы, которая потеряла бдительность и в итоге было допущено переворачивание байдарки с хлебом , и весь запас хлеба уничтожен. Это уже похоже на диверсию...Вот что может произойти, и даже похуже того, если изящную словесность строго не контролировать.

Вино, как водится, лилось рекой, слова говорились самые пышные, как свадебные подушки.И только один раз Перламутр спросил про свою блондинку, да и то как бы невзначай. Ему отвечали: с минуты на минуту будет, а пока не скучай, у нас девушками сто лодок набиты. И они прекрасно понимают, что им можно, и что нельзя в эпоху после катастроф. Агнета Карловна говорила вкрадчиво, дескать, мы живем на остатках мира, на обломках мироздания, мы прохлопали, растранжирили свою вселенную, так нечего нам настаивать на своей нравственности, а заодно и духовности. Нам уже не по плечу высокие нравственные законы, нам довольно правил, придуманных нами же… Но и они кажутся запредельными, и мы с радостью их нарушаем… И, может быть, не будь этих куцых правил, мы даже бы скучали о них, но теперь мы говорим им — долой! Золотой век так и не наступил, да и серебряный догорел так быстро, что невольно думаешь: а не подмешано ли к благородному серебру восемьсот семьдесят пятой пробы китайского дымного пороха?

— Для устрашения мелкотравчатых писателей, чтоб не вздумали писать ясно, как Чехов, — сказал лопоухенький. — Давно пора графоманам руки по локоть отрубать, хотя бы условно… Прежний классик деревушки в карты проигрывал, волочился в Париже за чужими женами, в крайнем случае пил горькую, зато строчил романы, как заведенный, а нынешний как будто всю великую русскую литературу договорился с такими же ушкуйниками, как он сам, растащить по своим многотомникам… С по-

ловины современных романов к нам жалобно протягивает руки Анна Каренина, благородный Балконский на поле боя подхватывает знамя, безжалостный Раскольников поставил на поток свое дело... Говорят, что во всей мировой литературе не наберется пары дюжин сюжетов, но ведь не всего два!.. Думаю, что если литературе выпадет спастись, то через авангард, у нас труднее лапшу на уши вешать…

— Перламутр Первый — крупный государстенный деятель, вчера ночью, когда тысячи фейерверкных звезд грозили спалить лес, когда на открытии конкурса шампанское кипело гейзерами, и казалось било из-под земли, за Императором пришел боевой альдебаранский звездолет, и Император успел попрощаться только с самыми верными и надежными друзьями.

Всегда считалось, что убить человека чрезвычайно нелегко, сам себя, дескать, замучаешь угрызениями совести. Может есть, такие киллеры, которые по утрам перед массовыми казнями пополняют свои гербарии, слагают жалостливые стишки, и утирают уголком кружевного платочка слезы, наблюдая бичевания или предрассветные обезглавливания, но большинство палачей имеют здоровый сон, глубокий, без дурацких сновидений; тренируются они на манекенах, не глядя попадают из нагана в гривенник, подброшенный высоко над головой, на совещаниях по обмену опытом выступают бескомпромиссно и конкретно, нередко предлагают рационализаторские предложения, случаются среди этих предложений совершенно революционные. Например, газовые электрички производительностью эшелон в час. Развязало руки и открытие в разных странах университетов по гуманизации четвертований и практике аутодафе. Европа приветствовала и торжественное введение в строй действующих Академии Казней. Так что, убить у нас есть кому. Труднее — разобраться потом, чьих это рук дело, и того ли убили. Как помните, лес рубят…

...Голосочек мой простуженный,
Что печально разливаешься?
Почему же, царь, мой суженный,
Думкой тяжкой убиваешься?

Почти призрачные обитатели кочегарок хлебнули «одиночек» и не страдают от того, что не с кем словом перемолвиться, многие из них знают: свобода не ходит поврозь с одиночеством, выбирай — или на паровоз в Саратов, к тете Лицинии Антимоновне, там припасли тебе серые шевиотовые брюки, да не одни — в паре с черными, шерстяными — все, что осталось от дяди, удавившегося нынешней весной в тюрьме; милосердная тетя обещает зашить в задницу антиалкогольную торпеду, которая не оставляет дороги даже благородному тройному одеколону, и устроить экспедитором на маргариновую фабрику, где не пройдет десяти лет, как станут тебя величать по отчеству и не посылать в бойлерную за кипятком; или — забытую хозяйкой холщевую торбу с фунтом проса, обмылком хозяйственного мыла, завернутого в последний номер газеты «Приуралье», и выцветшей футболкой , — и бегом, бегом от семейных радостей — в кочегарку, в полуподвал — по протоптанной дорожке... (Лициния явно собиралась на бульвар , кормить утробно урчащие стаи голубей, а потом обмыть руки (какую только заразу не приносят на себе эти неопрятные птицы!) и отправиться в одну секретную квартиру где играют в девятку и даже покер. В общем, выбор есть всегда. Может, и не очень широкий. Так что, кочегарку не выбирают, она в нашей крови, и ждет своего часа...

Глава восьмая: ревность

Бочаров рассвирепел: так спала Маша в этот день с жиголо, или нет? Ревнивцам нужны подробности, им чем больнее, тем слаще. Они очень бывают недовольны, если не удается подтвердить неверность жен. Не может быть, чтобы я не был рогат!

И он посылает по следам жены все новые отряды лазутчиков, которые, как ты не остерегайся, разведают, что в одна тысяче девятьсот семидесятом году ваша будущая жена осталась ночевать в студенческом общежитии.

Нет, не у не у подружки, а у двухметроворостого аспиранта Жеки с кафедры прикладного литературоведения. Этот Жека весь вечер бегал по комнатам, клянчил пару презервативов, но никто даже разговаривать с ним не стал, такова была его репутация. Пришлось обходиться подручными средствами.

— Зачем ты шпионишь за своей бывшей женой? — искренне удивился Терка. — Разве ты не знаешь, что ревность подняла подозрение выше факта? Если в тебе поселились сомнения, то не надо бежать к сыщику, а просто умножь предполагаемое, воображаемое тобой в десять раз, а, пожалуй, и в двадцать, — и только тогда, может быть, возникнет реальная картина преступлений вашей жены, но и это полотно далеко от завершения — смелее наносите новые, смелые мазки; фантазии всегда с вами, и, уверяю вас, что очень скоро вы перестанете различать, что было, а чего не было, и не будет никогда.

Глава девятая: секретная миссия

После орехов Кло чуть подобрел, снизил размер контрибуции до ста миллионов. Генерал рассчитывал, что при личной встрече ему удастся добиться более значительных успехов. А пока во всех городах спешно проводили конкурсы красавиц, и первые победительницы уже были в пути. Многие плакали, умоляли сопровождающих гвардейцев отпустить их. Но военные, проинструктированные не поддаваться на жалость, помнить, что красавицы будут отдуваться за все десять миллиардов населения планеты, отводили глаза. Их уверили, что девушкам выпало счастье постоять за отчизну. Командир гвардейцев говорил подчиненным: «Жалко этой сотни красавиц, но их отправили на святое дело. Но, скажем, что девушки у нас не последние, да неизвестно, что будет с первой сотней, может, будут пребывать в неге, наслаждаясь драгоценными винами и диковинными фруктами? Не станет же, в самом деле, разумное существо поедать других разумных существ?».

Но Генерал держал в голове еще пару- другую вариантов развития событий. Опытный военачальник, он быстро понял, что мусорный монстр, обжираясь на горе, теряет инициативу. Или он уверен в полной своей неуязвимости, или просто-напросто опасается потерять такую славную для него кормушку. Видать, не каждый день шли к нему поезда с урюком.

И Генерал решил рискнуть. Он отдал совершенно секретный приказ, который был озаглавлен так : «Отчизна зовет. Приказ номер 131313». И тотчас все дороги заполнились военной техникой, к Новому Вавилону стягивались пехотные батальоны, танковые дивизии, ракетные дивизионы.

И немедленно либералы все разболтали в своих газетах. И сколько танков, и сколько самолетов, и сколько ядерных боеголовок. И, само собой, заголовки: «Руки прочь от беззащитного гостя всех землян!», «Долой партию войны!», «Разумный пришелец — подарок истории!», «Распахнем гостеприимные объятья космическим братьям!», «Готовится подлое убийство!», «Остановить убийц!»…

Генерал ворчал: «Чуть что, и сразу марсиане появляются, космические герои, галактические супермены, как будто у нас своего дерьма не хватает. И этот сороконогий червяк наш, местный… Еще не такое увидите… С какой стороны не посмотри, а на говно у нас талант...

Генерал вел трудные переговоры. Кло еще пошел на уступки. Деньгами просил миллион, почти согласился отказаться и от юношей…

В числе первых Кло получил вопящего от страха Егора Арлекинова. Тот так визжал, когда гвардейцы подталкивали жиголо к пасти чудовища, что у того уши заложило.

— Ну, что ты так орешь? — кое как он перекричал отважного юношу. — Тебя что, режут?

_ Не ешьте меня! — орал жиголо. — Я с похмелья не вкусный… Кроме того, я душ не принимал неделю, вам противно будет…

— Ах, вот в чем дело, — хмыкнуло чудовище, — что же, мы не сумеем организовать помывку? Сумеем!..

Жиголо забило крупной дрожью. Он проревел:

— У меня запор и космический анурез!..

— Подайте соли! — приказал Кло. — Мелкого помола… Перчик тоже не помешает.

— Вы шутите? — закричал Егор: в самой возможности шутки ему почудилась надежда.

— Мне, поверьте, не до шуток, — улыбнулся Кло. — Дремал я сладко, в предвкушении зимней спячки, мечтая, что весной я смогу, наконец, назвать своей жемной прекрасную Ло, которой до обручального пробуждения осталось всего — ничего — сто двадцать лет, и мы могли бы уже погрузится в брачный сон, ведь говорят, что первый брачный сон запомнится навсегда, но вы своими тракторами, перфораторами и отбойными молотками нарушили мою дрему, теперь мне маяться наяву все эти сто двадцать лет, дожидаясь пробуждения Ло; совсем не факт, что, проснувшись, она захочет связать свою судьбу с изгоем, выпавшем из своего дримпоколения. Из этого следует, что я весьма зол, а когда я зол, то от меня ждать пощады не следует. Но…но... это, конечно, шутка!..Мы — миролюбивая нация… и не пожираем себе подобных.

Арлекинов был близок к обмороку, но после этих слов ободрился; его не смущало, что его признали равным с тем, что вчера еще было огромной горой мусора.

— Недаром я зовусь Кло, что означает «радость», — продолжил он, — и я активист общества «Международное счастье». Мы считаем, что счастья вокруг нас нисколько не меньше горя и не киснуть мы приходим на белый свет, а быть счастливыми… А у вас на этой рукотворной горе как будто музей под открытом воздухе… Музей человеческих пороков…

«Видел бы ты все земные пороки», — подумал Арлекинов.

— Поэтому мне пришло в голову провести вечеринку «Когда Ло проснется», на которую приглашаю и самых привлекательных землян. Вечеринка начнется сегодня в

19 часов, а закончится, когда Ло проснется…Все в купальных костюмах, девушки желательно в бикини!..

— Вот это размах! — стал приходить в себя Арлекинов, — Сто двадцать лет нажора, сто двадцать лет в бикини...

Генерал подготовил ноту. В которой в числе другого говорилось: «Значительные разрушения жилых домов наблюдаются повсеместно, ущерб пока подсчитывается, но речь идет о многих миллиардах. Продуктов питания уже поставлено восемь эшелонов… Предлагаем решить эти проблемы в кратчайшее , время (банки уже открыты, для начала мы удовлетворимся суммой в сто миллионов), в противном случае оставляем за собой право защищаться...».

Ответ был получен мгновенно: «Требуемая сумма депонирована на Ваше имя в ближайшем к Вам отделении «ФикшнБанка». Генерал впервые в жизни растерялся. Под атомной бомбардировкой на Альдебаране он не терял присутствия духа, не кланялся пулям во время марсианской кампании, а сейчас как будто почву выбили у него из-под ног. Он осторожно спросил у Агнеты Карловны, как она оценивает ситуацию? Та ответила:

— Она в высшей степени эротична, ну, типа верхи не могут, а низы не хотят, или наоборот? Эпоха катастроф, я не устаю это повторять, это время любви напоследок, поэтому она так горька и так желанна...А этих чудовищ всех сослать в Антарктиду, пусть там впадают в спячку хоть на миллион лет…

— Эти сороконожки весят миллион тонн каждая, как же, сошлешь их в Антарктиду! — сказал Генерал. — Даже если Кло с компанией (эту компанию еще никто не видел, а там есть экземплярчики — закачаешься!) отправятся добровольно на полюс, они вытопчут половину земного шара.

Бочаров, всегда околачивающийся неподалеку от Маши, вставил-таки словечко:

— Вы все время забываете, или не берете в расчет специально, что мы имеем дело с разумными существами…

Сбылась мечта человечества, мы встретили братьев по разуму и сразу же наставили на них пулеметы...

Генерал запылал гневом:

— Я мог бы вам не напоминать об этом, но видимо придется. Вы, может быть, думаете, что все забыли, кто по сути дела вырастил, можно сказать — взлелял эту гору, этот конгломерат мусора, отходов, неведомых химикатов, которые путем таинственных реакций породили чудовище, и как оказывается не одно. Мне все равно — размышляет о чем-то куча мусора или не размышляет. Если моя планета под угрозой вытаптывания, мы, военные, обязаны угрозу устранить, и мы устраним. Сегодня в двадцать часов посмотрим что за начинка у этой ходящей горы… Это, конечно, военная тайна, но говорю вам об этом без тени опасения за ее содержание, потому, что в городе введен специальный пропускной режим, без вот такой карты (он достал из кармана и показал всем красный пластиковый прямоугольничек) вам не пройти и квартала. Все телефоны отключены, все компьютеры заблокированы, отдан приказ открывать огонь по нарушителям режима без предупреждения…Так что, сегодня проведете вечер все вместе…И не вздумайте решиться на какую-нибудь глупость!..

Генерал помолчал с минуту и добавил:

— Так что, для меня есть только цели…

И генерал отбыл в штаб

Бочаров схватился за голову:

— Там как раз вечеринка начнется! Люди веселиться придут, а тут вы со своими танками!..Разве это возможно?

Бочаров возмущался, кричал, даже ударил кулаком по столу, но сам понимал, что этот протест на фоне «Нового Вавилона» не будет услышан. Живущие на свалке, всегда помнят, что даже разорвав пуповину с ней, они — помойные люди. Садясь в министерское кресло, бывший житель февел знает свои корни, и пытается быть снисходительнее к тем, кто живет в мусорных контейнерах, ящиках из-под телевизоров, в разбитых автомобилях — норах, щелях и подвалах. Люди помойки ни сами никому не сочувствуют, и ничьего сочувствия не ждут. Судьба Кло им безразлична,

большинство и не знает о его существовании, и никогда не узнают. Их занимает другая новость: из телевизора недавно сказали, что ученые, наконец поняли, что хлеба на всех не хватает и поэтому будет разработана специальная система справедливого распределения ситного. В этой системе будут работать кристально честные люди, их будет назначать сам Генерал после тщательной проверки…

Бочаров улыбнулся, он знал как честны люди Генерала, просто ангелы.

— Я все-таки попытаюсь пробиться на вершину, надо не допустить бомбардировки, — сказал он. Никто не стал его удерживать. Только Маша сказала:

— Побереги башку…

Окрыленный Бочаров пулей полетел к «Новому Вавилону». На первом же перекрестке его остановили дюжие гвардейцы. Их взгляды не предвещали ничего хорошего.

— Куда следуете и по какой надобности?- спросил хмурый гвардейский лейтенант. — Есть ли у вас специальный пропуск, известен ли вам пароль?

Бочаров ни разу в жизни не имел никаких пропусков, тем более специальных.

— Назад! — скомандовал ему лейтенант. В это время на перекресток выкатились танки, взревев моторами, они стали занимать позицию у ограды городского сада. Лейтенант со товарищи забыли о Бочарове, и тот проскользнул дальше.

На главной площади города разворачивался дивизион тактических ракет. Ракетчики протягивали кабели, расчехляли радарные установки, устанавливали ракеты на пусковые столы.

Вокруг было полно зевак, комендантский час только раззадорил горожан, которые пребывали в уверенности, что стали свидетелями военных маневров

_ Друзья! — крикнул Бочаров зевакам.- Здесь готовится невиданное преступление!.. Хотят убить огромное разумное существо, а вместе с ним не одну сотню самых красивых молодых людей!.. Не допустите этого!

К Бочарову направились сразу несколько человек, на ходу расстегивая пиджаки. Что там у них в карманах, Бочаров не стал рассматривать, а бросился бежать. А бегают люди крыш, подземелий и картонных особняков очень быстро. Они виртуозно прячутся, легко перевоплощаются — Станиславский бы им поверил; они проворны, им не нужно повторять дважды. Ученые давно тщатся открыть секрет этой скорости, но увы, не там они ищут; Бочаров и его друзья не просто бегают за каким-нибудь латунным кубком, они — убегают. А за ними гонятся, нередко с револьверами в руках, случается, что из этих револьверов палят в белый свет, как в копеечку, и даже попадают.

Бочаров перевел дыхание, он обогнал своих преследователей как минимум на десять минут.

«Новый Вавилон» был уже близко, от его смрадного дыхания невозможно было скрыться. Здесь дорогу преграждали два танка, рядом пофыркивали двигатели двух десятков мотоциклов. Седоки были в коже, устрашающе раскрашенных шлемах. «Служивые байкеры! — снисходительно подумал о них Бочаров, — однако здесь не прорвешься! Впрочем...»

Он решительно двинулся к байкерам, вспоминая молодость:

— Чуваки! — кое-что вспомнилось. — Пока вы здесь зависаете, как свинцовые цеппелины, там самые реальные герлы уплывают за шесть морей…Нехилый кастинг сообразили...

Он подумал, что сразу получит в морду, однако примитивный этот финт сработал:

— Что за герлы, куда их отбирают? — заинтересовались кожаные.

Он наврал им с три короба, не надеясь, что кто-то ему поверит, не заботясь о правдоподобности. Из его рассказа выходило, что в городе идет негласный отбор кандидаток в опасное реалити-шоу с тиграми, львами и анакондами. Многие участницы шоу реально погибнут перед объективами телекамер…

— Брехня!- это сказал самый бородатый и самый громадный из мотоциклистов. Бочарову показалось, что тот возвышается над ним метров на пять.

— Брехня! — повторил он. — Я знаю пару телок , которые участвуют в проекте, так они рассказывают, что там все «по уму», даже хавчик халявный...

— Точно! — подтвердил самый , должно быть, маленький байкер. Бочаров не сразу обнаружил его на сиденье рычащей «Ямахи».

«Это наш шанс? — спросил он у себя, но отвечать не поторопился — передать его властям, вдруг, стало не до этого. Пока мотоциклисты разглядывали его, размышляя, что же с ним сотворить, он бросился к «Ямахе, сгреб в охапку карлика, бросил его на заднее сиденье мотоцикла бородатого гиганта, сам взлетел на «Ямаху», и понесся к вершине. Сквозь рев мотора он услышал дружный рев байкеров, содержанием которого было: «Остановись по=хорошему, догоним — убьем! А догоним непременно.

Бочаров обогнал колонну тяжелых танков, батальон морской пехоты, гаубичную батарею, несколько машин реактивных установок залпового огня — лавина боевой техники надвигалась на рукотворную гору, вершина которой неведомым образом стала гигантским хищным зверем. Будто бы разумным…

Генерал давно не чувствовал такого прилива сил. Наконец=то, в его руках настоящая боевая работа. Не разгон митингующих против повышения цен, не массовые аресты, а война с чудищем, может быть, прибывшим из далекого космоса. Звездная война! Бластеры! Лазерные мечи… Мудрые военачальники...

И никаких сомнений. Что из того, что незваный гость знает несколько фраз по=русски. На русском сейчас любой альдебаранец пару слов скажет…

А нашу родину, нашу Землю мы не дадим вытоптать злобным звездным монстрам; Генерал вспомнил, как проходили его последние переговоры с Кло, и не мог сдержать раздражения: тогда сороконожка явно подтрунивала над ним. Было бы животное поменьше ростом, Генерал

непременно дал бы ему по морде, особенно после того, как Кло предложил ему место военного консультанта в одной из его фирм, поставляющих оружие странам восьмого мира — тисовые луки, дальнобойные пращи, осадные башни…

— Наша фирма может вам платить миллион! Правда-правда!

Генерал не выдержал, спросил:

— Деревянными или нашими?

— Работаем со всеми валютами мира, — сказал Кло — Прошу обратить внимание, миллион долларов — это ежедневная зарплата, вы будете получать ее каждый день… Как пожелаете — наличными или по перечислению? Аванс — вот в этом кейсе...

Кло откинул крышку чемоданчика, показал ровные ряды долларовых пачек.

— Ааа...— как будто понял Генерал. — Фальшивые, подделка на государственном уровне?..

— Да нет же, — уверил его гигант, — деньги совершенно нормальные… Да, вы возьмите этот кейс — на пробу, сами убедитесь… Купите сигарет, водки — все, что вам по душе…Гегнерал стиснул зубы: кто он такой, этот ничтожный червяк, что может таким образом разговаривать с героем сражения у горы Сантас?

— Не нужны нам ваши деньги, мы не нищие! — кажется Генерал произнес, эти слова, но каким образом кейс оказался в его руках — этого не запомнил никто.

Поэтому на последних по времени переговорах Генерал кипел от злости.

Ему понравилась грубая фраза «Я его урою !» — и она все время приходила ему на ум: «Я еггго-го-го урою!»

Едва войдя в штаб, он немедленно объявил боевую тревогу. Горожанам это понравилось: вой сирены как будто убеждает нас в том, что государство на всю катушку позаботилось о нас. И нам нечего бояться!

Генерал скомандовал: «Приказываю перевести ракетные дивизионы с первого по двенадцатый из постоянной в боевую готовность!»

Шутки кончились…

Бочаров вылетел на «Ямахе» на огромную бетонную площадь. Это была вершина мусорной горы, на которой неспешно передвигал гигантскими ногами Кло. Рядом с Кло высился амфитеатр новенького конгресс-холла — и когда только успели построить? Вокруг конгресс-холла гуляли приглашенные красавицы и красавцы, праздный народ.

Наверное, надо было церемонно представиться, произнести речь, раскланяться, но времени на это, понимал он, у него не было. Поэтому он просто остановился там, где было многолюднее всего, и закричал, что было сил:

— Люди! Спасайтесь, кто может! Сюда направлены баллистические ракеты! Как можно скорее уезжайте! Убегайте! Уходите!..

Он не очень надеялся, что ему поверят, но ему поверили. Народ сначала медленно, а потом в се проворнее стал утекать с «Нового Вавилона»…Но, наверное, было уже поздно...

Генерал скомандовал:

— Произвести прицеливание... координаты цели...

И вдруг он почувствовал, как земля уходит у него из под ног. В буквальном смысле. Он не удержался на ногах и повалился на бронированный пол ракетного комлекса. Его подчиненные тоже посыпались, как червивые яблоки в ветряный день.

Вокруг все — со стен и потолков — стало обрушиваться — люстры, радиотарелки, какие-то приборы и все норовило угодить в голову, и угождало. Страшный крик и визг поднялись вокруг.

Внезапно, как будто подземная молния вспорола пол под ногами, и образовалась гигантская трещина, в которую в мгновение ока провалились пусковые столы, а следом и сами ракеты. Некоторые ракеты запустились как бы сами по себе, это сработала умная электроника и нанесла автоматический «удар возмездия», но большинство ракет взорвались еще на старте, и только несколько смертоносных снарядов ушли на цель. В огромном здании бушевал и раскидывал свои щупальцы огненный смерч. Люди сгорали, как спички. Никто не знал, где искать спасения.

И тут в теле мусорной горы образовались гигантские вращающиеся воронки, и они принялись затягивать «Новый Вавилон» в труднопредставимые подземные пространства.

Кло оказался только на вид могучим и несокрушимым. В него все-таки попала шальная андроидная ракета, и гигант рухнул, похоронив под собой новенький конгресс-холл. Люди метались по склонам гибнущей горы. Бочаров увидел, как мимо него промчался бронированный джип и за рулем его сидел Генерал. Но он недалеко уехал; автомобиль попал в одну из воронок и медленно погрузился под землю.

Почти как птица, отчаянно маша руками, куда-то вбок проплыла Агнета Карловна. Неизвестно, казалось ли ей все происходящее наполненным высокой эротикой. Скорее всего.

Было так страшно, что Бочаров закричал:

— Help! Help!..

Стремительно падающий Егор Арлекинов проревел:

— Караул!..

— Тохта! Тохта! — кто-то вопил по — казахски…

И никто друг друга не понимал… И никто никого не любил...

В те дни мир погибал, и , кажется, погиб.

Бобруйск

РЕАЛЬНОСТЬ НОМЕР ОДИН
(Сборка)

(фантастический роман)

Глава первая: Тайный шуруп

Егорий с детства любил слушать сверчка. Сам не знал почему. Любил и все. А еще с малых лет его завораживали слова — шерхебель, шпиндель, карбюратор, копуляция… Там, где он жил, никто не знал, что эти слова значат. Многих других слов он тоже не знал: антрацит, резеда, любовь, катапульта…Но трудное слово «штангенциркуль» он выучил и умел выговаривать. Сначала по слогам: «штан-генцир-куль», а потом и скороговоркой: «штанциркль».

Постепенно его лексикон обогатили слова «рейшина», «декольте», «энурез», «голкипер»… К совершеннолетию он осилил «полиспаст», «дефиле», «шампиньон»… Причем, шампиньон представлялся ему французской площадью с ратушей во французском же городе. Ратуша виделась ему, как Бастилия, которую все время штурмует разгневанный народ, возглавляемый храбрым Гаврошем. Гаврош же походил на Маяковского, которого, как и Егория, никто не любил, потому, что тот писал не в рифму. Нет, не Егорий писал не в рифму, а Маяковский, а Егорий вообще старался не писать, в лучшем случае списывать, и через это много страдал. И с детских лет решил, что пойдет работать на станок, там ничего не надо читать, а читать Маяковского — и подавно! И там, именно где-то в станке, находился шпиндель.

Шпиндель, шпатель, сулема…

Станок пришелся ему по душе, в нем находился не только шпиндель, но и трансмиссия, кажется. И, кажется, киловатты и амперы. Нравилось ему, что станки стоя-

ли, как солдаты — шеренгами и рядами, и выкрашены в защитную, солдатскую краску. В станках ощущалась и суровая внутренняя дисциплина: ни палец, ни целую руку сунуть в станок не решался никто. Если случалось такое, то случайно. Попавшихся в станок дважды были единицы, им все время давали грамоты и медали.

Тонкости ремесла он постиг скоро, и ему поручили нарезать резьбу на гайке М-12, он горячо взялся за это и уже через неделю все склады были забиты великолепными, со свеженарезанной резьбой, гайками; экономисты подсчитали, что их хватит на семьдесят три года. Тогда он был брошен в прорыв: давно ощущалась нехватка болтов. Егорий и тут не подвел, вскоре отечественные болты вытеснили с рынка болты иноземные. Причем наши болты были крепче, крупнее и во всех смыслах надежнее. Их охотно брали на строительство секретных субмарин, годились они и для мирных целей, например они безукоризненно подходили к пульмановским вагонам дальнего следования. Егорий гордился своей причастностью к большим делам.

И тогда его вызвали в Контору.

Кардамон, реферат, яранга…

Под ярким конторским электричеством люди крутили арифмометры или напряженно заглядывали в компьютеры: здесь билась государственная мысль, непостижимая простому человеку. Руководитель Конторы спросил у него строго, а он был очень строг с рождения, да добавила суровости ответственная конторская должность:

— Не обращались ли к тебе, Егорий, государственные злоумышленники с незаконными предложениями? Дебилы, повстанцы?..

— Никогда в жизни! — четко, по-военному ответил Егорий. — Но пассаран!

Тогда руководитель Конторы сказал торжественно:

— Егорий, поздравляю тебя! Есть мнение, что ты справишься и с тайным шурупом, который применяется

исключительно в космических кораблях. Враги многое бы дали за него… Смотри!

Егорий родился и вырос на полустанке, где в лесопосадке стояла беленая известью трансформаторная будка, у которой прошло его детство, да к самым рельсам прилепились два камышитовых дома. Домика. В одном доме жила Натаха с бабушкой Клавдеей, а в другом — Егорий с дедушкой Егорием, — так уж заведено было в их семье, что Егориев всегда должно быть несколько.

Когда-то давно у Егория была мать — Нюся, а у Натахи отец — Прокопий, и они служили на железной дороге. У Нюси был муж, он тоже служил на железной дороге, а у Прокопия жена, и она — так уж сложилось — была железнодорожницей. Так вот, в один прекрасный майский день Нюся исчезла вместе с Прокопием, но исчезла так, что раз в год от нее приходил перевод на семьдесят семь рублей (и почему не восемьдесят или хотя бы семьдесят пять?) и новогодняя открытка с Дедом морозом и Снегурочкой, и цифрой «1966», как будто Нюся застряла именно в шестьдесят шестом году и не знает, как выбраться оттуда.

В другой прекрасный день — сентябрьский, когда дождем залило весь полустанок и начало что-то искриться в трансформаторной будке, исчезли муж Нюси и жена Прокопия, — оказалось, их имена нигде не значились и быстро забылись. Они и сами забылись бы навсегда, но от них к новому году стали приходить переводы на семьдесят пять рублей (и почему не семьдесят семь?).

На эти деньги шиковать не приходилось, но два раза в году мясное ели — котлеты или голубцы. А к первому сентябрю Егорию покупали парусиновые туфли и две пачки гематогена по двенадцать копеек за пачку. Дедушка говорил тогда:

— Ничего, проживем. Лишь бы войны не было. Врагам нас не одолеть!

И добавлял:

— Но пассаран!..

Егорий не знал, что это значит, но ему тоже нравилось произносить раскатисто:

— Но пассаран!

Врагов он тоже не любил.

Натаху бабушка Клавдея водила в поселковую школу — до четвертого класса, а после четвертого она стала ходить одна; бабушка с бугра только смотрела ей вслед. До поселка было всего пять километров, и до тех пор, пока зрение позволяло, она смотрела, как внучка, придавленная холщевой сумкой с учебниками и тетрадками, шагает по раскисшей дороге, обходя большие лужи, перепрыгивая через маленькие: Натаха мечтала о резиновых сапогах, тогда бы она легко смогла переходить самые огромные лужи.

Бабушка Клавдея, проводив ее, время от времени поглядывала на ходики: не пора ли встречать внучку? Темнело в их краях рано, в четыре уже появлялись на небе тусклые осенние звезды, и бабушка тревожилась, потому, что из недалекого леса, нет — нет, да набегали голодные волки (люди живут небогато, а с чего волкам сытым быть?) и задирали одиноких собак; собаки тоже не оставались в долгу, сбивались в стаи и рвали лесных обитателей. Страшнее волков были люди; черная тарелка репродуктора все время рассказывала о шпионах, бандитах, расхитителях, дебилах и каких-то андроидов, расплодившихся без числа, но — слава Богу — они пока на полустанок не заглядывали. Или заглядывали, но их никто не заметил?

Егорий в школу не ходил, его не отпускал из дома дедушка Егорий.

— Чему там могут научить? — Спрашивал он как будто сам у себя, и самому себе отвечал:

— Путному не научат! А грамоту я помогу тебе осилить, хотя сам в ней не больно силен.

Из школы, конечно, приходили, грозились забрать Егория в интернат, а дедушку Егория в дом престарелых, но дедушка показал на стену, где висела двустволка, и сказал:

— Первых двоих, кто зайдет в наш дом, пристрелю, можете даже не сомневаться. Хотите попробовать?

Никто попробовать не захотел. И даже те, кто поначалу вошли в дом, поспешили из него выйти. Приезжала пару раз из районного управления образования ученая комиссия, но в дом заходить тоже не стала, постояла у трансформаторной будки, спросила у Егория-младшего — не тянет ли его в школу, чего он растет, как бирюк? Он ответил комиссии, что ничего не забыл в школе, что у него есть «Арифметика, сиречь наука числительная…» Леонтия Филипповича Магницкого, а также занимательная книженция «Детский гостинец, или четыреста девяносто девять загадок с ответами в стихах и прозе, взятых как из древней, так и новейшей истории и из всех царств природы и собранных одним другом детей для их употребления и приятного препровождения времени». Читают они с дедом и растрепанные тома «Библиотеки учения, экономической, нравоучительной, исторической и увеселительной в пользу и удовольствие всякого звания читателей»… А это все полезные книги. Так что, Егорий-младший научен чтению с младых ногтей. Писать тоже умеет знатно…

Комиссия вытаращила от удивления глаза и больше на полустанок не приезжала. Видимо, большая власть не дала команду разобраться с этими полустанцами. Власть, видать, и сама против этих книжек-учебников-алгебр-геометрий. Научился лозунги читать — и хватит.

Так и жили Егорий с дедушкой, а Натаха с бабушкой.

Натаха была кругом отличница — и по географии (знала, где на карте найти город Бузулук, и даже как-то была в этом городе), и по английскому (если бы вдруг попала в город Бирмингем или Ливерпуль, то не пропала бы там, сумела бы добыть кусок хлеба: give me the broad and butter), и по рисованию (когда она училась в третьем классе, в фойе кинотеатра была устроена выставка ее рисунков про весну, про родной город и про дружбу детей; по небу летали самолеты, похожие на воздушные шары, дети обжирались пломбиром, старики и старухи, взявшись за руки, протестовали против врагов). С дисциплиной у Натахи тоже было все в порядке (в дневнике одни пятерки, и бабушку в школу вызывали за все время только раз, когда завуч Вера Филипповна заметила, что у девочки прохудились парусиновые башмаки, и она третий день ходит в школу в рваной обуви. Завуч не знала, что перевод приходит к новому году, а пенсия бабушкина разбегается на макароны, подсолнечное масло и пшенную крупу.

До седьмого класса Натаха читала «Казахские народные сказки» и рассказывала Егорию об Алдаре Косе, а после седьмого стала читать «Декамерон». Егорий, привыкший к ее комментариям, просил объяснить и новеллы Боккаччо, и она, с легким вздохом объясняла:

— Ну, это…в общем, когда жена говорит мужу, который залез в бочку, «левее, правее, до самого дна», то имеет ввиду не его перемещения в бочке… Так мне кажется…

— А что же она имеет ввиду? — спрашивал Егорий, как будто не понимал. Но скорее всего придуривался, он любил придуриваться.

— Да, что? — кивал головой дедушка Егорий.

— Это касается того, чем часто занимаются мужчины и женщины… я так думаю…

— Фу, какая гадость! — принялся плеваться дедушка. — Как пропускают такие книги? Это же разврат и разрушение совести…

А внук внезапно заинтересовался:

— В кино на этом месте всегда затемнение… Сначала целуются, а потом затемнение. Как тут узнаешь, чем они там занимаются?

— Так, ты до сих пор не знаешь, что бывает между женщиной и мужчиной, когда они ложатся в койку?

— Не-ка… А что бывает?

— Тьфу-ты! — дедушка сплюнул и пошел кормить кур.

— Пойдем к трансформаторной будке, — позвала Натаха Егория, — там никто не помешает, и я расскажу тебе…

Трансформаторная будка стояла в лесопосадке, и когда им не хотелось быть на глазах у бабушки и дедушки, они шли туда.

Айсберг, рефрижератор, степплер…

— Ты знаешь, хотя бы, что женщина с мужчиной устроены по-разному?..

— Ну… — промычал он. — Женщина размером меньше.

— Больше ты различий не заметил? — удивилась она.

— Заметил, — вспомнил он картонку от отрывного календаря на которой какой-то козлоногий мужик лапал огромную бабищу. — У женщин здесь больше, чем у мужчин.

Он показал рукой на ее грудь. И покраснел.

И тут же вспомнил еще одну картинку от календаря. И чего на этих картонках женщины всегда обнажены, мода что ль такая или климат чрезмерно жаркий? Вот и на этой — совершенно голая женщина лежала на узкой кушетке и прикрывала тонкой рукой пах, но ему казалось, что она ничего не прикрывает (были отчетливо видны слегка курчавые волосы), а наоборот — показывает на то место, где ниже живота угадывалась ложбинка (вот, вот в чем мы разные, но это ли имела ввиду Натаха?).

— И еще что-то есть у мужчины, чего нет у женщины… — решился он.

— Точно также, как у нее есть то, чего нет у него…

Разговор этот показался ему очень интересным.

— Почитай еще, — попросил он у нее. Она открыла книгу, немного помедлила, словно решая для себя: читать или не читать, уж больно диким казался ее сосед по полустанку? Или он все-таки придуривался? Но тряхнула головой, решилась: парень-то вон какой здоровенный вытянулся, не скажешь, что семиклассник. Да и заглядываться он стал на нее в последнее время, она это заметила. Может быть, он заглядывался бы на других, но других на полустанке не было.

— Слушай, — сказала она и начала читать: одну новеллу, другую… Он слушал, не перебивая, иногда только негромко вздыхал, должно быть, завидуя героям Боккаччо, представляя себя (неужели так скоро?) себя на их месте. Она мельком взглянула на него: в глазах Егория появился какой-то туман, на щеках полыхал густой румянец, как на

морозе. Она поразилась этой перемене, и вдруг сама почувствовала, как горят ее щеки. Она продолжила: «…Девушку разобрало, и она, позабыв приличия, не постеснялась раздеться при Периконе, как если бы это была ее служанка, а затем легла в постель. Перикон не замедлил к ней присоединиться; потушив огни, он мигом оказался рядом с нею, сжал ее в объятиях и, не встречая с ее стороны ни малейшего сопротивления, затеял с нею любовные игры. Когда же она, до той минуты не имевшая понятия, как бодает мужской рог, его наконец восчувствовала, то словно раскаялась, что долго не сдавалась на уговоры Перикона, и теперь уже, не дожидаясь с его стороны приглашения так же приятно провести ночь, частенько сама стала его приглашать, но только не при помощи слов, — объясниться с ним она бы не сумела, — а при помощи действий…».

— Натаха, — перебил он ее вдруг, — покажи мне то самое, чего у меня нет…

— Ты очумел? — спросила она, постаравшись вложить в эти слова все возможное возмущение, но, кажется, не получилось. Даже удивления не прозвучало в них, но ее голос дрогнул, от чего?

— А картинок в книге нет? — спросил он.

— Нет, картинок совсем нет, — извиняющимся тоном ответила она.

— Жалко, — сказал он. И повисла тишина.

Она на всякий случай полистала «Декамерон», хотя и прежде листала его, тоже в надежде обнаружить картинки, но и тогда картинки не нашлись.

— А что, тебе жалко показать? — не успокоился он.

— Дурак! — сказала она, не найдя других слов. — дальше читать, нет?

— Давай! — согласился он без большой охоты.

Она продолжила, но сама почувствовала, что голос ее изменился, стал как будто глуше: «…и тут, сбросив с себя то немногое, что на нем было, разделся догола, а его примеру последовала девушка. Потом стал на колени, словно хотел молиться, а ей велел стать перед ним.

И так, он стоял на коленях, и при виде ее прелестей похоть его все сильнее распалялась, следствием чего явилось вздымание плоти; Алибек же, в изумлении созерцая таковое явление, спросила: «Что это у тебя торчит, Рустико? У меня такой штуки нет».

Егорий опять перебил Натаху:

— Не думал, что ты такая настырная…

Потом Натаха много раз вспоминала этот день, но не могла объяснить себе, как же получилось так, что книга выпала у нее из рук и она принялась дрожащими руками расстегивать воротник кофточки. Может, этого и не было вовсе, и ей только привиделось, как кофточка соскользнула с плеч и Натаха, оставшись в тоненькой маечке с надписью «От нас не уходят, от нас отстают», вплотную подошла к Егорию, и тот вдруг побледнел; она потянула маечку вверх и тут же открылись взору Егория вполне оформившиеся груди.

— Вот… смотри, — тяжело выговорила она. — У тебя такого нет?..

Он вздохнул и ответил:

— Нет…

Егорий поколебался немного и дотронулся до ее груди, и тут же отдернул руку — обжегся.

— Спасибо, — растеряно сказал он.

— Пожалуйста, — ответила она и опустила майку. Но почему-то соски ее не захотели прятаться, выпукло обозначились под тонкой тканью.

Больше никогда не читала она ему «Декамерон». Даже к трансформаторной будке они почти перестали ходить. А потом как-то очень быстро кончилось детство, она уехала в институт, а он пошел в цех, где стояли шеренгами и рядами станки, и стал производить тайный шуруп, без которого не поднимется в небо ни одна ракета, ни один самолет. Из специального воздушного железа делался этот шуруп, и был легче всех газов на земле, — и это знали все, но никто, кроме изобретателя шурупа, не знал главную тайну шурупа, а именно: он делался не из железа, а из специальной огнеупорной глины. Теперь эту тайну доверили и Егорию.

Так что, человек он был надежный. Руководитель конторы мог на него вполне положиться.

Банджо, бакшиш, бамбук…

Глава вторая: Гайка повышенной точности

Натаха закончила Физико-Физический Институт Секретных Конструкций и стала работать на совершенно секретном полигоне, который был расположен в степях Казахстана. Никто не знал, почему все полигоны находятся в Казахстане, а Натаха знала: отсюда было ближе всего до Луны, которая — всем известно — планета солнечной системы; здесь рукой подать и до Солнца, ну а кроме того в Казахстане живут гостеприимные люди; космонавты, изголодавшиеся в своих железных капсулах, всегда могли рассчитывать на горячие баурсаки, ароматный бесбармак и прохладное куже… Куже сразу снимало головную космическую боль, которая всегда сжимала головы, как будто тисками на крутой траектории снижения, и врачи лечили ее ношпой и пирамидоном, а надо было — куже. А лучше всего был кипящий ледяной кумыс, он легко избавлял от космической тоски, и даже те, кто уже хлебнул межзвездного ужаса и галактического одиночества, после пиалы кумыса готовы были на новые полеты.

Полигон был очень далеко от родной трансформаторной будки, приходилось туда добираться на рейсовых цеппелинах, зато там зарплату обещали очень высокую. Денег нигде не давали, поэтому ценились предложения.

На полигоне жили суровые и неприветливые люди, они перед строем давали клятву не разглашать тайны и держать язык за зубами, в противном случае их ждал безжалостный расстрел или медленное угасание в лабораториях, где они добровольно вызывались на самые опасные опыты. Натаха знала, например, что добровольцы испыты-

вали воздействие невесомости на эффективность зубного порошка и пасты для полости рта. В космосе они приобретали свойства крупного наждака и за год полета стирали зубы до самых корней. Поэтому до Марса и обратно космонавтам требовалось по три вставных челюсти.

На добровольцах испытывали водонепроницаемые портянки, которые легко сохраняли человеческое тепло при абсолютном нуле, но при этом ноги и все тело так потели, что потребовалась разработка специальной дренажной системы. Что и было в конце концов сделано.

Эти отважные люди — добровольцы — первыми испробовали настой из черники, собранной в Чернобыльских лесах; настой был очень хорош от желтой галактической скуки, профессиональной хвори звездных скитальцев, но после приема снадобья время от времени их постоянная угрюмость сменялась безудержным смехом, они словно срывались в штопор неостановимого веселья и тогда вместо позывных из глубин космоса доносился страшный хохот.

Нет, не завидна была доля тех, кто не сумел сохранить тайны Полигона. Если такое все-таки случалось, то большинство несчастных предпочитали быть расстрелянными или замурованными в стены строящихся зданий (такая традиция очень дисциплинировала полигонцев), чем попасть в добровольцы, тем более, что вскоре предполагались испытания (слух, ничего больше)интеллектуальных планетарных вездеходов, в систему управления которых должен быть встроен живой человеческий мозг. Конечно, некоторые добровольцы могли соблазниться этим проектом — все-таки лучше быть мыслящим бронированным джипом, чем испытывать на себе веселую силу черничного настоя, но трудно приходилось этим человеко-машинам, когда космическая экспедиция завершала свою работу и улетала на Землю, оставляя ставшею ненужной технику; всегда идет борьба за каждый лишний килограмм стартового веса. И тогда интеллектуальный внедорожник оказывался обреченным на тысячелетнее одиночество,

потому, что человек уже научился строить неизнашиваемые механизмы, жалея металл и никогда не жалея живое. Эти человекообразные джипы сотни лет будут ползать по чужим планетам, проклиная космос, вселенную — все, все на свете, а когда сядут аккумуляторы, питающие энергией колеса и гусеницы, они застынут под светом ненавистных звезд и еще сотни лет будут вспоминать какую-нибудь речку Кушум, клев на заре и вкус ежевики.

Отважные и очень умные люди работали на Полигоне. Они не жалели себя во имя процветания цивилизации. Они готовы были и день, и ночь питаться порошковым молоком, есть мясо выведенных под микроскопом диковинных животных, пить спирт, полученный из опилок баобабов, годами избегать половых контактов, которые полезны для организма, но губительны для духа, с восторгом принимать все новое, какой бы дикой не казалась эта новизна: они аплодировали, когда был изобретен жидкий не черствеющий хлеб; он был всем хорош, только вкусом походил на полынь, и от него издыхали мыши и крысы. Они радовались, как младенцы, когда был объявлен набор по революционной программе «Дети космоса»; смысл ее был простой: будущие космонавты должны быть зачаты в космосе. Было набрано пятьсот женщин и две с половиной тысячи мужчин репродуктивного возраста и отправлены на околоземную орбиту на гигантском корабле. Разработчики программы рассчитывали, что перебор мужчин гарантирует обязательное зачатие, а в перспективе — приспособленное к невесомости, закаленное жестким излучением, потомство. И не их беда, что эксперимент сразу начался космической оргией и продолжился горячей потасовкой — острая нехватка женщин привела к поножовщине, чуть не сотню мужиков — самых брутальных — выбросили за борт, и они до сих пор вращаются спутниками вокруг гигантского орбитального корабля.

Натахе была поручена разработка гайки повышенной точности. И прочности: одна небольшая гаечка, не хромированная, не луженая, должна была выдерживать пят-

надцать тонн веса. Без этой гайки нельзя было даже планировать возведение домов повышенной этажности, а без них на Земле скоро ступить будет некуда — кругом небоскребы, а с крыш небоскребов все время валятся отходы, — и перспектива выжить, не задохнуться экскрементами, есть только у обитателей самых высоких домов. Используя гайку повышенной точности, можно было возводить дома трехкилометровой высоты, на верхние этажи которых добираться придется на ракетных лифтах. Без этой высокотехнологичной гайки нельзя было даже думать о межзвездных перелетах, которые — доказали ученые — возможны на кораблях весом не менее миллиона тонн; подсчитано было, что небольшому экипажу в сто человек понадобится для полета одной докторской колбасы шестьсот пятьдесят тонн, воды нужно, если умываться хотя бы через день, двести тысяч тонн, учитывая и регенерируемую влагу. Этот гигантский корабль невозможно соорудить без гайки повышенной точности.

Работа спорилась, фотография Натахи висела на доске почета Полигона. Она была награждена почетной грамотой и видеопроигрывателем с набором стереодисков о природе средней полосы. Диски были сняты специально для нее, она сама рассказывала операторам, что ей хотелось увидеть, и в кадр попали и знакомая до боли лесополоса, и трансформаторная будка. Теперь по вечерам она включала проигрыватель и как будто возвращалась на родной полустанок: ей нравилось смотреть, как вечером солнце опускается на землю и тогда рельсы упираются в уставшую за день звезду, и пассажирские поезда, которые проходили вечером, без всякого парома или моста могли перебраться на Солнце. Она любовалась трансформаторной будкой, которая немного напоминала ей мавзолей ее одинокого детства. Она попросила, чтобы эти кадры сопровождались музыкой и ей записали тягучую песню, сочиненную одним норвежцем; она не знала норвежского языка, но понимала: так поют о любви. Потом один знакомый норвежец перевел ей текст песни и она убедилась, что была права:

Зима пройдёт и весна промелькнёт,
И весна промелькнёт;
Увянут все цветы, снегом их занесёт,
Снегом их занесёт...
И ты ко мне вернёшься — мне сердце говорит,
Мне сердце говорит,
Тебе верна останусь, тобой лишь буду жить,
Тобой лишь буду жить...
Ко мне ты вернёшься, полюбишь ты меня,
Полюбишь ты меня...

Про Егория она иногда думала: «Ну, почему, почему его так зовут? Может быть, все-таки Григорий? Гриша?»

Она не видела его десять лет, потому, что не знала, где находится цех со станками, а он, наверное, не знал, где располагается Полигон, а, может, и знал, но не подавал виду — это был государственный секрет. Но они хотели увидеться, и думали иногда, что их счастье заключается в том, чтобы быть рядом, лучше всего — у трансформаторной будки. Но тайный шуруп и гайка повышенной точности пока разлучали их, и никто не знал, как это исправить.

Купидон, рудимент, абажур…

Глава третья: Преодоление

На Земле уже никто не спорил, что нужно переселяться на другую планету. Все давно были «за», и в научных журналах это называлось аксиомой. Даже старики согласно кивали головами, только вздыхали тяжело: жалко все-таки будет расставаться с Землей.

Старая планета едва-едва терпела на себе людей: то цунами накатит, то вулканическим пеплом засыплет целое полушарие, то три года поливает дождем пополам со снегом. А в прошлом году на коралловых островах принялась расти древовидная картошка, а вслед за картошкой начал

размножаться злобный колорадский жук, который страшнее саранчи. Плоды у этой картошки крупные — с арбуз, но растут высоко, убирать трудно, много людей во время уборки побило. Пришлось срочно изобретать специальный картофелеуборочный комбайн, который был похож на пожарную каланчу. Колорадский жук тоже не подарок — кусачий, как кобра, правда, жирный…

А в последнее время в пустынях стали сами по себе — без дождей, без наводнений — разливаться озера с коричневой газированной водой; вода эта была кристально чистой, если не считать коричневый осадок, и соленой, а главное — необыкновенно вонючей. Вода эта убивала все живое, хотя, честно говоря, живого в пустынях было немного, в основном, одичавшие верблюды, ядовитые, как каракурты.

Знающие люди говорили: должно быть, звезда взорвется, вспыхнет сверхновой. А звезда эта — Солнце.

Нужно было бежать.

Абракадабра, базилик, абсолют…

Ученые все обосновали, подсчитали на сверхмощных компьютерах, философы одобрили и даже посоветовали: уносить ноги со старой планеты нужно как можно быстрей, до следующего миллениума. Иначе будет совсем худо. Как в понедельник после попойки.

Народу, конечно, ничего не сказали. Все равно всем места на кораблях не хватит, да и кораблей пока нет. Еще даже гайка повышенной точности не изобретена, еще толком не проведена разведка ближайших звездных систем; первая такая ракета улетела два года назад, космонавты обещали вернуться годика через три — четыре, но по тому, как плакали жены, все провожавшие поняли — эти разведчики не вернутся, или вернутся их пра-пра-прапра(и так семьсот пятнадцать раз)-пра-пра…внуки.

На полигоне считалось, что главная проблема, которую предстоит преодолеть на пути в глубокий космос — одиночество, на которое будет обречен экипаж, отправившийся к звездам, даже если он будет состоять из тысячи человек. Замкнутость пространства корабля, продолжительность полета сделают невыносимым существование людей, вынужденных изо дня в день, из года в год, из столетия в столетие видеть одних и тех же соседей, один и тот же интерьер. До цели, возможно, доберется только седьмое или восьмое поколение, тех, кто стартовал с Земли, несмотря на то, что продолжительность жизни межзвездных скитальцев будет доходить, благодаря применению антибиотиков и витаминных добавок, до пятисот лет.

Против одиночества были разработаны специальные вакцины, но кроме отвлекающей тошноты они ничего не давали. Более эффективны, особенно на начальной стадии, были межзвездные диеты и комплексы физических упражнений, но и они приедались; существовала, конечно, и опасность за многие сотни лет полета превратиться в груду тренированных мышц, свихнувшись на спортивных тренажерах.

Натаха, как молодой специалист, тоже внесла свою лепту в решение злободневной проблемы, и некоторые ее разработки были рекомендованы к внедрению. Например, она научно обосновала возможное благотворное влияние ношения на межзвездных кораблях масок наподобие карнавальных, и при этом соблюдения строгой конфиденциальности. Маски необходимо менять каждую неделю, как постельное белье, но лучше ежедневно. На корабле несложно будет организовать производство масок, применив безотходные технологии, и тогда космонавт будет всегда в гуще сменяющихся лиц; создастся полезная иллюзия многонаселенности корабля, а главное — непременно будет нарушена заданность и скучная списочность; как и на Земле, тебе будет казаться, что в коридорах корабля можно встретить кого угодно. И уже сейчас никто не удивляется, если слышит от собеседника взволнованный рассказ о его встрече с изобретателем футбола, или знакомстве с великим Мастером караоке.

Натахе пришлось даже самой отправиться в коротенький испытательный полет — всего-то на полтора

года — и эффективность ее «Теории масок» была блестяще подтверждена на практике. Все так перемешалось в этом полете, столько было новизны и тайны, что возвращался экипаж из тренировочного полета неохотно, а, вернувшись, многие так и не решились расстаться с масками — для них это стало не суровой необходимостью, а образом жизни.

Предложила Натаха в дальних полетах практиковать и регулярный обмен женами и мужьями. Нет ничего скучнее, чем на протяжении многих веков межзвездного перелета изо дня в день слышать, как она погубила ради него свою молодость и неземную красоту, а он пожертвовал ей свой талант, сейчас бы уже мог быть чемпионом района или даже области по древнейшему виду — городошному спорту.

Последнее ее предложение пока не получило широкой поддержки, но желающих немедленно отправиться в полет прибавилось.

Но все-таки основные ее усилия были направлены на разработку гайки повышенной точности. Она ночами не смыкала глаз над книгами, не отходила от кульмана и компьютера, брала на карандаш все интересное, что иногда происходило вокруг, — никогда не знаешь, что может пригодиться в научных изысканиях. Сама себе она напоминала алхимика, наобум смешивающего микстуры, минералы, высушенные и толченые лягушечьи лапки, тараканьи сердца. Ее научный руководитель любил повторять, что случайностей на свете не бывает, только закономерности. Она привычно соглашалась с ним, но иногда спрашивала у себя:

— А что, когда я показывала грудь тому мальчишке у трансформаторной будки — как же его звали? — это было тоже закономерностью?..

И она вздыхала.

Она никогда не забывала, как его звали, ей нравилась эта нехитрая игра в «не помню». Так жизнь казалась полнее; хотелось думать, что в ней были уже потери, а вскоре последуют и обретения. Иллюзии были надежнее реальности.

А в реальности в нее был влюблен Главный Технорук Полигона — Пахом Пахомович. Так она сама думала — что влюблен, а может в нем пылала одна только страсть, поэтому она отвергала его настойчивые ухаживания. Однажды он даже принес ей букет ромашек; они росли вокруг взорвавшейся много лет назад тринадцатой стартовой площадки, и она узнала, что Технорук сам их собирал. Приехал на «Уазике» и целый час рвал цветы, рискуя разодрать сапоги среди ржавого и покореженного железа, а потом завернул ромашки в газету и повез их Натахе, правда, он называл ее Натальей Павловной, не иначе. Постепенно и все на Полигоне стали называть ее так, а она скучала по своему настоящему имени — Натаха.

Она цветы взяла, но больше ничего ему не позволила, да он и не пытался.

Бонус, капелла, абсурд…

Глава четвертая: Атомное одиночество

Ученые Полигона насчитали триста разновидностей одиночества. Каждая из них была изучена, их признаки изложены в фундаментальных научных работах, и считалось, что рано или поздно одиночество будет побеждено. Конечно, кроме атомного. По научному эта разновидность называлась Malacosoma franconica, кажется, также именовалась одна из бабочек, которые прежде водились в этих местах, или водились в других местах. Но между собой эту «бабочку» здесь называли «атомной». Рассказывали, что много лет назад в глубоких подземных бункерах несли боевое дежурство офицеры ракетных войск. Сверху над ними были мощные антенны, которые прощупывали каждый клочок охраняемого пространства, сверху были зенитные пушки, которые могли попасть даже в летящего воробья, а внизу в подземелье в полной готов-

ности стояли баллистические ракеты, которые должны были обрушиться на врага, если тот осмелится обрушиться на нас. И вот возле этих атомных ракет несли офицеры свою бессонную службу, готовые в любую минуту нажать на стартовые кнопки. Все было устроено так остроумно, что один офицер, случись ему даже сойти с ума от подземной тоски, не мог запустить ракету, для этого нужно было одновременно троим, а то и четверым ракетчикам, нажать на свои кнопки. Все они находились поврозь — каждый в своем бетонированном помещении, и неделями, месяцами не видели никого, не слышали ничего, кроме военных команд. Подземная жизнь очень тяготила, несмотря на хорошую зарплату и сухой паек, и постепенно ряды ракетчиков стали редеть. Кто принялся пить, не может русский человек в тяжелые минуты без водки, а легких-то минут никто никогда не видел; кто выхлопотал справку о тяжелом заболевании — популярнее других стали куриная слепота, свиной грипп и коклюш; кто дезертировал и был застрелен, пытаясь преодолеть охранный периметр. А некоторые додумались до того, что принялись вдыхать сахарную пудру, и, получив затемнение в легких, вообще откосили от службы. И постепенно дежурная смена ракетчиков стала длиться и по месяцу, и по году… А что поделаешь, офицеров не хватало.

Но вот чудо — пошел и обратный процесс. Некоторые ракетчики стали тяготиться редкими выходами на поверхность. Многих из них здесь никто не ждал: жены давно бросили их, дети позабыли, друзья откровенно смеялись им вслед.

И тогда офицеры все реже стали подниматься на поверхность, последняя смена спустилась в бункер в 1967 году. До сих пор они не вернулись, и никто не знает — там ли еще дежурная смена, и есть ли под землей, в бетонном далеке, хоть кто-то, кто нажмет на кнопку, когда придет ее время. Время кнопки.

Вот это и назвали атомным одиночеством. Malacosoma franconica. Но почему все-таки оно названо по имени бабочки?

Эти бабочки — красивые, как пятнистые змеи, исчезли с полигона сразу после того, как взорвалась тринадцатая пусковая. Тогда же исчезли и муравьи, но их никто не заметил. А бабочки были приметные, жалко, что они пропали, без них по вечерам стало еще тоскливее…

Но однажды они вернулись. Уже после взрыва на шестнадцатой и пожара на сто пятидесятой бис. Все уже забыли о них, а они появились. Стали еще красивее, наряднее и, кажется, крупнее — примерно с подушку. Не бабочки, а целые планера.

Все на Полигоне не могли налюбоваться на вернувшихся, говорили даже, что это прекрасное насекомое может стать символом полигона, но однажды обнаружили, что оно, это создание, радиоактивное. Те, кто больше всего восторгались бабочками, получили огромные дозы излучения, и постепенно на их место пришли другие исследователи и изобретатели — пока живые. И эти вновь пришедшие принесли с собой панический страх перед Malacosoma franconica, бабочку принялись интенсивно уничтожать — из огнеметов, пулеметов, пистолетов. Своеобразным спортом стала стрельба по бабочкам из обыкновенных рогаток. Чемпионом полигона стал Кантемир, дублер космонавта под номером пять тысяч триста двадцать; прошел слух, что скоро он будет запущен на орбиту вокруг Солнца, чтобы вблизи убедиться в том, что звезда наша безвозвратно остывает, и скоро уже — через миллион лет или на той неделе — вспыхнет сверхновой или превратится в злобного желтого карлика.

Радиоактивные бабочки научились скрываться от метких стрелков, и стали забиваться в подземные бункеры, а там — на беду дежурным, но всеми позабытым ракетчикам — стрельба была строго запрещена, даже из рогаток. Ведь никто не знал и не мог знать, как поведут себя грозные атомные ракеты, если в них нечаянно попадут револьверные пули или галька, отшлифованная временем и мировым океаном, и пущенная из рогатки твердой офицерской рукой. Можно было только предполагать, что чувствовали подземные ракетные сидельцы, глядя с ужа-

сом, как порхают с пульта на пусковые кнопки и снова на пульты, смертоносные насекомые.

Вот оно, атомное одиночество!..

Аболла, дайвинг, оберон…

Глава пятая: Одинокое одиночество

В бункерах было все необходимое для жизни — вода, тушенка, сухари, большие запасы моршанской махорки, спирт, дрова, антрацит. По-своему там было даже уютно, только никогда не смолкала капель; тяжелые капли срывались с потолка и летели вниз, как гранаты, вода сочилась по стенам, хлюпала под ногами. Да странные, светящиеся в ночи, бабочки, медленно летали под потолками, не опасаясь выстрелов, разве только случайных.

Влюбленный Пахом Пахомович как-то рассказал Натахе, что люди, живущие неподалеку от бункеров, не раз слышали детский плач, раздававшийся из бетонных глубин.

— Маугли нашего века? — спросила она.

Технорук грустно улыбнулся, он не переносил, если в его присутствии она говорила хоть о ком-то другом.

— Этому явлению может быть несколько объяснений, — начал он скучный рассказ. — Первое — дети сами собой появились в бункерах в результате атомных мутаций. Второе — дети выросли из межзвездных спор, притянутых из космоса земным притяжением. Третье — это совсем не дети плачут, а рыдают бабочки — мутанты…

— А четвертое, — перебила она его, — офицеры взяли с собой в бункера жен, тех, которые не успели сбежать, и нарожали детей самым старинным методом… Вам, Пахом Пахомович, знаком этот метод?

Технорук задрожал всем своим крупным телом:

— Не шутите так, Наталья Павловна! Вы же знаете о моих чувствах!..

— Пахом Пахомович, родина доверила нам самое важное на земле дело — спасение человечества, а вы не устаете говорить о своих личных чувствах, не мелко ли? — урезонила она его.

Он знал, что если женщина, когда ей признаются в любви, вспоминает о долге перед родиной, то у признавшегося бедолаги шансов на взаимность никаких, но не мог удержаться, бурчал свое:

— Я люблю вас… тебя…

Она смеялась и почему-то вспоминала Егория. Где он?

Аббревиатура, абсурд, багет…

От него не было ни слуху ни духу. Мог бы хоть открытку прислать. Ну, раз в году — хотя бы на восьмое марта. Но не присылал.

Она как-то заглянула в зеркало и зацокала языком — от неожиданности открывшегося. А открылось ей, что в зеркале живет какая-то чужая женщина, еще молодая, но очень похожая на не молодую. И в глазах у нее горит прямо нечеловеческая, космическая тоска. Ей, должно быть, рожать детишек пора, заводить мужика, приводить его из дикого состояния в человеческое, учить завязывать галстук, варить пельмени и жарить яичницу, а она все дни свои проводит на Полигоне, ломая голову над гайкой повышенной точности, и даже по вечерам не расстается с карандашом, делая наброски этой злополучной гайки в секретной тетради (строжайше запрещено было хоть что-нибудь писать не в секретной, проштампованной тетради; даже заявления в Объединенный Профсоюзный Комитет Полигона на выделение ей и бабушке по два ведра картошки она обязана была писать в этой тетради, иначе на первый раз штраф, а на второй, само собой, — расстрел).

Ей должно было уже поднадоесть замужем, и уже украсить мужа первыми, еще нежными, рогами, а у нее еще и мужа-то не было. Стыдно сказать, она была девственна.

Натаха, нет, Наталья Павловна, еще раз заглянула в зеркало: привлекательна, стройна, неплохо одета, в меру косметики, но почему же она не выпускает из рук карандаш? Как будто для рук не существует ничего иного?

Однажды в магазине конфискованных товаров ей продали видеокассету (только по разрешению Объединенного Профсоюзного Комитета) с фильмом «Чапаев» — классику мирового киноискусства. Она знала фильм наизусть и во время просмотра подсказывала главным героям их реплики: «…ты, Василий Иванович, за большевиков али за коммунистов?..» Но вдруг Чапаев задрожал, пошел мелкой рябью и пропал с экрана. На его месте появились совершенно незнакомые (возможно, если бы они были Натахе знакомы или даже приходились родней, это несколько бы уменьшило шок, который поразил ее при виде их) и совершенно голые люди — мужчины и женщины, которые принялись вытворять такое… такое… такое…

Даже бесстрастное перо романиста, схожее с безжалостным скальпелем, вырезающим болячки, не в силах описать оргию, что происходила на экране. Одни голые как будто пытались пожрать других голых, а другие — пожираемые — стонали и кричали от наслаждения, и сами бросались на потную, извивающуюся, сладкую плоть. Особенно неистовствовала одна, в кисейной маске, совсем еще молодая. Она — и это было заметно — наслаждалась не только оргией, но и тем, что их снимает видеокамера. Натаха вгляделась — что-то неуловимо знакомое было в этой валькирии.

Вот что было на конфискованной кассете под Чапаевым.

Рука Натахи потянулась к выключателю, ведь за порнографию по суду обязывают носить специальную срамную одежду — прозрачную блузку, коротенькую юбочку и надпись «Разврат — разруха души», но рука как бы сама собой повернула регулятор громкости, чтобы, значит, посторонние не услышали, и из руки выпал карандаш.

Она дважды просмотрела нестертую преступную запись, поставила ее и третий раз, но какой-то посторонний звук испугал ее, она выключила проигрыватель, и звука не стало. Как будто у стонов и криков на экране появилось эхо. Она осторожно включила кассету, и через минуту —

другую эхо вернулось. Ее бросило в пот, а потом и в дрожь, когда она поняла, что это она постанывает — подстанывает — в такт происходящему на экране.

Она бросила кассету в мусоропровод, предварительно, как преступница, стерев с нее огуречным раствором возможные отпечатки пальцев. Ночью лежала без сна, а в голове крутились, чередовались сцены из выброшенной кассеты: животы, груди, мокрые обсосанные губы. Наташа встала, накинула халат, спустилась в подвал дома, где стояли мусорные контейнеры. Она нашла какой-то железный прут и принялась копаться им в ящиках. Спугнула с добрый десяток промышлявших в ящиках крыс, и с полдюжины кошек, промышлявших крыс, перепачкала халат, но кассету нашла.

В это время в подвале возникла, как будто материализовалась из мусора, Заместитель Оберкапо Дома, отвечающая за порядок на первых этажах и подвале — Нина Арнольдовна, — и чего им вечно не спится этим ответственным, и откуда у них такой нечеловеческий нюх? А, может, он на самом деле нечеловеческий?

— Не спится, Наталья Павловна? — спросила та вкрадчиво. Она всегда и всех подозревала в противоправной деятельности, такое у нее было призвание. И, конечно же, она была права: кто может про себя сказать, что хоть раз в жизни он не допускал эти самые противоправные проступки, или не хотел допустить? Кто без греха?

— Да, вот, случайно выбросила в мусоропровод любимый фильм — «Чапаев», — пустилась Натаха в объяснения, — кое как нашла… А здесь я сейчас приберу, товарищ капо, не беспокойтесь…

— Знаете, — оживилась Нина Арнольдовна, — я с самого детства люблю старинные революционные фильмы. Вот люди были! Жили в дикие времена, без Интернета, без видео, в разрозненных, враждующих странах, а сколько в них было веры в грядущую справедливость!.. Вы так не считаете?..

— Считаю, да считаю… веры было хоть отбавляй…

— И не было организующей и направляющей силы Всемирного Дисциплинария, — сказала Нина Арнольдовна. — Разве не так? Не так?

— Конечно, конечно, — подтвердила Натаха. — Заповеди Дисциплинария у меня дома всегда на видном месте…

— Нынче многие маскируют преступные помыслы мишурой красивых слов, — задумчиво произнесла Заместитель Оберкапо. — Однако, нет глубины и крепости в убеждениях… Нужно, чтобы в душах наших с младенческих лет был свет Правды… Вот ты, Натаха, о чем мечтаешь? Что тебе снится?

— Ничего такого мне не снится, — покраснела девушка. — Как всем…

— Я знаю, что ты девушка правильная, живешь по Дисциплинарию, но я ни это сейчас имела в виду… У тебя мечта девичья, человеческая есть?..

— Мечта? — удивилась Натаха, она даже не предполагала, что люди из службы Оберкапо знают такие слова. — Есть… Как можно скорее закончить работу над своим заданием, а кроме того быть примером, крепить…

— Ну, заладила, — с раздражением перебила ее Нина Арнольдовна, — у тебя хотя бы жених есть? Впрочем, служба Правды не давала пока таких сведений на тебя… А тебе пора и семью заводить… В заведенном порядке подашь заявление, и тебе подберут хорошего юношу или неиспорченного холостяка… Выбор сейчас большой…

— Спасибо, товарищ Капо, — подняла ее Натаха в должности, — но мне пора. Завтра рано вставать…

— Иди, иди… Как-нибудь соберусь к тебе в гости, вместе «Чапаева» посмотрим… Лады?..

— Хорошо, — сказала Натаха.

Надо было стереть пленку, разбить молотком, спалить в микроволновой печке, растолочь в ступе. А у Натахи рука не поднялась, так нравился ей Чапаев. А после того, как героический начдив уплывал в историю, на экран прорывались голые стонущие тела; она привыкла смотреть кассету почти каждый вечер, и постепенно перестала различать, где кончается Чапаев и где начинается оргия: ей казалось, что Петька с Анкой тоже среди этих людей в масках, бьющихся за наслаждение, как за главное счастье мира.

Но и они были поражены одиночеством, Натаха назвала его одиноким одиночеством. Наверное, они думали, что чем плотнее прижмутся друг к другу, тем меньше пространства останется для тоски и боли, но они ошибались, думала она.

Геодезия, полиграфия, а капелла…

Глава шестая: Горькое одиночество

Лет тридцать назад люди заметили, что сильно стала горчить белорусская ягода черника. Прежде ее даже с молоком ели, такая в этой самой чернике была болотная нежность и лесная сладость, и, вдруг, стала ягода, как хина, и запах испортился, и цвет обесцветился. А произошло это примерно в то время, когда прямо на старте растаяла — взяла, да испарилась, исчезла с глаз — новейшая многоступенчатая ракета; сам изобретатель ракеты не знал, сколько у нее ступеней, поговаривали, что не меньше ста сорока. И даже больше. Предназначалась ракета для географических исследований: измерять реки, высоту гор, уточнять орбиту Земли, — что-то она нынче без всякой стабильности несется в пространстве, и есть подозрения, что несется она не совсем туда, а если быть честным, то совсем не туда; и куда мы вместе с ней попадем — никто не знал, а теперь, наверное, и не узнает, ведь улетучилась многоступенчатая ракета.

Но это к слову — о ракете. А главное — черника. Горькая, мелкая, бесцветная. Ну чисто дикий крыжовник.

Первый, кто попробовал эту новую чернику был Технорук Пахом Пахомович. Шел как-то по лесу на двадцать седьмой радиоактивной площадке и наткнулся на ягоду, попробовал — ничего его не берет — и стал ее называть так — горчика. Но ему она очень понравилась, он и тер-

тый хрен ел, как мороженое, и корейскую приправу покупал ведрами — про запас; он любил все переперченое, пересоленное, резкое, бьющее в нос, царапающее горло. Может быть, именно поэтому ничего его не брало — ни ангина, ни куриный грипп, ни даже эта самая горчика, которая, как оказалось потом, была не простой черникой, а, скорее всего, модифицированная в глубоком вражеском подполье неопознанная отрава. Кто-то, у кого руки чесались, приготовили эту ягоду на погибель всему человечеству, не иначе.

Генеральный Куратор Полигона Демьян Третий, Живущий для Народа, во время политинформации проверяя ногти сотрудников Департамента Жестких и Мягких Конструкций, как-то сказал:

— Внешних врагов у нас, слава Дисциплинарию, нет. Мы не знаем о них, поэтому привычно считаем, что их нет. Но опаснее внешней угрозы — внутренняя. А она, как известно вам, сгущается, угрожает всему нашему гениально устроенному и точно налаженному обществу. Помните, как в прошлом году даже у нас на Полигоне появлялись электронные воззвания, авторы которых требовали… вы только подумайте — требовали! — сделать гласными наши научные разработки, и уверяли, что готовится Новый Космический Ковчег (Ковчег надежды), места на котором гарантированы только элите. Какая наглость — распускать гнусные слухи. Это происки врага, и вы знаете, что они были благополучно пресечены, Народный Суд вынес справедливый суровый приговор: злоумышленники были вычислены, схвачены и замаринованы в дубовых бочках с красным перцем. Поделом же им… Вот и горчика выведена презренными подпольщиками…

Роман, трилогия, верлибр…

На обыкновенных людей горчика действовала самым неожиданным образом. Сначала ничего не замечали, а потом заметили — удивились, и даже стали опасаться. Да, и как не опасаться: один, съев всего-то пригоршню, стал летать — неуклюже, не как орел или журавль, но все-таки получил возможность передвигаться по воздуху, как воздушный шар. Это ему оказалось кстати, потому, что там, где он жил, от землетрясений пришли в негодность все дороги, стало невозможно ходить, да и обувь быстро изнашивалась. А по воздуху-то и приятнее.

Другой принялся сочинять романы. Ни с того, ни с сего. Копался на грядках — баклажаны не задались — и вдруг пошел к кадке с дождевой водой, руки вымыл, да с мылом, вытер их насухо и пошел в дом. Клава, сожительница его, удивилась, чего он надумал? Уж не бутылка ли у него на чердаке припрятана? Вот, гад! И баклажаны уродились чахлые, как гороховые стручки, и картошку эти перламутровые жучки жрут, аж хруст идет, и вечнозеленые помидоры декабря ждут, а он водку лакать? Ну это он зря! Смотри-ка, нашел дурочку!

Клава выждала пару минут и потихонечку пошла за сожителем, чтобы взять его с поличным; без скрипа открыла дверь, как разведчица, и остолбенела! Петро, кажется так его звали, сидел за кухонным столом и чего-то писал а тетрадке.

— Ты чего, Петро? — встревожилась женщина. — Заболел?

— Как будто здоров…

— А если здоров, то кто картошку полоть будет? Дядя будет?.. Сосед?..

Обычно упоминание о соседе вызывала у Петра сложные чувства, хотелось просто морду набить, а в этот раз он пропустил гнусные слова мимо ушей.

— Я картошку полоть не буду, дешевле ее купить, хватит уродоваться…

— А ты на нее заработал? Заработал? — я спрашиваю!..

— Заработал, — сказал он и опять погрузился в тетрадь.

Клаве стало дурно. Она накапала валерьянки, закусила малосольным огурчиком — горькая она, валерьянка, а под огурчик ничего. Под огурчик и водочка хороша.

Батюшки, и чего только не приходит людям в голову! — встряхнулась она и продолжила допрос:

— Правильно, теперь будем чистописанием заниматься…

Она заглянула через плечо сожителя и прочитала: «Голубой туман струился над полуночной землей…»

— Чего это такое ты написал? — испугалась она. На донос было непохоже, да и время для доносов неподходящее; рекомендовалось писать после двенадцати, когда улягутся спать родные. Обер-капо второго микрорайона шутил иногда: «Донос, как понос, в полночь он тебя пронес…» Все знали, что это куплет из юмористической передачи на трехсотом канале, но смеялись над шуткой, как будто в первый раз слышали. Всем хотелось улыбнуться вместе с капо, хватит уже хмуриться, жизнь с каждым днем налаживается, и могла бы быть еще лучше, если бы не проклятые подпольщики.

Куплет на самом деле хороший, талантливая вещь, не так часто в наши дни встречается истинно народный, забористый юмор.

— Что ты пишешь? — повторила Клава.

— Роман, — коротко ответил Петро.

Клава на минуту потеряла дар речи. Она смотрела на сожителя и не могла понять его безмятежности. Он сидел над тетрадкой и спокойно, сосредоточенно укладывал на бумагу строчку за строчкой, как он укладывал на зиму картошку в погребе, как укладывал в дубовую бочку яблоки перед тем, как замочить их, как, наконец, укладывал он когда-то давным-давно снаряды у стодвадцатидвухмиллиметровой гаубицы: да, пришлось, пришлось повоевать…

— Роман? — переспросила она, еще надеясь, что ей послышалось, и что пишет он заявление в кассу взаимопомощи — и сапоги прохудились, и валенки к зиме справить надо…

Но он писал роман…

— Художественную вещь пишу, — пояснил он. — Крупную… Роман — как минимум, а, может быть, трилогию.

— Петро! — умоляюще прошептала она. — Ты хоть знаешь, что бывает с теми, кто пишет романы? Их сразу ставят на прямой учет в восьмом управлении Дисциплинария. Ты только подумай — в восьмом!

— Ну и что? — спокойно спросил он. — Разве это занятие запрещено? Хвала Дисциплинарию, мы живем в свободном мире. Каждый может написать хоть повесть, хоть поэму — и опубликовать свое творение… Сколько уж можно горох с фасолью выращивать, пришла пора и за роман взяться. А ты садись, скажем, за венок сонетов…

Клава схватилась за голову, сожитель обезумел.

— Знаешь ли ты, когда был напечатан последний роман? — спросила она.

— Ну, конечно, — напряг он память, — кажется, восемьдесят лет назад…

— А почему никто не пишет их больше? — ты знаешь?

— Со школьной парты знаю. Исписались писатели, выбрали для литературы тупиковый путь развития, тем самым вызвали всемирный филологический кризис… Об этом нам все уши прожужжали. Слово ушло в землю, как искра в автомобильном моторе… Писатели перешли на сказы, сказания, миксты, эссе… Потом на рассказы-раскраски, рассказы-пазлы… Кстати, ты не знаешь, что такое эссе?

— Ничего я не знаю, — сказала она честно, потому, что со школьной скамьи ненавидела книги. Она помнит, как в школе все радовались в тот день, когда было отменено преподавание литературы, философии и рисования. В тот год в школьную программу было, наконец, добавлено караоке. А книги постепенно стали исчезать, но не сами по себе, а кто-то помогал им исчезать. Шепотом передавали, что все книги теперь собираются в одну гигантскую библиотеку, где стеллажи так высоки, что на самый верх можно попасть только на специальном воздушном шаре. Самые смелые говорили негромко:

— Ликург хочет все книги заточить в тюрьму…

В ответ на признание Клавы, Петро тоже не мог не признаться.

Я тоже почти ничего не знаю, — сказал он, не поднимая от тетради головы. — А вот что такое роман я помню хорошо.

—???..

— Это когда веришь, что выдумываешь чужую жизнь, а в конце концов получается своя, даже не очень сильно вывернутая наизнанку…Но лучше всего — полосонуть кого-нибудь по сердцу — и налить полный роман живой крови… Чужой крови, но всю жизнь ждать случая, чтобы добавить и своей…

— Говоришь, как капо, — попыталась взять себя в руки Клава. — Роман — это много слов, и ничего больше… Мертвечина…

— Я пишу роман, а значит он жив, — сказал он.

Третий, отведавший горчики, стал невидимкой, но не совсем, и наоборот. Какую бы он не надевал одежду, она становилась прозрачной, как стекло и все видели его совершенно голым. А если он все снимал с себя, то становился невидимым. Но на дворе как раз бушевала зима и куражились метели, жгли морозы.

Четвертый продвинулся на ниве селекции. В домашних условиях сумел скрестить крысу с черепахой, так что получилась бронебойная крыса. Селекционер был награжден медалью «Жизнь на пользу Отечеству» четвертой степени, а выведенные крысы взяты в распоряжение военного ведомства.

Пятый…

Но все отведавшие горчики пропали. Не сразу, не все скопом, но постепенно улетучились куда-то. О них и вспоминали не сразу, их и не искали, о них не писали в газетах, как будто и не было таких людей. Никогда, или были давным-давно, а, может, и не здесь, да, может, и не они.

Но время от времени они все же появлялись, потерянные, потрясенные, и не могли толком объяснить, где же они находились. Они только повторяли, что вокруг них абсолютная пустота, Абсолютное, горькое одиночество.

Но им нужно обязательно вернуться: горькое одиночество не может отпустить, потому, что оно Абсолютное. Им говорили:

— Оставайтесь, почему вы снова и снова уходите туда?

Они только испуганно качали головами и торопились в абсолютную пустоту. Обер-капо третьего микрорайона, Предводитель Депутатов Высокого Дивана Маджонг Супрематович, человек влиятельный и очень умный, предлагал считать пропадающих врагами народа, ведь они предпочитают пустоту созидательной и полной жизни под эгидой Заповедей Дисциплинария.

Депутаты высокого Дивана обещали принять специальный закон против всех форм одиночества. Причем, предполагалось карать одиноких строго: для первого случая — в урановые рудники, а если не поможет — расстрел резиновыми пулями. Широкая общественность одобрительно отнеслась к проекту нового закона. Все и всегда делается для людей.

Лаглинь, лактация, галлон…

Глава седьмая: Разоблачение

Однажды летним вечером в дверь к Натахе постучали, хотя у нее был электрический звонок. Она всполошилась: в последний раз к ней приходили контролеры шестого — мебельного — управления Дисциплинария; их интересовали на этот раз шторы — не слишком ли они непроницаемые. Она отделалась тогда небольшим штрафом: все-таки работники Полигона пользовались третьим уровнем доверия, а некоторые даже четвертым, и самые избранные — пятым. Последние могли даже слушать анекдоты, причем, без обязательного доноса.

Кто бы мог быть сегодня?

Она не сразу стала открывать, заглянула в глазок: время неспокойное, враги только и смотрят, чтобы учинить

очередную гнусность, а тут молодая сотрудница, работающая над совершенно секретной темой. Конечно, никто не должен знать не только о содержании, но и о самом факте проведения исследований по созданию гайки повышенной точности, но как не борись с болтунами, как не закатывай их в дубовые бочки, все равно кто-нибудь ляпнет по пьяне или в пылу дискуссии: а, знаете, высокопрочная и высокоточная гайка вот-вот будет получена!.. И не будет ей равной на земле!

В глазок он рассмотрела только зонтик от дождя, которым прикрывался поздний посетитель.

— Кто? — спросила Натаха.

— Я! — ответила Нина Арнольдовна, Заместитель Оберкапо.

«Пропала!» — почему-то подумала Натаха. Обреченно открыла дверь, улыбнулась навстречу важной гостье. На самом деле, не каждый день к нам приходят представители высшего звена руководства дома. Только представишь, сколько у них разнообразных забот, так голова кругом идет.

— Не ждала, Наталья Павловна? — спросила заместитель Оберкапо. — Честно признайся!..

— Если бы вы предупредили! — принялась Натаха оправдываться. — Я заказала бы что-нибудь в робот-ресторане, как раз вчера пищевые карточки пополнили. Можно было даже бутылку вина получить, я три года не отоваривалась спиртным, как раз бутылочка накопилась…

— Ну, ничего, ничего, — вкрадчиво улыбнулась Нина Арнольдовна, — не суетись, милая… Я принесла вино…

— Ну, что вы! Мне так неловко… Это честь для меня…

Гостья приобняла Натаху за плечи, сказала:

— Может, это для меня честь? Вот закончишь работу над гайкой, получишь звание «Польза Отчизне», переедешь в отдельную квартиру, так, может, вспомнишь добрым словом добродушную старушку капо…

— Извините, я не знаю, о какой работе вы говорите, — строго произнесла Натаха.

— Ну, знаю, знаю — ты не распускаешь язык, это я так — ради осторожности, по привычке… Не бойся! — сказала Нина Арнольдовна. — Ты на хорошем счету… Твой поведенческий рейтинг за сотню зашкаливает… Давай емкости…

Нтаха быстро накрыла на стол, чем богаты, тому и рады: порошковая сублимированная картошка, искусственная рубероидная сельдь, синтезированное пальмовое печенье и немного деликатеса — натуральные толченые желуди без цикория; аккуратно пододвинула к гостье большие, вмещающие не меньше грамма, пипетки для употребления спиртного…

Нина Арнольдовна расплылась в улыбке — закуска ей понравилась.

— Наливаю! — сказала она и включила специальную микропомпу, которая разливала жидкости с точностью до десятой части нанолитра.

— Будем! — сказала Заместитель Оберкапо. — Какой аромат!.. Это «Семиреченское коллекционное», оно досталось мне по случаю…

Натаха тоже пригубила. Да, хорошее вино.

— А я вот чего пришла, — сказала Нина Арнольдовна, — помнишь, я кассету с «Чапаевым» у тебя видела?

— Да, помню, — еле выговорила Натаха. — Конец, конец, конец… И не пожила совсем, а теперь и не удастся уже…

Она вспомнила, как на последнем «Слете Верности» было показательное запечатывание бочки с развратниками. Все присутствующие боялись отвести взгляд от двух тоненьких восемнадцатилетних девочек и мальчика, которых закатывали в бочку с белокочанной капустой. Тогда говорили, что мальчик гулял сразу с двумя, с одной в кино ходил, с другой даже целовался. Экзекуция в итоге прошла на высоком морально-этическом уровне.

За хрипящих и стонущих на натахиной кассете могли и в бочку с раками закатать.

— Ну что ты застыла, включай магнитофон, — сказала Заместитель Оберкапо. — Люблю такие фильмы!..

Она развалилась на диване, вытащила из кармана пачку сигарет. Капо разрешалось курить; на такой работе без табака не обойтись. Натаха помнила, что также разрешено курить бойцам бригад «Верности», которым доверено высокое право проводить экзекуции, космонавтам на лунной станции — чтобы не так страшно было, и некоторым ответственным работникам Полигона. Натаха не была ответственным работникам, но потянулась за сигаретой, наверное, от растерянности. Закурила, затянулась, голова приятно закружилась; за одну сигарету ее могли поставить на горох — на три часа, Капо обязана донести.

— Бежать, бежать, — мелькнуло в голове у Натахи, но она не убежала, включила магнитофон, обреченно присела на стул.

— Не расстраивайся, — великодушно сказала Нина Арнольдовна, — вовсе не донести про сигарету я, конечно, не могу, но постараюсь выхлопотать тебе «горох на дому». Довольна? Кури, наслаждайся!

На экране чапаевцы расправлялись с офицерьем. Каппелевский отряд погибал в Приуральской степи, удивляя даже большевиков своей бесполезной доблестью. Или как раз полезной?

Натаха лихорадочно соображала: как успеть выключить магнитофон на том самом месте?

— Ну, ладно, милая, — отвернулась от экрана Нина Арнольдовна, — нацеди еще, да больше!..

— По две порции за один раз не положено, — подала голос Натаха, — за это могут быть назначены штрафные ассенизационные работы — ШАР-Один и даже ШАР-Два.

— Тебе ли, ученой, опасаться дерьма, ваше племя только и занято тем, чтобы всех нас загнать в него, — неожиданно грубо произнесла Нина Арнольдовна. — Короче, наливай, и давай перекручивай кассету до того самого места… сама знаешь какого…

Натаха едва не грохнулась в обморок. Но быстро пришла в себя. Если Оберкапо знает о кассете, а сюда еще не ворвались бойцы бригад «Верности», то это значит, что она

все-таки не донесла. Почему, ведь сокрытие преступления страшнее самого преступления, учит Дисциплинарий?

— Перекручивай кассету! — повторила Оберкапо, и в голосе ее почему-то зазвенела не сталь, как бывало часто, а ржавая жесть. — Думаешь, можно хоть что-то у нас спрятать?.. Ни спрятать, ни утаить!.. Специальная техника есть, и она не дремлет...

Натаха знала это и без нее.

— Ну, включай уже! — потеряла терпение Нина Арнольдовна.- И садись рядом…

Натаха — выхода не было — плюхнулась на диван.

А на экране завелась оргия, но теперь в присутствии Оберкапо, она казалось невозможной, запредельной по своей омерзительности. Неужели это она смотрела эту кассету, иногда даже два раза за вечер? А сейчас в телевизоре те же самые голые красотки, потные, с тяжелыми силиконовыми грудями, те же голые мужики, волосатые, как обезьяны, — а у нее к горлу подкатывает тошнота, дрожат руки, испарина выступила на лбу. «Провалиться бы! — подумала Натаха. — Забиться бы в какой-нибудь заброшенный бункер и ничего не видеть, ничего не слышать… Да есть ли теперь хоть один свободный бункер на всей огромной территории Полигона?»

Она украдкой взглянула на Нину Арнольдовну. Та смотрела на экран, не отрываясь, как бы полностью безучастно. Но тут же Натаха заметила, что одна рука у Оберкапо находится в движении, словно перебирает воображаемые клавиши воображаемого инструмента, наверное, какой-нибудь фисгармонии. «Ведь она подыгрывает происходящему на экране, — догадалась она. — Ну, и капо!»

На губах у Нины Арнольдовны играла легкая полупрезрительная полуснисходительная усмешка, она как будто говорила: «Какая мерзость, мне даже смотреть на это противно, но мои служебные обязанности требуют этого; для меня это не просто кассета с порно, а важная улика преступления против нравственности…»

Но рука помимо ее воли продолжала играть на воображаемой фисгармонии, и музыка эта была камерной.

Оберкапо вздохнула. Как будто она изображала ветер.

И вдруг она закрыла глаза, не совсем, а так, чтобы видеть происходящее на экране, а больше ничего не видеть. Это трудно было объяснить, подумала Натаха, Нине Арнольдовне, наверное, хотелось остаться наедине с теми, кто был на экране, но и Натаха пусть будет здесь. Пусть не уходит… Пусть смотрит, смотрит…

Оберкапо вздохнула еще раз, и еще, сказала:

— Мне не довелось быть замужем…

Натаха посмотрела на нее, костистую, двухметровую, с форменной прической «полубокс» и не удержалась:

— Мужчины у вас не было?

Рука капо на минуту перестала играть на фисгармонии, Натаха замерла от страха, но пальцы Нины Арнольдовны опять нашли воображаемые клавиши, или что там есть в фисгармонии, и она продолжила подыгрывать участникам оргии.

— Дева я… Старая дева, — сказала она почти торжественно.

«Зрелище распалило начальницу, — догадалась Натаха, — да так, что ее потянуло на откровения…»

— А ты, ты — девушка?..- почему-то шепотом спросила Нина Альбертовна.

«Только об этом меня не допрашивали!» — разозлилась Натаха и соврала:

— У меня мужиков полно было…

— Дааaa! = кажется, ее удовлетворил ответ. Она опять закрыла глаза, откинулась на спинку дивана, рука не занятая на фисгармонии, легла Натахе на коленку.

— Что? Что она хочет? — запаниковала та.

И вдруг Оберкапо обхватила Натаху обеими руками, прижалась к ней всем телом, и замерла, и улыбка, теперь уже потерянная, болезненная и одновременно порочная — легла как маска на ее лицо. Натаха рванулась, но та только крепче прижалась к ней.

— Отпустите! — закричала Натаха, но Оберкапо не слышала ее. Кажется, начальницы и не было здесь, осталось только вытянувшееся большое солдатское тело, а ее пылающий мозг был далеко отсюда. Где?

— Ну что это такое? — напрягла все силы и вырвалась из объятий Натаха. — Что вам надо?..

Нина Арнольдовна открыла глаза, в них не было ни тени смущения.

— Не трепещи, дурочка, — сказала она. — Не ори!.. Знаешь, что с тобой сделают за эту кассету? Знаешь?..

— Знаю, — прошептала Натаха.

Оберкапо поднялась с дивана, одернула форменный френч.

«Все, сейчас объявит «Непреложную волю Дисциплинария» и вызовет конвой из бойцов бригад «Верности», — подумала девушка.

Но Оберкапо явно медлила.

— Собственно, я чего зашла, — наконец сказала она. — Есть у меня брат… Достойнейший человек… Образованный, хорошую должность занимает, начальство его ценит…А вот с личной жизнью у него не клеится… Не хочу, чтобы он напоролся на какую-нибудь шалаву, чтобы она ему всю жизнь испортила… Да ты его знаешь, это Пахом, Главный Технорук Полигона. Пахом Пахомыч. Знаешь?..

— Знаю, — Натаха никак не могла понять, куда клонит начальница, впрочем, все она понимала, но боялась поверить, что это может стать правдой.

— Вот и славно, — сказала капо. — Ты ему нравишься, даже очень. Он тоже не урод, и душа у него чувствительная. Как голубки заживете…

— Голубки… — повторила девушка.

— А кассета у меня пусть пока полежит, — Нина Арнольдовна добавила голосу материнской строгости, а если что — вытащим ее на свет… Но ты же умненькая, бузить не станешь? Не станешь?

— Не знаю, — еле выговорила Натаха.

— Вот и ладно, — поняла ее по своему капо, — заживете, как люди… Но помни…

Офсет, лабиринт, сюита…

Глава восьмая: Порок человеческий

В этот день с самого утра жизнь как будто заладилась по новому, по счастливому. Во-первых, выглянуло солнце, а его давно не было, наверное, где-то пряталось, и утро выдалось светлым, ярким, только над речкой на одну всего минуточку повис розовый туман, но быстро рассеялся, проколотый солнечными лучами, во-вторых прилетела какая-то птаха и принялась щебетать, да так певуче, что сразу за душу взяло. Натаха смахнула неведомо откуда взявшуюся слезу, и подумала: «Пока птицы поют, и мы будем живы. Не может пропасть планета, на которой есть такие певуньи», — и отчего-то стало радостно, как будто уже удалось спастись.

На Полигоне тоже пришла удача, Натахе удалось, наконец, получить первый, пока еще опытный, образец гайки повышенной точности. Она же гайка повышенной прочности.

Гайка переливалась всеми цветами радуги, сверкала в ослепительных лучах телевизионных ламп; ее снимали только для истории — эта пленка будет опечатана в Хранилище Тайн на тридцать три года, потому, что гайка совершенно секретная. Много бы дали за ее секрет враги, но, как говорит народная мудрость, близок локоток, да не укусишь.

Принялись испытывать гайку: и уксусом ее жгли, и в огонь бросали, и молотками били изо всех сил, а под конец положили в холодильник — рядом с бутылкой рябиновой водки. Правда, не удержались — жахнули по рюмке, другой, цеховой капо — добрый мужик — отвернулся. И потом даже спели тихонечко любимую: «Корабли постоят, и ложатся на курс… не пройдет и полгода, и я появлюсь, чтобы снова уйти на полгода…». Давнишняя песня, но почему-то царапает сердце. А, может потому и царапает? Так и мерещатся корабли, которые собираются куда-то на полгода, и не известно — вернутся ли они вообще, многие так никогда не возвращаются, большинство. Вот стоят они у причальной стенки, вокруг свинцовая вода, чайки надрываются в крике, как будто знают все, и уже заклокотало за кормой — прощайте, прощайте, прощайте…

Кто-то зарыдает на причале, и все… Как не было корабля… А многие так никуда не отплыли, не довелось. То ли капитан запил горькую, то ли каманда разбежалась — в кабаки, к женам под лоскутные одеяла, в дальние края, где у параходов счастливая судьба.

Легкая грусть только усилила не очень понятное ощущение праздника.

«Может, на самом деле в мире случилось очень-очень хорошее, и мы это чувствуем? — подумала она. — Теперь с помощью нашей гайки мы построим такие звездолеты, такие звездолеты!.. Они легко увезут нас на далекие звезды, спасут от взрыва остывающего Солнца…

Ближе к обеду Натаху позвали в секретную космическую мастерскую. Там тоже в этот день случилось свершение. Тамошние ученые сумели построить искусственную планету. Небольшую, но уютную, с центральным отоплением, правда, туалет во дворе. На такой планете можно жить в открытом космосе одной семье вместе со своими домоЧАДцами (Челядь Автономного Дома) пять — десять лет, пережидая неблагоприятные условия, которые наверняка сложатся после взрыва Солнца. Для домоЧАДцев были предусмотрены помещения казарменного типа с раздельным проживанием этих существ мужского и женского рода. Также отдельные бараки устраивались для человекообразных андроидов.

На искусственной планете было не меньше гектара пахотной земли, которая могла давать обильные урожаи картошки, репы, кукурузы и свеклы. Хорошо росли полба, горох и стронцевые огурцы, доходящие весом до пяти — семи тонн. Одним огурцом можно полгода кормить всех домоЧАДцев.

Были на планете водоемы, даже небольшой океан, горные системы, водопады, пара пустынь и непроходимые джунгли. Планета была очень симпатичной, висела над Полигоном и жужжала, как шмель, и это ее негромкое

жужжание, едва ли не больше всего остального, понравилось Натахе.

На презентации искусственной планеты присутствовал Генеральный Куратор Полигона Демьян Третий, Живущий для Народа. Параллельно с представлением жужжащей планеты, он провел выборочную проверку подворотничков, и остался очень доволен тем, что ученые не забывают о личной гигиене. Гигиена — сестра дисциплины, основа порядка. Человек, помывший руки хорошим, ароматным мылом, вряд ли возьмет в руки копье, булыжник, пистолет…

«Он гений!» — подумала про него Натаха. И еще она подумала, что хорошо бы купить такую планету и зажить счастливо с… с кем? С кем?

Да, а куда подевался Егорий? Не пишет, не звонит… Может, опасается пользоваться Свободной Электронной Почтой, от которой граждане не могут иметь секреты? Но какие могут быть у них с Егорием секреты, про трансформаторную будку?.. Про «Декамерон»?..

Она поинтересовалась у конструктора планеты, скоро ли начнется серийное производство таких планет и они поступят в розничную продажу?

— В самое ближайшее время, — ответил конструктор, — копите мани.

— И сколько примерно потребуется мань? — спросила она по инерции; ее накоплений могло бы хватить на табуретку. Но в глубине души она надеялась на премию за свою гайку, могут ведь дать. Могут?

— Не менее ста, — ответил конструктор, немного гордясь собой.- Ну, еще за регистрацию, за подключение к Свободной Электронной Почте, за дезинфекцию и прививки… Причем домоЧАДцам документы выправлять так же, как хозяевам, по строгой бдительности. Глаз да глаз нынче нужен за люмпеном — хоть за андроидами, хоть за живорожденными.

— Да неужели так дешево? — гнула свое Натаха.

— Шутите, девушка, сто миллионов мань для вас дешево?

— Сто миллионов! — воскликнула Натаха, и настроение у нее испортилось.

— Вы можете записаться в очередь и дождаться скидки, — принялся ее успокаивать конструктор. — Вспомните, какой ажиотаж был вокруг Индивидуальных Атомных Убежищ, а сейчас можно за бесценок взять даже трехкомнатное, мебелированное…

— Спасибо, — поблагодарила Натаха, — буду ждать…

И она отправилась домой, и почему-то у нее перед глазами стояла трансформаторная будка, лесополоса, бабушка Клавдея и Егорий младший, и Егорий старший. Как давно жили они все вместе на крошечном полустанке!

Сюжет, наган, целлофан…

А дома ее поджидал незваный гость — Пахом Пахомович. С цветами, дорогими оранжерейными розами.

Все-таки обманула утреннее солнце.

— Наталья Павловна, здравствуйте! А я случайно в ваших краях оказался, — принялся врать Технорук. — Дай, думаю, загляну к старой знакомой…

— А цветы тоже случайно нашли?.. Или случайно вырастили?- сказала она, и вдруг почувствовала, что утреннее настроение возвращается к ней.

Технорук был неказист, скажем честно, хотя это, может быть, и невежливо по отношению к руководителю такого ранга, пусть и техническому. Пахом Пахомович был невысок, заметно кривоног. Густые мохнатые брови должны были характеризовать его, как человека основательного, но почему-то не характеризовали. А волосы, обильно растущие из ноздрей, напоминали, что человек, а Технорук — точно, произошел от обезьяны, причем не так давно.

Но вот он, смущаясь, протянул букет, и ей стало приятно.

— Проходите, Пахом Пахомович, сейчас чай будем пить, — как бы против воли Натахи выговаривали ее губы. — У меня чай индийский есть, со слониками… Помните, раньше такой был?..

— Люблю индийский, — сказал Пахом Пахомович, хотя он любил водку и Генерального Куратора Полигона Демьяна Третьего, Живущего для Народа.

Технорук по-хозяйски зашел в квартиру: вытер башмаки, повесил на «плечики» шинель, нырнул в туалет — видать, долго ждал, полез руками в раковину — чистюля! — и Натаха вздрогнула от омерзения. Хотя, казалось бы, что тут такого раздражающего, когда человек опорожняет мочевой пузырь? А почему нужно хмуриться на шинель на вешалке? На ней золотое шитье, погоны с серебряными звездами, нашивки за ранения — все солидно, все по-настоящему.

Она пересилила себя, сказала:

— Где получили ранения?

Он развел руками укоризненно:

— Отчего же на «вы»? Предлагаю на «ты»…

Она подумала, что это, в общем-то, ни к чему ее не обязывает — и кивнула:

— Давайте — давай!..

Но разговор, даже на «ты» не клеился, крутился вокруг Полигона.

— Руководство очень ценит ваши достижения по созданию гайки, — в пятый раз начинал он про болты, гайки, шайбы и шурупы. — Не за горами уже Переселение, вековечная мечта человечества!..

— Так, где вас… тебя ранило, Пахом? — повторила она свой вопрос.

Он помолчал, выбил нос, затем сказал неохотно:

— Как-то пришлось от выродков отбиваться. Тогда половина легиона нашего полегла…Дебилы — беспощадные враги.

— А я всегда думала, что дебилы — это как вампиры, страшная придумка, не более.

— Эти придумки метко стреляют… В меня попали две пули…

— Бедненький! — непроизвольно произнесла Натаха. Она любого пожалела бы так.

Но Технорук Пахом Пахомович был не «любой»

— Но мы им тоже тогда показали где раки, зимуют — ни один не ушел, — сурово продолжил он свой рассказ. — Баб их взяли живьем, а главная удача — получилось в этот раз захватить и беременных. Тогда была поставлена задача выяснить, как живые существа могут спариваться с андроидами, и даже рожать от них. Плодят выродков, и те уже нынче начинают вопить о своих правах, а что будет дальше, что?..

Пахом Пахомович перевел дух, и продолжил:

— Ну, ничего, космические ракеты по секретному плану «Ковчег» — вам его доводили, я знаю, — будут строиться только для людей высшей очистки, безупречной верности и эволюционной ярости. Ни андроиды, ни дебилы, ни люди бункеров и шахт — вся эта бунтовщицкая шваль — на них не попадут! Грядет великий очищающий Отбор!

Натаха ужаснулась и спросила:

— А где теперь захваченные вами женщины?

— Там, где положено находиться возмутителям общественного спокойствия, — ответил технорук. — Ну, а которые беременные — я знаю — согласились на проведение опытов и экспериментов. Ведь пока механизм живорождения среди машин и людей так и не выяснен нашими учеными. Так что, бунтовщики служат науке…

— Над беременными опыты? — воскликнула Натаха.

— Все делается по закону. В седьмой поправке к закону о государственных интересах прямо сказано: «Нет таких жертв, какие мы не готовы принести на алтарь Отечества!» Замечательные слова!.. Их любит повторять Наш Любимый Куратор-Император, Живущий для Народа, Ликург Шестнадцатый… Эти слова отдаются в сердце каждого из нас, разве не так?..

— Конечно, — поторопилась Натаха согласиться с ним, все-таки с Техноруком лучше не спорить.

Фишинг, молдинг, стратосфера…

Технорук для чего-то вышел на центр комнаты, прокашлялся и начал торжественно:

— Глубокоуважаемая Наталья Павловна!..

Натаха боялась захохотать, хотя было ей совсем не смешно.

А он тем временем достал из кармана бумажку, чтоб от волнения не пропустить ни слова, которые сочинил ему Народный сказитель Полигона Аристофан всего за пятнадцать мань:

— Предвижу все: вас оскорбит
Печальной тайны объясненье.
Какое горькое презренье
Ваш гордый взгляд изобразит!
Чего хочу? с какою целью
Открою душу вам свою?..

Пахому Пахомовичу трудно давался текст, даже и написанный на бумажке. Аристофан рекомендовал дома перед зеркалом прочитать стихи хотя бы пару раз, но где технорука взять время для всякой ерунды? Но все-таки он читал, запинаясь, краснея, проклиная Аристофана и только он один знал, что читает стихи второй раз в жизни. В первый раз — в четвертом классе, когда ему предложили выбрать — в угол на горох за стрельбу из резинки, или стихи выучить. Он выбрал «Я памятник воздвиг…»

Аристофан предупредил, что девушка, для которой он заказал вирши, может заметить, что это чужие стихи, пушкинские,- так надо ответить, что интонация в них вложена Аристофаном современная, а что вы хотите за 15 мань?

Пахом Пахомович не стал дожидаться вопроса, сказал, потупившись:

— Это мы Пушкина переработали… Для вас. Что скажете?

— Я должна что-то говорить?

— Ну, понравилось?

— Я Пушкина очень любила, — сказала Натаха, — но сегодня в интонации уважаемого Аристофана, Пушкин открылся неизвестной мне доселе гранью — и я поняла, что ошибалась в своей любви к нему, и мне должен быть ближе Бальмонт… Или Северянин…

— Знаю, знаю Бальмонта, — сказал Пахом Пахомович, — он на четвертой новой площадке служит начальником взвода охраны. А про этого — Северянина не слышал, он случайно не из радиолокационного батальона?

— Нет, Северянин не имеет отношения к радиолокаторам, — на глаза Натахе навернулись слезы, внезапные, злые, горячие.

Технорук добыл из кармана шинели огромный, скомканный носовой платок специального воинского покроя и бросился вытирать девушке слезы. Она оттолкнула его изо всех своих сил. Пахом Пахомович едва удержался на ногах. Закричал:

— В чем дело, Наталья?.. Павловна?

— Извините! — сама перепугалась Натаха. — Случайно получилось… Рефлекс.

Технорук решил, что он достаточно поухаживал за девушкой, во всяком случае перевыполнил рекомендации, полученные от Нины Альбертовны. Та сказала: «Возьми бутылку, разопьете поллитра «Цветов полигона» — и в койку — закреплять успех. Главное — койка… Как бы баба не брыкалась, как бы не брала на жалость, как бы не уверяла, что у нее месячные — тащи ее в койку!.. Потом она тебя еще благодарить будет, вот посмотришь!»

Пахом Пахомович пошел на нее, расставив руки, так, наверное, ловят убежавшую курицу. Или свинью. Натаха ощущала себя свиньей.

Она увернулась от него, забежала за стол, но тут же поняла, что попалась: стол был придвинут к дивану и дальше прохода не было. Тупик.

Технорук тоже понял, что дальше ей некуда бежать. Он одернул китель и неспешно двинулся к ней. Натаха оцепенела.

На полпути он остановился, прокашлялся, напомнил:

— А Нина Альбертовна говорила, что ты со всей душой…

Натаха поняла, что ей не уйти от него.

— Я жениться могу, — обнадежил он ее. — Все по закону… И кольца, и государственные значки «Примерный

семьянин», и двухдневное путешествие на родину Куратора-Императора, Живущего для Народа, Ликурга Шестнадцатого — все будет…

Она опустилась на диван, закрыла глаза и почувствовала, как рядом тяжело осел Пахом Пахомович, положил свою руку ей на плечо, стал осторожно перебирать рассыпавшиеся по ее плечам волосы. Обольститель.

Вторая его рука поползла по ее груди, добралась до соска. Она всхлипнула, но руку не сбросила. Вдруг вспомнила кассету и хрипящих, стонущих от страсти людей… А если честно, так она ее и не забывала. Великий Дисциплинарий, дай сил!..

Но где же Егорий? Почему не спасает ее? Почему не берет этого гнусного Пахома за грудки и не выкидывает его в окно?

Она услышала тяжелое сопение технорука, его руки уже вовсю хозяйничали у нее на теле: сжимали груди, гладили живот, пытались стянуть юбку.

Все свои силы собрала Натаха и рванулась из его объятий. Затрещала ткань и в руках Пахома Пахомовича осталась часть ее одежды, а сама она перелетела через диван, ударилась об этажерку с книгами, книги рухнули на нее, и она оказалась на полу под грудой «Теорий космических гаек», «Введений в гайкостроение», «Уставов сторожевой службы» и была среди них одна книжка, которую она прочитала от корки до корки — «Приди и останься» — Надежды Черновой. Совсем не к месту она вспомнила:

— Бреду по земле наугад…

«Точно — наугад, — подумала она, — все наугад…»

Технорук удивленно хмыкнул: нет, он не ожидал такого отпора. Нина Альбертовна уверяла, что Натаха, конечно, поломается для приличия, как и положено девушке, но не так, чтобы этажерки падали.

Он, герой сражений с дебилами и андроидами, само собой и не думал отступать, тем более, что одежды на Натахе осталось не так много. Он наклонился над ней, смахнул книжки и, приподняв ее, бросил девушку на диван, навалился на нее, принялся срывать остатки одежды на ней.

Натаха попыталась укусить его за руку, но он — здоровый бугай — не давал ей даже пошевелиться.

— Не брыкайся! — прохрипел он. — Себе только хуже сделаешь!..

Он просунул руку между натахиных ног и почти без усилий — так она устала — развел ее колени.

— Не надо, пожалуйста, не надо! — сумела она еще выговорить, но Пахома Пхомовича это не остановило. Наоборот. Он впился губами в натахины губы, да так, что она чуть не задохнулась.

— Помогай, помогай! — потребовал насильник. — Ну давай же, давай, не напрягайся… Еще чуть-чуть и все…

Но тут же он словно поперхнулся словами, дернулся, дернулся второй раз, но слабее, и замолк, и кто-то знакомый произнес буднично:

— Давай руку, чего разлеглась?

Она оттолкнула с себя безжизненное тело технорука и увидела Егория с бейсбольной битой в руках. Вот странное дело, в бейсбол у нас почти не играют, а биты чуть не в каждом доме, почему? Натахе подарили биту сослуживцы на ее прошлогодний день рождения, удружили. А что, угадали, кажется, с подарком. Точно в точку попали.

— Прикройся! — кинул Егорий ей первое попавшее покрывало. — Посторонние в доме…

И только тут она разглядела чернобрового высокорослого красавца, усердно старавшегося не смотреть на нее, голую.

— Здравствуйте! — только и сказала она, закутываясь в покрывало. — Вы как здесь оказались?

— Что тут происходит? — ответил Егорий вопросом на вопрос.

— Это наша капо замуж меня выдает, — принялась объяснять она, — да, видать, сегодня не получилось у нее… Вовремя вы появились…

— Но, думаю я, не менее важно для всех нас вовремя отсюда смыться, — заметил чернобровый. — Кстати, меня зовут Артуром…

— Ах, да! — спохватилась Натаха. — Очень приятно…

— С этим что будем делать? — Егорий показал на технорука. — Он скоро может очухаться…

— Если ты не отправил его в мир иной, — сказал Артур. — Навернул ты ему по башке знатно.

Пахом Пахомович застонал на полу, завозился, приходя в себя.

— Так! — продолжил Артур. — Убить технорука или поднять на него руку — это трактуется в Дисциплинарии одинаково — нападение на должностное лицо, и за это полагается бочка с помоями… А, значит, нам всем нужно в бега, в подполье, в шахты и бункера… У меня есть кое-какие ключи… Главное — не медлить.

— А несостоявшегося мужа нужно связать, его еще целые сутки не хватятся, — предложила несостоявшаяся жена. — И его пропуск нам может очень пригодиться…

Через полчаса они уже пробирались через бетонные завалы пятой стартовой позиции, взорвавшейся еще полвека назад оттого, что в нее попала невиданная доселе фиолетовая молния.

— Да, — сказала Натаха, — еще полчаса назад я была уважаемым конструктором на Полигоне, невестой самого технорука, а теперь я беглянка, государственная преступница, и за мной с минуты на минуту начнется беспощадная погоня, — удивилась своему быстрому превращению Натаха, но почему-то без особого огорчения.

— А я был лучшим станочником, получившим двухдневный заслуженный трудовой отпуск с правом посещения знатной землячки, работающей на Полигоне… Теперь за мою жизнь никто не даст больше бракованной гайки, — откликнулся Егорий.

— А я всегда не в ладах с Дисциплинарием… Да я, собственно, не замлянин, — сказал Артур.

— Неужели инопланетянин! — взмахнула руками Натаха, но больше для порядка: ей ли не знать, что никаких инопланетян пока не обнаружено, что во вселенной пустота, газовые туманности, взрывающиеся звезды. Одиночество и тоска наполняют вселенную.

— Да, нет, — ответил Артур, — я родился и вырос на Майне — так наш народ называет подземную столицу… С Егорием мы познакомились совсем неподалеку от подземного хода в Майну…Там и сдружились, но он никогда не спускался в Майну. Да, не каждый решится на такое.

— Я слышала о Майне, — сказала Натаха. — Но ведь это легенда, происки дебилов, андроидов, повстанцев? Разве не так? Считается, что свое первое большое поселение все эти дети генетических отбросов основали в районе десятых шахт, но туда много раз снаряжались военные экспедиции, не раз сбрасывались атомные фугасы, шахты заливались токсичной водой — ничего живого там не может существовать…А какие там полыхают молнии — фиолетовые, от них остаются километровые воронки…

— И тем не менее я там родился, провел детство, играя с пятнистыми, как змеи, бабочками, — сказал Артур, — и скажу вам больше: мы сейчас отправимся туда, поскольку через пару часов все дороги, все выходы и входы будут перекрыты. Только там мы можем попытаться скрыться от всемирного сыска. Думаю, что по нашему следу уже брошены боевые фиолетовые крысы, беспилотники, самонаводящиеся проклятья и капканы возмездия.

И преступники прибавили шагу, снова и снова переживая случившееся с ними сегодня.

Гриф, набоб, дантист…

Глава девятая: Утро императора

Он сам просыпался задолго до того, как в дверь робко поскребется Лидия Вторая, Живущая для Народа, Почетная подавальщица. Вот и нынче еще до прихода Живущей для Народа, он потянулся, пробормотал невнятно «Блажен, кто смолоду был молод», строчку ставшую для него поговоркой. Он уже давно забыл, какой смысл он вкладывал первоначально в эти слова, произносил их по инерции.

Лидия Вторая много лет исполняла и обязанности Почетной постельщицы. И одевальщицы тоже.

По утрам она дарила Ликургу быстрые ласки, которые он назвал «предкофейными», а потом также быстро одевала его, помогала умыться, выбелить лицо, что делало его похожим на мраморную статую. Она же пудрила парик, отдавала распоряжения на кухню: королевские креветки, круасаны, турецкий кофе, фрукты — хурма, грузинские мандарины, виноград. Из кухни отвечали: заказ принят, выполняется. И приносили тушеную фасоль, селедку (селедки было много, еще с времен до Дисциплинария), желудовый кофе производства Концерна Горюче-Смазочных Материалов, моченый терн и вареную кукурузу.

Даже такое изобилие на столе давалось нелегко: проклятые дебилы контролировали все больше транспортных артерий; армия, легионеры, отряды служб охраны едва-едва справлялись с налетами повстанцев.

Ну, ничего, скоро все это кончится. Секретные изыскания дали ошеломляющий результат: Солнце может взорваться в ближайшие три года. Или раньше.

Лопнет звезда, как воздушный шарик, и термоядерный вихрь слизнет все с Земли, слизнет и саму Замлю. К тому времени Избранные на Ковчегах Надежды будут далеко отсюда, на новых планетах, на новых берегах. Катаклизм уничтожит заразу вольнодумия, не станет ни дебилов (дегенератов), ни андроидов, ни примкнувшей к ним жалкой горстки предателей-людей. Исчезнет нечисть…

Вчера вечером Министр Возмездия, Живущий для Народа, Геракл Третий доложил, что с Полигона сбежала Конструктор Высокого класса, разработчица гайки повышенной прочности и точности.

— Эка невидаль! — беспечно сказал император. — Одной дурехой больше, одной меньше — какая разница?

— Ваше Человеколюбие! — возразил Министр. — Она сбежала с опытным образцом гайки повышенной прочности. В этой гайке — ключ к строительству Ковчегов Надежды… Мы даже представить себе не можем, какими последствиями чреват этот побег!..

— Найти! — отдал приказ Ликург. Он любил короткие и четкие команды, чего развозить? Мир прост и четок, он и требует таких же решений. Он вспомнил далекую-далекую юность, прошедшую в прошлом веке, когда он был тайным ликивидатором, и никогда не расставался с винтовкой Мосина. Уже тогда проблемы решались в одну секунду — время зависело от скорости полета пули…

— Меры принимаются, Ваше Человеколюбие! — вытянулся министр. — Куратора полигона Демьяна Третьего накажем так, что он надолго запомнит! Уже отозвали представление на эту конструкторшу; подумать только, — хотели дать ей «Пользу Отчизне»… Симпатичная девка, кто же знал, что она вражиной обернется?

— Это не меры! — грянул Ликург. — Даже не полумеры! Ну, не получит девка значок, так он ей на фиг и не нужен. Главное — верните гайку! Сроку вам три дня. А девку — в солдатский бордель…

Он еще возвысил голос:

— У вас очередная операция на какое число назначена?

— Завтра утром первая волна бомбардировщиков пойдет, Ваше Человеколюбие! — доложил министр. Будут сброшены свекольные бомбы и чесночные фугасы…

— Не утром, а сегодня ночью! — отдал приказ Ликург. — К боеприпасам добавить три тысячи заряженных капканов… самого радикального размера…

— На слонов есть, на велоцирапторов…

— Детали — на ваше усмотрение…

«Старый козел, — подумал про Императора министр, — опять ночью поднимать бомбардировщики, опять будут жертвы среди личного состава. В прошлую ночную бомбежку мимо аэродромов промахнулись тридцать самолетов, а еще тридцать были сожжены фиолетовыми молниями…»

Министр не знал, что почти уже год у трона императора установлен мыслеуловитель, захваченный у повстанцев, и «старому козлу» известен его образ мыслей.

Если бы министр узнал о существовании аппарата, он наверняка бы застрелился на радость завистникам и сво-

ему заместителю — Александру Четвертому, Думающему о Народе.

Но Ликург позаботился, чтобы царедворцы никогда не узнали о существовании мыслеуловителя. Приятно было иногда ошарашить какого-нибудь генерала или адмирала, или даже Депутата Высокого Дивана, а время от времени и Премьер-министра, Живущего для Народа. Вызвать его, скомандовать «замри и внимай!» и сказать негромко, весомо, проникновенно:

— Несмотря на то, что ты думаешь о своем Императоре, как о жабе в манишке, решено тебя наградить. Тебе вручается бриллиантовая (на самом деле — из плексигласа) звезда «Безупречная служба» четвертой степени с крупной денежной премией. В действительности денег в казне не было и вместо денег предлагали на выбор мешок моркови или собрание сочинений Ликурга. Все брали Ликурга.

Чуть не каждый, услышав от Императора, что тому известны тайные его мысли, падал в обморок, а, очнувшись, полз к трону, скуля «оклеветали, не так поняли». Потом за страх они служили ревностнее, чем за совесть.

Но все равно никому верить нельзя.

Ляпис-Лазурь, магараджа, люфт...

Сегодняшний день был особым. В этот день из типографии должны доставить новую книгу Императора. Придворные утверждали, что книга станет новым словом в литературе, философии, обществоведении. По сути дела сегодня его день, ведь именно в этот день произошло то, что должно было произойти… Придворные, посвященные в некоторые секреты его жизни, думали, что это день, когда он родился, а он родился совсем в другой день. Но никто этого не знал, а он никогда не говорил.

Еще в далеком прошлом он мечтал о торжественных днях, праздниках жизни — с шампанским, речами, рукопожатиями. Эти праздники не для того, чтобы потешить самолюбие, а для того, чтобы понять себя, чтобы выверить себя; в его юности никто и предположить не мог, что у него есть

такая фантазия, а она была. В молодости ему пришлось и по подвалам ночевать, и на чердаках, и в люках теплотрасс, не расставаясь с винтовкой Мосина. И холодно, и неуютно было ему, и голодно, но он знал, что мечта сбудется. Откуда он это знал — ему самому было неведомо…

А когда сложилось, совпало, вылетели на зеленое сукно три шестерки, когда верой и правдой послужила верная винтовка, то он даже и раздумывать не стал — день, когда винтовка выстрелила, будет его праздником. Известным только ему. Тайным. Но самые близкие знали. Но не все.

Обычно он дожидался Лидии Второй, Живущей для Народа, в постели, но сегодня поднялся и погрузив ступни в пушистые шлепанцы, заскользил по паркету к большому зеленому ящику, стоящему сразу за изголовьем походной кровати. Он давно уже приказал выбросить из спальни огромную императорскую кровать с балдахином, полусотней подушек, на которой хорошо спать не одному. Он спал один.

Зеленый ящик неизменно привлекал взоры приближенных, он явно диссонировал со всей остальной мебелью: тяжелыми креслами, оббитыми мягкой узорчатой кожей гигантского марсианского червя, необъятным письменным столом, вырезанным из цельного ствола венерианской секвойи, гигантскими книжными шкафами, верхние полки которых терялись в неоглядной вышине императорской спальни. Среди позолоты, сверкающих камней, драгоценного дерева зеленый ящик казался ящиком для снарядов. А ведь некогда он и был сделан из двух ящиков из-под 125-миллиметровых снарядов.

Как-то министр огородничества и народных промыслов Публий Изначальный набрался смелости и спросил:

— Ваше Человеколюбие, удовлетворите наше любопытство, скажите, что находится в этом ящике, если это не государственная тайна?

— Вот именно — тайна, — без гнева ответил Ликург, но вечером Публий, не выдержав ожидания ареста, принял яд, его едва-едва спасли, теперь он служит на космической станции, обращающейся вокруг Плутона. Побол-

тать Публию теперь не с кем; кроме него в экипаж входят три андроида самой первой модели — безголосые, лишенные слуха, неповоротливые. Зато хорошо играют в покер.

Ликург как-то пошутил:

— Что-то Публия не видно… и не слышно… Где он? Уж не к Плутону ли подался?

Придворные расхохотались.

— Очередной том ваших афоризмов выходит из печати в пятницу, — сказал вчера Шеф и Организатор Пропаганды, Иоанн Изначальный, Живущий для Народа, — а к субботе выйдет очередной том философских размышлений Вашего Человеколюбия — «Мудризмы»…

«Конечно, вся эта мудристика дерьмо, — подумал Ликург, — но, наверное, есть правда и в словах Шефа и Организатора Пропаганды Ивашки, который настаивает: народу нужны философские откровения… чем нелепее, тем нужнее. Изгаляясь над мудризмами, народ как бы поднимается над ними, обретая, если не величие, то по крайней мере чувство достоинства. Народом, воспитавшим в себе чувство достоинства на критике нелепостей, управлять легче.

Император погладил шершавое крашеное дерево зеленого ящика, снял со шнурка ключ, который всегда, как ладанка, был у него на груди, открыл ящик. Тускло сверкнула в полумраке спальни заветная винтовка.

Он взял в руки славное оружие: в скольких переделках оно побывало — и в боях, и в засадах, но ни разу не подвела русская сталь. Он достал из ящика масленку, ветошь: вот удивились бы подданные, увидев его за собственноручной чисткой винтовки. А он любил протирать ветошью вековой металл, словно лаская оружие, как будто говоря: нет, я не забыл, кому я всем обязан. Я помню, как в одно мгновенье винтовка сделала больше, чем все учителя, чем все наставники, друзья, родичи.

Он долго не выпускал винтовку из рук, сталь приятно холодила ладонь. Такими, наверное, бывают девушки зимой. Он передернул затвор, новенький желтый патрон покатился под ноги. Он удивился: кажется, в патроннике

должно быть пусто, впрочем, прежде он держал оружие заряженным, мало ли чего? Он закатил патрон под кровать, его время, может быть, настанет уже скоро.

Он нехотя расстался с винтовкой, запер ее в ящик. Щелкнул замок. Начинался день Императора.

На столике перед походной койкой коротко звякнул звонок. Это Лидия Вторая, Живущая для Народа, Почетная подавальщица. Засветился экран над дверью, показывая Ликургу, что это, действительно она — не выродки, не повстанцы ворвались в его приемную, а минута в минуту — нежная Лидия.

Электронным пультом он разблокировал систему замков и запоров, и Лидия вошла. Склонилась: «Долгих лет Вашему Человеколюбию!». Он заметил, что спина ее уже не так гибка, как прежде. Это же он наблюдал у многих придворных. «Возраст», — говорил сам себе, и не верил. А думал: «Перестали бояться, все идет в тартарары, им лишь бы места в Ковчегах Надежды получить…» И еще думал: «Ну, погодите, хитрецы, погодите сладкоголосые предатели!.. Я вам приготовил сюрприз.» Сюрприз был простой: как только будет приготовлено достаточное количество гаек повышенной точности и прочности, начнется сборка Ковчегов Надежды; так вот, больше половины кораблей будут бутафорскими, им не суждено будет вывезти своих пассажиров от гибнущего Солнца. До девяноста процентов чиновников сгорят вместе с Землей. Напрасно они нынче радуются, раздуваются от гордости, что получили заветные места в тайне от всего народа, а нередко и в тайне от своих семей. Они никуда не полетят!

Лидия Вторая неслышными шагами подошла к нему, спросив взглядом разрешение, обняла его, принялась развязывать тесьмы ночной рубашки, как бы невзначай касаясь его тела. Обычно он закипал еще до того, как она раздевала его, но сегодня он отстранился — непонятное раздражение нарастало в нем. В последнее время этот беспричинный, казалось бы, гнев захватывал его все чаще и чаще.

И причины, конечно, были, и о них знали все. Приближался конец старой Империи, можно сказать — девятым валом накатывался крах. Нужно успеть унести ноги с этой веселой планетки. Нужно успеть…

— У тебя сегодня руки холодные, — сказал он Лидии Второй, — ступай…

Она медлила. Наконец, решилась:

— Ваше Человеколюбие, поздравляю вас с Днем Ликруга. Долгих лет вам!..

— Спасибо, — ответил он, — спасибо, Лида…

Она не сумела скрыть удивления, когда в последний раз он так ее называл?

Кювет, планшет, па-де-де…

Она помогла ему надеть парадный мундир, поправила орденские планки. Орден он носил только один, изготовленный в единственном экземпляре: «Спаситель Мира». Огромная звезда была вырезана из цельного алмаза, найденного в Якутии лет десять назад. Весу в нем было без малого девять тысяч карат. Он запомнил это потому, что подписал помилование преступнику, работавшему в копях и нашедшему огромный камень: заключенному повстанцу тогда скостили срок на десять лет, так что, ему осталось всего сорок лет. Но докладывали, что помилование не пошло бандиту и террористу на пользу, он отдал Богу душу на другой же год. В копях вообще больше двух — трех лет не выдерживают.

Наконец, грянули литавры. Распахнулись бронированные двери и он, не спеша вышел в зал для приемов (обязательно, не спеша, подлинное величие неторопливо, надо подчеркнуть, что именно он и управляет временем).

Зал был полон. Обычный утренний прием. Слепило глаза офицерское шитье, генеральские эполеты были похожи на золотые крылья, реющие над полями выигранных сражений, голые плечи дам, несмотря на ранний час, напоминали о грядущем вечере, о жаркой ночи, министры

были торжественны и глубокомысленны, депутаты Высокого Дивана предводительствуемые Маджонгом Супрематовичем выглядели заступниками народными, каковыми они и являлись на самом деле. Придворные музыканты держали в руках нотные тетради с написанными в его честь за эту ночь маршами, ораториями и даже одной героической симфонией. Художники-скорописцы расставили в зале сотни мольбертов, и едва Император показался в дверях, как они схватили кисти, карандаши и принялись за работу. Скульпторы взялись за резцы, молотки, в зале на минуту даже повисла белесая дымка, как в каменоломнях, но тотчас же охрана взашей выгнала скульпторов в соседний зал, и они вынуждены были довольствоваться его изображением на экране телевизора. Трещали затворы сотен фотоаппаратов, работали видеокамеры всей планеты.

Ликург с непонятной грустью отметил: а ведь с каждым днем эта толпа становится меньше. Нет, пожалуй, не меньше, все такая же, но клубится она теперь не как высокое белоснежное облако, а как грозовая туча. Но, может быть, ему это только кажется?

Он в деталях помнил первый год своего императорства, тогда восторженные толпы журналистов буквально осаждали его. О нем снимались фильмы, писались умнейшие научные статьи…

Сейчас фильмов и статей не стало меньше, но они словно потускнели. Он знает, что их организует Ивашка-Пропагандист… Ну, ничего…

Он улыбнулся и тут же к нему бросился Маджонг Супрематович. Расшаркавшись, он достал откуда-то из-за спины свиток.

— Ваше Человеколюбие! — начал он. — К нынешнему славному дню готовилось все прогрессивное человечество…

— А ты откуда знаешь? — спросил Император. — Об этом могу знать только я…

— Земля слухом полнится… — загадочно начал Маджонг.

«Ну, это на час, — подумал Ликург, — не меньше… В прошлом году Маджонг врал почти два часа… А потом примется поздравлять сошка помельче — еще часа на три. Может, заквасить их всех в одной большущей бочке с капустой?.. Так, и без этого голод на планете свирепствует… С другой стороны число едоков сократится, притом намного.

Он уже готов был крикнуть стражу, но, наверное, этот прохиндей Маджонг понял, что сейчас может лишиться головы, и в голосе его явно зазвучали рыдание, восторг и поклонение одновременно. Ликург не мог понять, как можно в скучной торжественной речи объединить все это. Должно быть, нужен для этого огромный талант, талант диковинный, такой с молоком матери не всосешь; он воспитывается только в том, кто сто раз пересекал паркетное пространство в любую бурю — и остался жив. Многие пошли на дно, для других последним пристанищем стала бочка с маринадом, а он оставался на плаву, даже и укреплялся.

— Поздравляем вас от всей души, ликуем, желаем… — пел, рыдал, захлебывался от восторга Маджонг. Презираемый многими, даже и Императором, но живой Маджонг.

— Благодаря вашему неслыханному человеколюбию мы стоим на пороге новой жизни. Вы побеждаете своих презренных врагов, но теперь готовы одолеть само время. Вы даете человечеству шанс родиться заново…

«Что он несет, ведь это страшная государственная тайна, — подумал Ликург, — все-таки придется его хотя бы замуровать».

Но Маджонг почувствовал опасность и на этот раз:

— Я имею ввиду духовное возрождение, которое неизбежно под солнцем вашей мудрости. Вы — светоч…

Маджонг уложился в полтора часа.

«Года через два — три дежурная речь вполне может уместится в пятнадцать минут, — Император все-таки огорчился. Да, сегодня на всем заметен налет условности, ритуальности, когда давным-давно забыт глубинный смысл происходящего и никто не понимает, даже жрецы,

зачем произносятся молитвы, горят свечи, стоят, потупившись, весталки…

— Дисциплинарий с нами! Я им еще покажу! — произнес он совсем негромко, но его расслышал Главный капо Западных Февел, Живущий для Народа, Маркел Третий, и с ним случился обморок, а, может быть, он искусно изобразил этот обморок: скреб ногами в огромных сапожищах, обмочился, горлом пошла пена. Император недовольно поморщился, и Маркела Третьего уволокли из зала; через полчаса он прощался с женой — Ларисой, убеждал ее, что в ссылке он пробудет не больше пяти лет, и вернется. Так что, нужно его ждать.

— В Сочи не ссылают на пять лет, — говорила Лариса, — самое малое на пятнадцать… Езжай себе с миром, присылай нам мандарины…

А прием тем временем закончился.

В общем, все прошло не очень скучно. Было и чем развлечься: двух чиновников, поскользнувшихся на паркете, тут же приговорили к закатыванию в бочку с горьким перцем условно. Надо было слышать, как вопили они.

Потом он помиловал ворюгу, так было заведено — с утра казнить и миловать, ближе к обеду садиться за мемуары, которые давным-давно были написаны и нужно было только делать вид, что пишешь, исправляешь ошибки, а потом придворные расскажут о неслыханной работоспособности Императора, и к понедельнику выйдет очередной том мудризмов.

Привели нескольких преступников, и одного из них нужно было отпустить. Почему-то всегда помилованного звали Варравой.

Он велел дать отпущенному новую (искусно отреставрированную) куртку и кирзовые сапоги с портянками из тонкой фланели. Ворюга едва не задохнулся от счастья, кланялся, клялся больше не воровать. Но не сдержался. Выходя из дворца, стащил прикрученную к воротам бронзовую табличку, на которой было выгравировано, что ворота эти некогда принадлежали Тамерлану, и что тот добровольно их пожертвовал Ликургу, Живущему для наро-

да. Ворюгу тут же поймали, но тут же и отпустили: не идти ведь против воли Императора.

После приема занялись государственными делами. Император проверил наличие у государственных служащих носовых платков, оказалось, что даже на праздничный прием кое-кто умудрился явиться без платков. В их числе Бригадный Генерал, Живущий для Солдат, Иван Седьмой. Пришлось его разжаловать в рядовые.

Как всегда, вызвали ученых-ракетчиков, и они явились прямо в рабочих халатах, еще та сволочь. Едва поклонились, с праздником собравшихся не поздравили, рук из карманов не вынимали. Эх, кабы не нужны были, бросить бы их на растерзание марсианским клопам!

Ученые принялись сыпать затейливыми словечками: континуум, эффект Огурцевича, энтропия… Пришлось их поставить на место. Двоим из них, самым, с виду, молодым, предложили на выбор (а шепчутся, что демократии мало) получить розог или попытаться найти выход из подземного лабиринта. Конечно же, трусы выбрали розги.

После порки ученые стали сговорчивее, внятно объяснили, что месяца через два первые Ковчеги Надежды будут готовы к старту.

— Теперь, когда стараниями молодой исследовательницы Натальи Павловны и всего многотысячного коллектива наконец получена гайка повышенной прочности, — начал самый ученый из всех ученых Пиерквадрат Второй (его звали, конечно, по-другому, кажется, Пифагором Шестым), — ничего не мешает нам…

Ликург перебил его:

— Эта исследовательница будет поймана и понесет заслуженную кару!..

Самый ученый из ученых поперхнулся.

«Экая сволота этот хрыч-академик, — подумал Император, — притворяется будто не знает, что опытный образец гайки повышенной прочности исчез вместе с этой ученой девкой… Все они заодно. Ну, погодите!..»

Как бы услышав размышления Ликурга, академик-лауреат заверил его:

— Все чертежи гайки сохранены, уже завтра начинается ее массовое производство…

Завершился день тоже неплохо. Он вызвал начальника охраны Димона Восемнадцатого, Живущего для Народа, и спросил у него:

— Что это?

И указал на винтовочный патрон, валявшийся под императорской кроватью.

Димон окаменел. Он никогда не забывал, почему он Восемнадцатый. Начальники охраны почему-то долго не держались — полгода, год, а потом пропадали. Слушок шел, что они выдвигались на самые высокие должности в провинции.

— Ты можешь объяснить, как попал в мою спальню боевой патрон? — спросил

негромко Император.

— Мы проведем самое тщательное расследование в кратчайшие сроки, о результатах доложим… — голос Димона дрожал.

— Отвечаешь лично! — напомнил ему Ликург.

Димон щелкнул каблуками и вышел из спальни императора. Этот обязательно найдет виноватых, много виноватых. Умен, хитер, беспринципен — такие хороши в службе, но долго на них рассчитывать нельзя — продадут любого. С ними ходишь, как по лезвию ножа и каждый день решаешь: не пришла ли уже пора ротации? Не пора ли высаживать из лодки вот этого, того, и еще дюжину-другую соратников? Иначе, не успеешь оглянуться, как тебя самого высадят, и бойко поплывут дальше без тебя, и даже не оглянутся. Что ж, пора привыкнуть, что в этом мире нет мира.

Ликург подошел к стеллажам — переплеты из кожи, переплеты из коленкора, совсем без переплетов; миллионы книг, как скалы, высились в библиотеке. Кто и когда собрал такое чудовищное количество книг не знает никто, старые ученые поговаривали, что Александрийская библиотека не сгорела, не пропала, не растащена на самокрутки, а только пропала с глаз и все эти тысячи лет пополнялась… Ученые кричали, что библиотека эта живая, и

убить ее нельзя. Ликург как-то вытащил одну старинную книженцию — средневековую — и кинул ее в камин, так книженция сгорела, как порох. Нельзя верить ученым, да и кому интересно откуда взялась эта изба-читальня?

Он нажал на кнопку, вызвал подъемную корзину и на ней поднялся на второй уровень — к периодике всех времен и народов. Он давно уже ничего не читал, тем более периодику. Он был сам автором всей периодики, новостей, творцом истории. Здесь на втором уровне, на высоте двадцати километров в бесконечном лабиринте стеллажей своей библиотеки, он привык размышлять. О себе, об империи, о себе…

Он забирался в такие библиотечные дебри, что однажды заплутался, и двое суток не мог найти проход к подъемной корзине. Наткнулся на два скелета, закованных в цепи. Вокруг скелетов лежали пачки бумаги, покрытые какими-то записями. Он решил, что это были летописцы Кастор и Поллукс, прославлявшие прежнего Императора, но тот часто забывал кормить их, а в один прекрасный день и совсем забыл про них. Не до того стало… Ликург заглянул в один листок: «… его Человеколюбие возглавил штурм крепости и со шпагой в руках первым ворвался на стены башни. Враги стали тысячами сдаваться». Никаких крепостей Октавиан Второй не брал. Поделом же летописцам.

Ночью, выбившись из сил, Ликург подкладывал под голову подшивки журналов «Современник», «Северные цветы» и тревожно спал, и ему снились третий и четвертый уровни библиотеки, а говорили, что их девять; на восьмом и девятом — книги графоманов. Именно там, стеная от тяжести кандалов, пишет сейчас новую историю Октавиан. Кормят ли его? Ликург в ужасе просыпался, и ему начинало казаться, что он никогда не выберется отсюда и сам станет книгой в кожаном переплете и навсегда пропадет в этих книжных горах. Он и на самом деле пропал бы в этом гигантском книжном паноптикуме, но представил себе какая грызня начнется, что и Солнцу взрываться не нужно — голыми руками друг друга передушат. Все всех…

Он ужаснулся и тут же нашелся нужный проход, он и был-то в двух шагах.

Только ли для размышлений забирался он сюда? Да и о чем всерьез можно думать? Не о чем. И тогда он понял, что прячется в этих пыльных лабиринтах. От всех. Как в детстве он прятался от грозы, натянув на голову лоскутное одеяло.

Вот так, всю жизнь его оберегали то ватное, то бумажное убежища.

Картон, регистр, трон…

Глава десятая: День, когда винтовка выстрелила

Димон немедля взялся за работу. В ход пошли подкупы, пытки, глубокая слежка, эвристические допросы, облавы. Были арестованы семьсот сорок тысяч подозреваемых, большинство из них признались. Во всем. Пришлось даже, добывая истину, сделать научный анализ всей современной литературы. Аналитики пришли к странному выводу: литературы давно уже нет. Глядя на миллионы книг, он не поверил аналитикам, спросил у самого главного компьютера: есть ли на свете литература? Компьютер ответил совсем непонятно: на свете только литература и есть

Для проведения расследования Димоном были привлечены тринадцать тысяч сыщиков, все потомки Шерлока Холмса: правнуки, внучатые племянники, один даже назвался отцом чудака с Бейкер-стрит, взаправду старый, немощный, но очень сварливый.

Он, кстати, определил возраст винтовочного патрона, попробовав свинцовую головку на зуб. Его зубу можно было доверять, он у папы Шерлока Холмса был последним, трепетно помнящим юные ощущения, первые кариесы, борьбу с парадантозами.

— Патрону — сто шестнадцать лет, — сказал папа, — а он, как огурец с грядки — свежий, крепкий. За ним хорошо ухаживали, не жалели ветоши, масла. Он хорош был для винтовки Мосина, бил кучно, без осечек.

— Один из племянников добавил:

— Сейчас такого оружия нет. Все эти автоматы и пулеметы, трясущиеся у вас в руках, бьющие куда угодно, только не в цель, не дают стрелку ощущения боя, с пулеметом, пушкой ты не воюешь, а работаешь на войне. За всю войну ты можешь ни разу не увидеть врага, не заглянуть в его яростные бирючьи глаза… Впрочем, откуда они у него, у противника, бирючьи глаза? Скорее всего, сонные, и в них мольба о стопке доброго пшеничного спирта, поднимающего боевой дух…

В общем, информация пошла к Димону косяком — устная, письменная, записанная на современных носителях. Буквально за неделю были заполнены все тюрьмы, даже лунные и марсианские.

Быстро удалось выяснить, что винтовочный патрон принадлежал некогда загадочной личности, которого звали Фиолетовый. А, может быть, это была такая кличка?

Идя по следу Фиолетового, Димон на одном из темных чердаков нашел кучу истлевшей ветоши, сборник гималайских сказок и еще одну книжку, в которой написано что-то про вторник (или называлась она «Вторник» — не разберешь) —какие-то каракули на ломкой от времени бумаге: «…Фиолетовый жил в западном углу давно погашенной, по причине центрального отопления, кочегарки. Он вообще с детства любил все западное — хот-доги, гамбургеры, колу, только винтовки предпочитал отечественные, проверенные в славных сражениях…»

Димон не стал читать эту растрепанную книжицу, что толку от всех этих книг? Он давно уже приметил, что если заведется где книжка, а уж если пара — другая, то жди неприятностей. Люди через книжки портятся, все им становится не так, и все им перестает нравиться, и революционная ситуация сразу тащит их на площадь орать речи, крушить памятники, которые не докрушили в прошлый паз,

бить витрины и тащить по домам табуретки, холодильники и пыльные ковры.

И еще Димон нашел тетрадку, распухшую от влаги, полную размытых чернильных строчек, но кое-что в ней можно было прочитать. И он прочитал: «…четыре речки было в нашем городе — Чаган, Деркул, Ревунок, ну а четвертую все знают. А девочка, которая мне нравилась, нет не нравилась — я не мог даже на минуту оторвать от нее взгляд, когда ее видел — жила в старинном доме, тоже всем известном, и ее окно на втором этаже (или третьем? Кажется, все-таки на третьем) выходило в сад, где нелегко было продраться сквозь заросли акаций и сирени. Я продирался и слушал, как она играет на пианино. Иногда я даже подтягивался на ветке акации, чтобы рассмотреть ее, и мне видна была ее чуть склоненная голова, кактус стоявший на подоконнике, похожий на уменьшенного велоцираптора, клетка с унылым кенаром, желтым, как октябрь.

Она играла такую грустную музыку, что я висел на ветке акации, а по щекам катились слезы. Наверное, это было смешно.

Вообще в те годы я был очень смешон: лопоух, неуклюж, стеснителен, в драке мне первому расквашивали нос. Да к тому же я не умел плавать. Кое-как барахтался, но разве это мое плаванье можно было сравнить с кролем, брассом и даже баттерфляем моих друзей?

Однажды она позвала меня купаться на Чаган. Не предупредила… Я влез бы в тесные плавки, которые мать переделала из солдатских трусов, и тогда со мной вполне можно идти на пляж. Но она не предупредила, и на мне были пузырящиеся, длиной ниже колен трусы. Нечего говорить, что я опозорился. Ветел в воду, едва пришли на Чаган, поплыл натужно на противоположный берег, а когда оказался на другой стороне, то понял — что бы сейчас со мной не сделали, что бы обо мне не сказали, как бы надо мной не смеялись — я назад поплыть не смогу, не осилю. Она кричала, махала мне рукой, звала вернуться, но я знал, что если мне суждено было утонуть, то это мо-

жет случиться именно в т от день. И я ушел, за часа полтора добрался до моста, перешел на ту сторону и поплелся туда, где осталась девочка. Она, конечно же, давным-давно ушла. Я бросился к ее окну над акациями, но она даже разговаривать со мной не стала…

А через несколько дней я узнал, что она куда-то уехала — не то в Уфу, не то в Атбасар… Кажется все-таки в Уфу, и стала уфалейкой…

Встретились с ней мы только спустя много лет, когда воздух другой стал, когда старая жизнь пропала, как будто и не было ее никогда, когда все распадалось и рушилось.

К тому времени я научился плавать — и кролем, и брассом, и это умение не раз и не два потом спасало мне жизнь. И еще я научился стрелять. Из автомата, пистолета, пулемета — точно, без промахов, я сказал бы — артистически. На мишени выстрелами я мог начертать лозунг повстанцев, которые к тому времени завелись в старых ракетных шахтах, подземельях, лесах и горах, — да, где только они не завелись, и я по молодости и недомыслию увлекся их идеями: «Все на слом, все на переделку». Но лучше всего мне удавалась стрельба из полюбившейся винтовки Мосина.

Однажды поздно вечером ко мне в дверь постучались. Почему-то заволновавшись, я спросил:

— Кто там?

— Откройте. К вам пришел тот, кто вам нужен.

Я открыл дверь, на пороге стояли двое мужчин. Впрочем, я не сразу понял, что это мужчины, скорее тени мужчин. Пришедшие были высокого роста, но поражала их худоба. И видимая немощь. Казалось, что они стоят рядом друг с другом, чтобы поддерживать друг друга, иначе они оба повалятся на пыльный ковер под ногами. Лица их оттеняли капюшоны длинных — по самые пятки — грубых брезентовых плащей. Они показались мне близнецами — и рост, и телосложение, и тембр голоса, и походка у них были как две капли воды, и только спустя годы я понял, что нет двух других, столь непохожих друг на друга, людей.

Я пустил их, тогда еще я жил в доме, с диваном, телевизором, керогазом и рыжим котом Васей. Вася сидел на диване и зашипел на вошедших, как удав. Люди в плащах, однако, не испугались его змеиного шипения, но скорее они просто продемонстрировали свою отвагу мне.

Они откинули назад капюшоны, оказалось, что один был блондином, другой брюнетом, один хмурился, другой чуть заметно улыбался, на поясе у каждого из них висели стилет в ножнах и огромный пистолет. Так и хотелось пальнуть куда-нибудь, хоть в потолок, из такого здоровенного нагана.

Блондин заметил мой взгляд и сказал:

— И у вас будет такой… И даже пулемет будет. Оружия у нас хватает.

— Вот обращаться с ним мы не умеем так виртуозно, как вы, — сказал брюнет.

— Откуда вы знаете?.. — встревожился я. — Откуда?

— Земля слухом полнится, — сказали они оба одновременно, как будто отрепетировали этот разговор заранее.

— Подлинное мастерство, тем более в таком деле, как ваше, дорого ценится, — продолжил блондин.

— Я не принимаю заказы, — постарался я опередить их, но они пришли не заказ размещать.

— Мы сядем? — не то спросил, не то приказал блондин, и я понял, что из них двоих он главный.

Я пододвинул к ним табуреты, они с видимым трудом (борьба с врагами их очень утомляя) опустились на сиденья, угрюмо засопели, хотя при этом продолжали — один хмуриться, другой улыбаться.

— Какая у вас ко мне нужда? — спросил я.

— Для начала предлагаю познакомиться, — предложил блондин. — Меня зовут Кастор.

— А меня Поллукс, — сказал брюнет. И добавил:

— Ну, а твое имя — мы знаем…

Кастор и Поллукс! Кто о них не слышал? Это были легендарные и неуловимые вожди подполья, отважные командиры повстанческих отрядов. Говорят, что император

Октавиан Второй, Живущий для Народа трясся от страха при одном только упоминании их имен. Это за их головы были назначены астрономические суммы, их портреты были развешены даже в детских садах, газеты и телевидение ежедневно приводило леденящие кровь подробности их неслыханных злодеяний: подложили бомбу под мукомольный завод и теперь перебои с хлебом, а жители прилегающих к заводу кварталов с ног до головы усыпаны мукой; подвели мину и под ликеро-водочное производство, и хотя перебои с водкой не наблюдаются, пришлось крепость ее уменьшить — до 16 градусов; сделали подкоп под Главным Государственным банком, деньги, конечно не взяли, эти деньги даже налетчики не берут, а развесили в операционном зале свои революционные плакаты и призывы, расстреляли портреты Императора и тогдашнего министра пропаганды — Мебиуса.

На плакатах близнецы изображались бородатыми мужчинами огромного роста — в спортивных тренировочных костюмах (ведут здоровый образ жизни, не то, что Октавиан Второй, обжирающийся салом и буженины), в руках у одного была ветка цветущей сирени, у другого — теннисная ракетка. Их окружали счастливые детишки, покинувшие бункеры и подземные лабиринты.

И вот эти легендарные подпольщики, эти чудо-богатыри у меня в квартире. И мне ничего не стоит сдать их местным капо, или вызвать полицию, или тайную службу. И сразу стать миллионером! Получить квартиру! Автомобиль! Путевку в Сочи. Талон на пожизненное снабжение докторской колбасой! Высочайшее звание «Живущий для народа»! Орден «Верный сын Отчизны»!..

Соблазн велик.

— Слушаю вас, — сказал я Кастору и Поллуксу.

Кастор откашлялся, как перед произнесением большой речи, произнес:

— Свобода! — и умолк. Видимо, волновался.

Откашлялся Поллукс, сказал:

— Свобода! — и замолчал. Но столько в их глазах пронеслось всего — и постылое рабство народов, и душегубка

цензуры, и обжорство знати, и удручающий голод масс, и жестокое подавление инакомыслия, и несбыточные надежды на лучшее будущее, — что больше не потребовалось слов.

— Я с вами, герои! — сказал я.

Но соблазн получить орден и вдоволь колбасы остался, на время куда-то закатился в памяти»...

Дальше в тетради шли страницы, размытые водой. Понятны были только слова: «…водяра», «закусон», «вобла»… Димон перевернул испорченные страницы, продолжил читать:

«…Меня приняли в Северное тайное общество, хотя я хотел попасть в Южное или на крайний случай Западное. Но Поллукс сказал, что закончились бланки удостоверений Южного общества и вообще в нем давно нет мест. Стрелков там и своих навалом. Пришлось податься к «северянам», но я не жалел: подальше от глаз близнецов было как-то спокойнее.

Я дал клятву служить свободе и справедливости, всегда быть верным принципам демократии. Клясться было положено перед огромным подсвечником. Сначала зажигали свечи, двенадцать свечей; 12 — считалось непростым числом, магическим, а подсвечник как бы поддерживал магию огня, и соединял разрозненные языки пламени в одну пылающую стихию.

Когда подсвечник нагревался так, что от него начинал исходить жар, положено было взять его в руку и пройти с ним по начерченному на полу кругу. Все подпольщики при этом обязаны быть в масках, клянущийся же — совершенно голым — разрешалось только набросить на себя тоненькую простынку.

Конечно же, во время проведения торжественной процедуры, я запутался ногами в простынке и рухнул на пол, горячий и тяжеленный подсвечник вылетел из рук ударился об стену и развалился на части.

— Плохая примета! Очень плохая! — стоголосо прошелестело в зале.

— Быть беде…

— Немедленно позвать Верховного жреца Северного общества!..

Верховным жрецом оказался Поллукс, все в том же грубом плаще, все также его глаза закрывал капюшон.

— Сохраняйте революционное спокойствие! — простер он к собравшимся коротенькие ручки. — Мы не суеверные барышни, мы революционеры! Тот, кто всегда выше нас, тот, кто был раньше времени и раньше звезд, дает нам знак: все прежнее на слом, все отжившее на переплавку — грядет новый мир и все будет в нем по-новому.

— Старое — на свалку! — кто-то выкрикнул в зале с истерическими интонациями.

— На слом!

— На разборку! — истерику подхватили охотно. Все дружно рвали глотки, некоторые закатывали глаза.

И вдруг раздался резкий треск. Это одна из дам рванула на себе платье, еще и еще раз… Тонкая ткань поддалась и платье упало к ее ногам; дама принялась раздирать на себе кружевное белье.

Она не осталась в одиночестве. Ее примеру последовали многие в зале, в основном женщины, но были в числе рвущих на себе одежду и молодые люди, и не только молодые.

— Старье прочь! — вопили они. — Новому миру новую одежду!..Свобода миру, свобода телу!..

Поллукс сделал мне знак следовать за ним. Мы оказались в каком-то сумрачном помещении, за массивной дубовой дверью. Он сказал негромко:

— Надеюсь, ты понял, что сейчас я спас тебе жизнь. Разорвали бы, как свою одежду, на клочки, что с них возьмешь — фанатики новой жизни. Потом бы горевали, плакали, написали бы воспоминания, сняли документальные и художественные книги — ничего нового. Толпа страшна, но без нее не обойтись — именно она вершит подчас историю. Сила ее ужасна, но недолга; всегда найдется вождь, который возбудит ее, и ее же похоронит. Нужно уметь во-

время вставать впереди толпы, и делать вид, что она идет за нами, а все остальное время лучше держаться подальше от нее…

Он протянул мне невзрачную картонку — удостоверение члена тайного общества, довольно сухо поздравил меня, наверное, было жалко разбитого мной подсвечника… Блажен, кто смолоду был молод… И чего привязалась ко мне эта строчка?.. Блажен…»

На этом месте было несколько вырванных страниц, затем опять продолжались записки:

«…первое мое задание в тайном обществе… Приехали верхами близнецы. Я впервые видел их в седлах, и так это было комично, что я не сдержался хмыкнул. Кастор обжег меня взглядом. Но я понял, что завел себе непримиримого врага только тогда, когда совершенно случайно стал свидетелем потешной сценки, когда Кастор поддерживал Поллукса, чтобы тот щелкнул включателем люстры. Если бы они знали, что я нахожусь в одной с ними комнате, они непременно заставили бы меня включать свет, но я стоял за шторой у окна, пытаясь открыть форточку. Кастор кряхтя подсадил держал Поллукса за плечи, и в полутьме их парный силуэт был похож на большого, костлявого таракана. Поллукс включил люстру и в это время я вышел из-за шторы, и конечно не сдержался:

— Когда повстанцы возьмут власть, может вам нужно, как всемирным героям, выхлопотать себе особый мясной паек? Вы специально себя изнуряете, чтобы быть похожими на чахоточных карбонариев? Нужно будет пересмотреть стандарты унитазов, приделывать к ним ручки, чтобы на соскользнуть вовнутрь… Или оборудовать унитазы спасательными кругами? Раковины и унитазы также нужно будет снабжать лестницами-стремянками…

— Придержи язычок! — прошипел Кастор. — Пользуешься тем, что у нас не хватает специалистов, никого не в грош не ставишь?..

— Еще как ставлю, в грош… Ну, ладно, ладно — пошутить нельзя?

— Смотри, не перешути. В любом деле переборщить — себе навредить, — сказал Поллукс, и в голосе его я почувствовал сильное желание живьем содрать с меня шкуру.

Что-то все меньше и меньше мне нравились вожди восстания. Соблазн рос.

Охра, падеспань, люцерна.

Как-то речь зашла о жесткости императора Октавиана Второго. Вот, дескать, он не брезгует применять изощренные пытки. Совсем недавно он за малейшую провинность отобрал у министра связи жену-красавицу и отдал ее адъютанту этого министра. А всего-то министр тот проспал пуск новейшей имперской боевой ракеты, не обеспечил связь и до сих пор не знают, куда ракета улетела, и улетела ли вообще, потому, что все боятся в шахту заглянуть — вдруг, в этот миг ракета вылетит и снесет башку?

А заведующему гаремным отделом пропаганды, Живущему ради чистоты, Мальбруку, за то, что провертел дырочку в стене одной из спален (мало ему каждый день официально глазеть на прелести гаремных див, он еще подсматривать наладился), назначено такое наказание: кастрация с отсрочкой исполнения приговора, причем время отсрочки не указано — может через год, а может завтра потащат Мальбрука коновалы в темный угол.

Ретро, портмоне, хеллоуин…

— Пора испытать тебя в деле, — сказал Кастор. — Тайное общество поручает тебе ликвидировать командующего бронетанковыми войсками Симеона Одноглазого, Живущего для народа… Вся сила режима в танках и броневиках. Да еще в авиации, космических силах. Доберемся и до этих. А пока одноглазого…

— У него ведь четверо детишек, — сказал я, вспомнив генерала, окривевшего, как говорили, во время танковых учений, когда он по недоразумению навел прицел на собственный дом, прямо на окно спальни, и ему открылось внезапно такое, что потом не смогла объяснить ни

его жена, ни тем более его денщик, которых он увидел в прицел, и тут же окривел…

— В арсенале нашей борьбы, — сурово ответил Кастор, — жалость не значится. Мы думаем не о людях — о человеке! Это ясно?

Мне было не очень ясно, но я кивнул, идеи высшей справедливости тогда бродили во мне, как прокисший кумыс.

Мне выдали маузер в деревянной кобуре и книгу Кастора и Поллукса «Свобода рождается в бою». Я осилил первые три страницы, очень мудреная была книга. Там уже в первых строчках было написано про чистую волю, анархию, философию Гегеля и марксизм Маркса и Энгельса, а также про конфуцианство Конфуция и романтическое мировоззрение Ницше, Достоевского, Иванова-Задунайского, а также просто Иванова, писателя с улицы Мостовой. Их мощным соединенным интеллектом утверждалась необходимость вести народ к счастью, а также богатству. А также к всеобщей любви. И люди легко достигнут всего этого, а еще многого другого, о чем написано на не прочитанных мною полутора тысячах страниц умной книжки, если будут слушаться Кастора и Поллукса.

Нет, что бы не говорили о легендарных вождях повстанцев, мужики они были неглупые, вот только ростом не вышли. И грамматешки им бы не помешало добавить. Кастор сумел закончить два класса школы в поселке Социализм, Поллуксу учиться не довелось — с детства захватила его борьба за народную свободу.

Так что, не образованием они брали, а природной сметкой. А грамотеев и без них в движении хватало — и старый книжный червь Бочаров, и тот же борзописец Иванов, и даже сам Борис Моисеевич Эткинд, человек энциклопедических познаний.

— Когда успешно выполнишь первое задание, — сказал Поллукс, — посажу Иванова книгу писать…

— Какую книгу? — хмуро спросил я, прикидывая, что лучше — выполнить задание вождей подполья, или сдать этих вождей в какую-нибудь тайную службу, благодать, что этими службами наводнены окрестности.

— Конечно, про тебя книгу! — радостно сказал Кастор. — Ты же станешь героем! О тебе будут слагать песни, от одного только упоминания твоего имени будут трепетать тираны!

Тогда мне показалось заманчивым стать народным героем, и для этого всего лишь надо один раз нажать на спусковой крючок любимой винтовки Мосина.

— Ладно, ладно, — согласился я. — Вот только прочитаю вашу книжку о свободе…

— Ты что, сдурел? — сказали они одновременно. — Там полторы с лишним тысячи страниц!.. Пока ты ее прочитаешь, Симеон Одноглазый деру куда-нибудь задаст. Или в маразм впадет, и не поймет самого факта возмездия. А он один из первых врагов нашего движения. Сколько он народу раздавил своими танками!..

— Ну, хорошо, — согласился я. — Завтра займусь этой проблемой…

— А сегодня нельзя? — спросили нетерпеливые вожди повстанцев.

— Завтра — и баста! — проявил я твердость.

Вечером достал из укромного места винтовку, патроны. Оружие было в идеальном состоянии.

Бывают в жизни моменты, когда чувствуешь, что надвигается нечто важное, которому суждено переделать твой мир. Не знаю, что это за чувство такое — шестое или тринадцатое, не ведаю откуда оно берется, но когда оно приходит — ты его не проспишь. Ты знаешь, что нужно делать!..

Я завернул винтовку в холстину и вышел из дома. Сентябрь стоял золотой, тихий, ясный. Хорошо в такой день идти с винтовкой по делу. Лишь бы не было осечки.

Не больше получаса понадобилось мне, чтобы дойти до дворца Октавиана Второго, Живущего для народа. Под боком у дворца стояли всякие министерства, в том числе и танковое, в котором сидел Симеон Одноглазый и думал, куда девать танки едином царстве-государстве, в единой империи? Внешних-то противников нет. Может, бросить пару дивизий на борьбу с саранчой?.. Против мелкого пруса пойдут самоходные артиллерийские установки, против крупного пожирателя полей и огородов можно применять реактивные самонаводящиеся снаряды… Но этим проблему не решишь, остаются без дела еще шестнадцать танковых армий и два отдельных корпуса — стоят, голубчики, заправленные, орудия заряжены, ждут сигнала. А тут вечный мир!.. А, может, на дворец двинуть?..

Перед чугунными воротами путь мне заступила охрана.

Спросили не грубо:

— Куда лезешь, дядя? Не видишь что ли ограду, не видишь колючую проволоку? Нас не замечаешь?

— Дай ему в рыло! — сказал кто-то.

— Дать ему в харю всегда успеем, сначала узнать надо, чего ему, дуриле, нужно, — произнес другой.

— Чего приперся? — спросил третий. А всего их было не меньше взвода. Здоровенные, видать, перловку и репу на них не жалели. — Чего хочешь?

Я загадал: если пробьюсь к Симеону — застрелю Симеона, если, паче чаянья, доведется увидеть самого Императора, то убью его. Не зря же шел. Да и затаившаяся пока демократия требует выстрела.

— Мне к Октавиану Второму, Императору, — ответил я охране. — Важное дело!..

— Ну, ты ханыга! — заржал один. — К Императору ему нужно! По важному делу! А к Господу Богу тебе не хочется.

— Полосни его очередью, и сразу на небесах окажется, — радостно предложил другой, и все захохотали.

Но все-таки они отпустили меня живым, в общем-то незлобные ребята. Я двинулся вдоль ограды, а надо мной пламенел сентябрь. И настроение было сентябрьское, чуть грустное и очень светлое. Я решил, что первое задание должно пройти идеально, и не испортить такой чудный день.

Там, где ржавчина чугунной ограды смешалась с ржавчиной дубов, я забрался на вековое дерево. Там, на высоте двадцати, а, может, и тридцати метров, огромная дубовая ветвь мостом нависала над оградой и звала в запретный

императорский сад. Я двинулся по этому осеннему мосту, но мне даже не понадобилось перебираться в сад. Я навел прицел и тут же в его перекрестие попал командующий бронетанковыми войсками. На еще зеленой лужайке перед дворцом он играл в шахматы с Императором. Конечно, проигрывал. Попробовал бы кто-то выиграть у Октавиана Второго. Он придумал новые правила: двигал и белые, и черные фигуры. «Я главнокомандующий армии всего мира, — говорил он, — поэтому мне подчиняются все цвета!.. Может, кто-то не согласен?..»

Согласны были все, и по этому поводу не расстраивались. Но у Симеона была мечта — обязательно выиграть у Императора. Даже если придется лишиться жизни.

Я пригляделся: разыгрывалось несложное начало, гамбит Эванса. Главный танкист пожертвовал пешку, и не зря. Перспективы удачного развития были очень неплохие. Генерал сиял, Император хмурился.

Я передернул затвор, снова прицелился. Октавиан снял с доски одного неприятельского слона, сунул его в карман. Позиция танкиста на шахматной доске резко ухудшилась. Император замурлыкал под нос какую-то песенку. От дуба, где я обосновался, до лужайки с шахматистами было метров сто пятьдесят, и расслышать мелодию я, конечно, не мог, но вся империя знала, что когда Октавиан выигрывает в шахматы, а выигрывает он всегда, то напевает «Не сталевары мы, не плотники, но сожалений горьких нет, как нет, а мы монтажники-высотники…»

Когда-то давно — в другом времени, в другом городе, в другой жизни — он, кажется, учился в ремесленном училище на монтажника. Говорили, что дело свое он знал. Но история распорядилась: быть ему не монтажником, а суровым императором.

Я перевел перекрестие прицела на висок генерала, где трепетала голубая жилка. Я задержал дыхание, еще секунда и партию не удастся закончить.

Генерал между тем сделал рокировку в короткую сторону и усилил фланг; несмотря на утрату слона он вполне может добиться ничьей, а при известных обстоятельствах даже победить. Танкист двинул вперед конницу; до сих пор еще живое спорит с неживым, и даже побеждает. У него не было никакого опыта управления конными лавами, но ему повезло: эскадроны прорвались в тыл — и полетели во все стороны пешки, панически боящиеся окружения. Ферзь покачнулся и схватился за шапку, расшитую самоцветами. Действия конницы вынудили самую тяжелую фигуру попятиться.

Но явного перевеса не было ни у кого. И тут Император проглядел действия второго слона противника. Слон мгновенно пересек поле и запер неприкаянного ферзя в углу; тому ничего не оставалось, как сложить голову в обмен на жизнь отважного офицера.

Генерал едва сдерживал радость. Октавиан наливался темнотой, как июльская грозовая туча.

Что-то удержало меня от немедленного выстрела. Танкист уверенно двигался к победе и казалось наступает самый момент получить пулю — в минуту, когда сбывается мечта, в минуту триумфа. Но мне стало его почему-то жалко… Да еще так билась на виске голубая жилка. Тут еще Император сунул в карман ладью танкиста, и стало понятно, что и на этот раз он не проиграет. Я перевел прицел на Октавиана. Тот торжествовал, как ребенок. Наверное, думал, что власть должна быть абсолютной, полной, иначе грош ей цена. Как посылать на смерть бойцов, отдавать приказы на бомбежку, если ты не можешь забрать у своего генерала просто так ладью? Не выиграть, а забрать — и принимать аплодисменты придворных. Император обязан быть жестоким, несправедливым, страшным. Ему можно все, другим в его присутствии — ничего.

Придворные устроили настоящую овацию победителю, тот благосклонно кивал особенно шумным проявлениям восторга.

Я прицелился в Октавиана Второго, и тут только заметил у него на плече, на золотом эполете крошечного котенка — рыжего, большеглазого и ушастого. Когда-то такой был у нас, и его звали Василием. Нет, не Васькой, а Василием…Блажен, кто смолоду…»

Здесь в рукописи не хватало еще нескольких страниц. Димон пригляделся к почерку, он без сомнения был ему знаком. Но кому он принадлежал? Кому? И этот рассказ о винтовке Мосина не был ему совершенно неизвестным. Да и поговорочка эта про блаженство… И, вдруг, память Димона осветило словно вспышкой молнии. Ну, конечно, как он мог забыть! Как не в ту же секунду понять, откуда в спальне Императора взялся патрон? Ведь с самого первого класса в школе не устают читать истории о доблести, доброте и справедливости Ликурга, и в этих историях присутствует всегда винтовка, как последний аргумент. Нельзя было Димону забывать об этом…

Надо все-таки дочитать тетрадь. А потом решать, что делать, и зачем Ликург Шестнадцатый, Живущий для Народа, подбросил этот патрон?

Мемориал, колайдер, фермуар…

«…никого не смог убить! — орал Кастор, — принялся Димон за рукопись, все больше и больше холодея от страха. — Да, умеешь ли ты стрелять? — шипел Поллукс. — Может, ты сам о себе распускаешь слухи, будто ты Ворошиловский стрелок?

— Закажи мне самого себя, узнаешь, — огрызнулся я.

Нет, не нравились мне вожди. Не нравились вообще повстанцы, революционеры, заговорщики. От них всегда пахло пивом и рыбой, как от рыбаков, но они не были рыбаками, и не любили рыбачить, и не могли отличить леща с душком от леща без душка. Среди них попадались, конечно, и те, кто ненавидели пиво и обожали благородные красные вина, и говорили на тринадцати языках без словарей, и еще на двух со словарями, но и они вызывали во мне тошноту. Может, потому, что пугачевцы, декабристы, гавроши на баррикадах всегда посягали на то немногое, что могло принадлежать мне в жизни — мое время, мою свободу и обязательно на мои мысли. Они должны — мысли эти — помогать мне горланить на площадях, швырять бутылки с коктейлем Молотова, разводить костры из книг…

Противники повстанцев тоже были не прочь захватить мои мысли в плен, а еще лучше — убить их. Поэтому одни всегда твердили о монгольском иге, другие с пеной у рта доказывали, что иго было как раз хазарское и очень полезное.

— А теперь получи конверт с новым заданием, — сказал Поллукс. — В конверте фотография и адрес того, кто должен быть устранен. Задание пустячное, думаю, что ты должен справиться… Нужно обязательно убрать этого человека; это крупная акула в теневом бизнесе…

И он засмеялся.

Я открыл конверт и первое, что мне бросилось в глаза на цветной фотографии — розовый шарфик на девичьей шее. Где-то я его уже видел. Блажен, кто смолоду был молод!.. Я поднял глаза — ну, конечно, это была та самая девочка, с которой я ходил купаться на Чаган, которая внезапно исчезла из моей жизни; я всегда считал, что именно из-за нее мне захотелось взять в руки винтовку, так велико было отчаянье, или таковым казалось…»

Здесь опять ничего нельзя было разобрать, как будто кто-то намеренно вымарывал целые страницы. Но так вымарывал, словно хотел, чтобы хоть что-то осталось. Димон с трудом читал, а скорее догадывался, что было написано дальше: «На крыше кинотеатра КРАМ, за кирпичной трубой, я занял позицию. Конечно же, я никогда не смог бы убить ее, но мне так захотелось ее увидеть, хоть и через прицел.

Она появилась в сопровождении телохранителя, и я сразу понял, что этот амбал был для нее не только охранником. Зря я висел когда-то на ветках акации под ее окном и проливал слезы, когда она играла на пианино. Зря я рисковал жизнью, переплывая Чаган, зря я думал о ней… Блажен, кто… Я напряг память и вспомнил следующие строчки:

Блажен, кто вовремя созрел,
Кто постепенно жизни холод
С летами вытерпеть умел…

Но при чем здесь Пушкин?..

В наушнике наводчик вопил: «Огонь! Стреляй же, до цели пятьдесят метров!.. Огонь!.. Ты делаешь большую ошибку!.. Не пожалей!»

Я еще раз взглянул в прицел: розовый платочек был на месте, но девочки моей там больше не было. Красивая, успешная женщина, прикрываемая амбалом-охранником, садилась в шикарный автомобиль; ее хотели убить, ее сегодня должны были убить, но она осталась жива… Интересно, играет ли она теперь на пианино?..

«Тебе конец!» — сказал наушник голосом Кастора. «Собака! Собачье мясо!» — добавил голосом Поллукса. «Ты труп!» — сказали они в унисон.

Я не стал дожидаться, когда ко мне пожалуют боевики повстанцев или в окно мне влетит граната. Я опять отправился ко дворцу. Охранники меня узнали, заорали:

— Ну, точно надоело тебе с не набитой мордой жить!

Их командир, я потом узнал, что его звали Димоном, приказал:

— Тащи его в караульное помещение!.. Разберемся с ним, когда кортеж пройдет.

И тут же из-за небольшого леска вылетела небольшая — всадников двадцать — кавалькада; они направились прямо к караулке.

— Внимание! — крикнул Димон. А, обращаясь ко мне добавил:

— А ты смотри мне! Иначе разорвем в клочки!..

Охранники заняли свои места, передернули затворы автоматов — на всякий случай, и стали похожи на гипсовые скульптуры в городском саду.

Димон напряг память и, в общем-то, без особых усилий вспомнил тот далекий день, и как будто ледяной сквозняк проник в самое сердце.

Нет, все-таки зачем Император поручил ему это расследование?

Он продолжил читать странную тетрадь: «Всадники сбавили ход у самой караулки и вдруг один из них резво

спешился, заглянул в зарешеченное окно. «Эй, ребята! — крикнул он — Вода холодная есть?»

Димон никогда не видел Октавиана Второго так близко, а это был он, и внезапно заробел. Застыл. Окаменел…

Охранники, по примеру своего командира, боялись дышать, не то, чтобы подать ковш воды. Все они были головорезы, тренированные хладнокровные убийцы, они без раздумий могли броситься в огонь и воду, но так сильна вблизи оказалась магия власти, что она на время парализовала их.

Мне до этого приходилось видеть Императора только по телевизору, там он был мужественнее, старше, величавее, а здесь он оказался немолодым, потным, тяжело дышащим мужиком. Его беленое на манер китайских проституток лицо было похоже на фарфоровую маску, и на этой маске на лбу сидел жирный, налитой кровью комар.

Я бросился к ковшу с водой, вынес его из караулки, немного расплескав, и протянул всемирному властителю.

Октавиан Второй напился, шумно выдохнул, похвалил меня:

— Хоть и разлил немного, но, видать, расторопный… Проси чего-нибудь, только не денег…и только не еды; весь двор овсянкой какой уж месяц давится… Эти суки, повстанцы, саботируют производство еды. И чего они хотят, паразиты? И так уже дошли до того, что Диван принял закон, по которому после очередной революции объявляется выходной. Так, в Макро-Усе плотность революций довели до двенадцати штук в день. На каждой улице своя революция, на каждом перекрестке баррикады, все свергают всех. Где набраться столько выходных? Боюсь, и сюда эти свободолюбцы пожалуют, их и танки не остановят.

Он еще приложился к ковшу, продолжил:

— Если поймаем когда-нибудь главарей повстанцев, им сильно не поздоровится. Шкуру с них сниму!.. Говорят они скрываются в западных шахтах, самих глубоких на планете…

Он помолчал с минуту, опять спросил:

— Будешь чего-нибудь просить?

— Нет! — ответил я. — Я пришел не для этого…

— Для чего? — удивленно спросил он. — Все просят, даже эти великаны Кастор и Поллукс; прислали письмо, просят денег для своей партии фиолетовых… Ты тоже, смотрю, с фиолетовым отливом…

— Сейчас фиолетовых много, — сказал ему я. Он молча махнул рукой.

— Вы когда-нибудь видели главарей этих — Кастора и Полукса? — спросил я у него.

— Не приведи Дисциплинарий! — испугался он. — Говорят от одного их вида люди сознание теряют…

Я не выдержал, перебил Октавиана:

— Да, они немощные дистрофики!.. Реальные вонючие клопы… И открыто живут на улице «50 лет запрета на аборты», дом шестнадцать, квартира семнадцать…Их можно взять голыми руками.

— Охрана! — крикнул Император, и к нему изо всех ног бросились и головорезы Димона, немного пришедшие в себя, и секретные бойцы в камуфляже, давно обжившие каждый куст Императорского сада, и андроиды специального назначения, которые легко попадали из револьвера белке в глаз на расстоянии тридцати километров. Правда, никаких белок здесь и в помине не было. Четыреста лет назад водились степные лошадки, но за четыреста лет их успели съесть степные волки, которые в свою очередь пали от рук охотников; уж больно знатные шапки получались из волчьей шкуры.

— Взять! — закричал Император. — Живьем! На улице, где аборты пятьдесят лет назад запрещены! А, может, разрешить их? Все равно ковчегов на всех не хватит!

Димон оглянулся: не услышал ли кто посторонний важнейший государственный секрет? Посторонних не было. Кроме меня. Но я, судя по всему, уже покинул разряд посторонних.

— Мне бы десяточек таких, как ты людей иметь, я горы бы свернул, — сказал Император проникновенно. — А вокруг одни дураки и блюдолизы…

Я промолчал, скромно потупившись.

— Так пойдешь ко мне на службу? Начальником всей охраны?

Тогда мне показалось, что винтовка, завернутая в холстину, принялась вырываться у меня из рук. Отавиан тоже это заметил, спросил:

— Что у тебя за палка в мешке?

Я улыбнулся:

— Это не палка, а винтовка… Безотказная винтовка Мосина! На всякий случай взял, вдруг эти карлики станут оказывать серьезное сопротивление…Винтовка пристреляна.

— Молодец! — похвалил меня Октавиан Второй, Живущий для народа.»

Димон, листая тетрадь, вчитываясь в каждое хоть чуть-чуть понятное, едва различимое слово, давным-давно догадался, кто автор записей. И тем не менее бесконечно задавал себе вопрос:

— Зачем?

Все ответы, которые он давал сам себе, звучали похоже: «Надо Димону, начальнику охраны Императора Ликурга рвать когти, бежать без задних ног куда глаза глядят. Но бежать, скорее всего было некуда. К повстанцам? Так они мечтают запустить его в космос на геостационарную орбиту — пусть повращается лет тридцать!

Скрыться у народа, обитающего в озерах и омутах? Но разве не он в целях безопасности приказывал сбрасывать в озера, а заодно и реки, глубинные бомбы. Тогда удалось взорвать всех диверсантов, а вместе с ними и всю рыбу, которой кормились навсегда промокшие подводные люди. В общем, тогда жертв было много, и вряд ли в подводных обиталищах обрадуются появлению Димона. И запросто могут скормить его голодным ракам. Бррр!..

Но, может быть, все-таки Ликург поручил ему это расследование с иной целью — не погубить Димона, а его руками выполнить большую государственную работу? Нужно все-таки до конца дочитать эти записки снайпера. Он опять углубился в чтение. Речь шла о знакомом, но давно

позабытом: «Вождей повстанцев взяли голыми руками, не понадобилось никакого оружия. И Кастор, и Поллукс лежали на своих раскладушках (по примеру какого-то древнего героя они не спали на перинах, матрасах — только на раскладушках) и нюхали клей, засунув головы в целлофановые пакеты.

Ребята Димона уже через полчаса притащили вождей повстанцев, связанных бельевой веревкой, и бросили к ногам Императора. У обоих от страха стучали зубы.

— Ну, надо же, какие костлявые, — сказал Октавиан Второй. — Может, это не они? Уж больно хилы…

— Это не мы, совершенно не мы, — тут же отказались от самих себя Кастор и Поллукс, и, не разобравшись в ситуации, начали тыкать пальцами в мою сторону, — вот человек может подтвердить, что это совсем не мы.

Я достал винтовку, передернул затвор, прицелился в первого близнеца, спросил взглядом у Императора: «Прикончить этих токсикоманов?.. Не знаю, стал бы я стрелять в них, но Октавиан Второй, Живущий Для Народа, поверил в мою решительность, а это было для меня полезнее, чем застрелить жалких, трясущихся карбонариев.

— Просим пощады! — прокричали в унисон неудавшиеся подпольщики. — Мы всю жизнь заблуждались, а теперь прозрели…

— Прозрели! — вопил Кастор.

Еще как прозрели! — орал Поллукс. — Верим в небесную природу власти нашего любимого Императора.

— Горячо любимого!..

Это было так противно, это было так смешно, что стало ясно — жизнь себе они вымолить все-таки сумели.

— Грамоте обучены? — спросил у них Император.

— А как же, многие языки знаем, — кажется, врали они, — и лао, и марати, и телугу, и даже альфендио…

— На альфендио в мире говорят 633 человека, — удивил Императора Кастор

Поллукс добавил:

— Теперь — 634, Кастор в совершенстве выучил альфендио…

— Ладно, ладно трепаться, — сказал Октавиан Второй, — казнить вас пока не буду, продолжайте коптить небо. Но вас посадят на цепь, и будете вести летопись нынешнего правления. Смотрите у меня, кормежка ваша будет зависеть от качества работы. А прикованы вы будете на втором ярусе моей библиотеки…

— Благодетель! — повалились в ноги летописцы. — Распишем так, что мама родная не узнает — все героические деяния, все душевные грани будут представлены полно и выпукло.

Их тут же заковали в железа и на корзине подняли на второй ярус императорской бесконечной библиотеки, на тридцатикилометровую стеллажную высоту, и они сразу взялись за дело.

Вот от них, наверное, пошла вкривь и вкось вся мировая историческая наука. Их многотомную писанину никто толком не читал: писанному мы никогда не верим, сказанного опасаемся, — мы и без слов все понимаем; молчать и не верить нас научил глубокий, как степной колодец, космос. Каспийское море впадает в Урал, яицкие казаки — потомки древних хазар, родословная Октавиана Второго восходит к Посейдону,- что ни напишут наши ученые, то в книгах и останется, как запас на черный день, а мы все равно будем знать свою правду; у нас этой правды хоть завались, пуда по два на каждого.

Сгинули Кастор и Поллукс, растворились в книжных лавах, в первые годы их библиотечного заточения с головокружительной высоты время от времени доносилось позвякивание цепей, а потом все стихло, наверное, зачитались близнецы. Ну, а меня Октавиан назначил Личным Несменяемым Часовым Императора.

— Будешь каждую ночь бодрствовать у дверей моей спальни, охранять, — сказал он. — Отсыпаться будешь днем… Паек будешь получать двойной, с баклажанной икрой… И чтобы винтовка всегда была в полной готовности защищать меня, твоего Императора! Понял?

— Понял, — ответил я. Но как-то мне это не очень понравилось. И неясная мысль запала в голову, одна мыслишка…»

Димон мог бы дальше не читать, но он читал: «Личным несменяемым часовым я выдержал два года. Скучно было дремать у двери спальни Октавиана, опираясь на винтовку, да и страшно: где-то в бескрайней вышине библиотеки хлопали крылья начитанных летучих мышей, гремели цепями близнецы, время от времени посылая мне негромкие проклятия, кто-то все время хлопал невидимыми дверями, топал сапожищами, а где-то совсем рядом плакала девочка, наверное, у нее тоже шарик улетел. Я громко шептал в темноту:

— Девочка, чего ты? Обидел кто?

Всякий раз отвечал густой мужской бас:

— Не суй нос в чужие дела! Стой, где поставили, ворошиловский стрелок!

В тесных бесконечных коридорах было много крыс, они почему-то любили сидеть на подоконниках, их черные силуэты выделялись на фоне стекол, и казалось — они здесь настоящие стражи, не я.

А однажды в приемную прорвалась женщина — тонкая, быстрая, решительная — в чем-то тонком, черном, строгом.

— Пропустите меня к ним! Пропустите! — сказала она мне. — Я знаю, они тут. Мне верный человек сказал.

— Даже охрана не бывает верной, — ответил я, и почему-то мне стало смешно.

— Что вы с ними сделали? — спросила женщина, и, не спросив, села на кушетку мадам Рекамье; откуда она взялась эта кушетка?

— Где-то я видела эту кушетку, — произнесла женщина и положила ногу на ногу. — Где мои дети?

Ноги у нее были стройные, к ним как раз подходило тонкое, строгое.

— У нас здесь не бывает детей, не положено, — объяснил ей я. — Для детей в Империи достаточно специально отведенных помещений. Вот, скажем, дом-интернат откры-

того типа, он построен на месте подземного ядерного взрыва. Архитекторы исходят из странной закономерности, по которой в одном месте атомные бомбы не взрываются.

— Вы меня разыгрываете? — грозно спросила она и приподнялась с лежанки Рекамье.

Я передернул затвор.

— Стреляю без предупреждения! — сказал я строго. — Имею на это специальное разрешение… Так что, лучше стой на месте!

— А знаешь ли ты, кто я такая, солдатик? — спросила она, но остановилась. Наверное, подумала: кто знает, что у него на уме? Может и пальнуть сдуру, зарабатывая лишнюю лычку.

— Ну и кто? — поинтересовался я, но на всякий случай расстегнул кобуру маузера.

— Я Лидия… Некогда была Лидией Первой, Живущей для Народа, Почетной подавальщицей…

— Выгнали? — перебил я ее.

— Сама ушла… Годы берут свое. Почувствовала, что пора жить не для народа, а для себя самой.

— Первый раз вижу человека, который будто бы сам отказался от жизни во дворце, от деликатесных объедков, от парчовых обносков. Рядом с хозяевами жизни тепло даже в сорокаградусный мороз, даже хина кажется сладкой, и людей, как магнитом, тянет к подножью тронов, — сказал я, — а ты уверяешь, что сама все это оставила?

— Представь себе!..

И вдруг я понял, что эту бывшую Подавальщицу мне послал сам Дисциплинарий, если она не врет. Ничего, проверим.

Я взял ее под теплый локоток, отвел подальше от двери императорской спальни. Спросил еле слышно, а, вдруг, государственная тайна:

— Скажи, почему у императоров лица беленые, как фарфоровые? Ведь это по сути маски?..

Лидия задумчиво посмотрела на меня, потом проговорила:

— Ни за что и никогда бы не сказала тебе, но ты сам ответил: это маска. Секретные историки пишут, что это повелось от Веспасиана Тринадцатого, Живущего для Народа. Тогда замучили старика вулканические прыщи, — и как только лекари не бились, ничего не помогало. Готовили отвары для кожи, мази, микстуры, а юношеские прыщи не покидали стариковской кожи. Тогда попробовали обычный театральный грим, но и он не очень помог: нарисованный румянец, черные, как смоль, брови, алые губы делали Веспасиана похожим на клоуна. Клоуна-перестарка. Но этот несовершенный грим подтолкнул императорских косметологов на нужное решение. Что нельзя улучшить, то можно спрятать — так родилась идея мягкой маски, и она вот в один прекрасный день придворные увидели Веспасиана с выбеленным лицом. Все сделали вид, что так было всегда…

— Ну, а потом выяснилось, что эта маска годится еще кое для чего, — перебил ее я. Она замахала руками, опасливо оглянулась на дверь императорской спальни.

— Больше ничего не знаю! — в панике прошептала она. — Не знаю!..

— Зато знаю я… — жестко сказал я. — Маска не только скрыла лицо Императора, но и дала возможность иметь сколько угодно императорских двойников… Скажем, настоящий правитель находится на рыбалке, а его двойник в это время проводит утреннюю проверку ногтей у придворных среднего звена. Или подлинный Император еще нежится в постели, а поддельный возглавляет учения пожарников…

Я собрался с духом и добавил:

— И, вообще, неизвестно, может давным-давно на троне и не Октавиан совсем, а какой-нибудь Брут?

— Исключено! — сказала Лидия. — У настоящего Октавиана есть идентификатор — императорский Перстень Власти с изумрудом, и в этот перстень вмонтирован специальный микрочип с императорской родословной. Подделать его невозможно.

Я достал из кармана перстень, показал его Лидии:

— Этот что ли?

— Только компьютерное сканирование может подтвердить или опровергнуть подлинность этого перстня, — не сдавалась она, но по ее глазам я видел: она готова поверить. Но я ей пока не говорил, что купил перстень в подземном переходе; там у одного барыги были и белила, и перстни, и императорский шлем-корона — и все это я сторговал за полбанки. Барыга и сейчас там стоит, и даже снизил на свой товар цену.

Я включил императорский сканер, раздалось негромкое жужжание, по экрану компьютера побежали какие-то значки, должно, быть антураж секретного кода. И тут же компьютер запросил пароль.

— Ну что, встало дело? — торжествующе спросила Лидия. — Пароль нужен, а как я понимаю, его вам никто не сообщал. Или, может, Император посвятил вас в эту тайну всех тайн? Нет?..

Я набрал первое пришедшее в голову число — 13-13-13, — и сканер заработал. Не прошло и минуты, как на экране появилась надпись: «Идентификатор подлинный, перед нами его Человеколюбие, Живущий для Народа, Император Октавиан Второй, хранит его Дисциплинарий!»

— Что вы задумали? Что ты, молодчик, задумал? — опять двинулась в мою сторону Лидия. Остановилась только когда уперлась грудью в острие штыка.

— Скажите честно, сколько «Октавианов» сменилось за вашу бытность в этой спальне? — спросил я у нее. — Вы не можете этого не знать, ведь белила по утрам наносит на лицо Императора именно Подавальщица… Только она видит подлинное лицо владыки… Ну, не жеманьтесь, не жеманьтесь, вам это зачтется когда-нибудь…

— Хорошо, я скажу, — вдруг смягчилась она. — Только скажите, живы ли мои несчастные мальчишки?

— О ком вы говорите?

— Естественно, о своих сыновьях — Касторе и Полуксе…

— Ах, об этих вождях? Единственное, что могу сказать — они живы и занимаются научной деятельностью, — ответил ей я.

Она вздохнула облегченно:

— Слава Дисциплинарию!

Где-то высоко над нашими головами едва слышно прозвенели цепи.

— Что это? — встревожилась она.

— Это круглосуточная стража, — соврал я. Мне давно уже удалось убедить Императора, что я один со своей верной винтовкой могу заменить всю дворцовую стражу.

— Теперь выкладывайте свою информацию, — сказал я.

— Думаю, что только за этот год — это уже третий император, они быстро меняются, — прошептала она.

— Третий? — изумился я. — Что-то маловато…

— У меня нет точной статистики, хотя думаю, что царствующих двойников, действительно, больше…Нынешний, скажем, пообещал еще на той неделе назначить Подавальщицей Лидию Вторую, мою дочь, но теперь отказывается, говорит, что не помнит…Скорее всего, он просто не знает… Трудно выполнять желания придворных, если ты эти желания не знаешь. Это тоже, наверное, сокращает время царствования…

— А ты не так проста, — сказал ей я, переходя на «ты». — Дочь приводи, постараюсь пристроить ее на хлебное место…

— А есть вообще такие места?..

— Поищем… — я подумал, что лучше всего иметь такую женщину, если не в друзьях, то в союзницах.

Я прислонил винтовку к стене у двери императорской спальни и пригласил Лидию выпить по рюмочке коньяка. У меня был превосходный коньяк, изготовленный из лучших сортов дубовой коры из светящегося леса.

— Не откажусь, — сказала она. — Сто лет не брала в рот спиртного…

— Наверное, повода не было? — спросил я.

— Не было, — сказала она. — С горя не хотелось, а радости не было… Собственно, какие радости бывают у человека? Утром проснулся — вот тебе и радость, хотя не каждый понимает, что это радость. Если за целый день тебя не закатали в бочку с черным перцем — прыгай от счастья! Если на улице разъехались ноги на скользкой дороге, и грохнулась на ледяной асфальт, вывихнула руку, разбила коленку, то благодари Дисциплинарий, ведь мог случиться перелом. Некоторые выигрывают в телевизионные шарады, им вручают мясорубки, соковыжималки и путевки на пляжи Карского моря, — это тоже счастье, потому, что большинство людей никогда не бывало дальше керосиновой лавки и думает, что сразу за соседним переулком кончается вселенная и начинается Всемирный Хаос, а тут — нате вам! — путевка в фешенебельный отель на Карском море… Но я не выигрывала путевки, не разбивала коленок и, кажется, даже не просыпалась…

Мы выпили с ней, и я налил еще. Выпили и это. Тогда она сказала:

— Поначалу ты показался мне таким фиолетовым, как баклажан, а сейчас присмотрелась — ничего, терпимо, не так бросается в глаза, как полчаса назад…

— Цвет кожи совсем не важен, — сказал я. — Говорят, что повстанцы вывели новый тип андроида — голубой. Но кожа у него красного цвета. А он — голубой. Прямо парадокс…

— Парадоксов не бывает, — продолжил я, — просто один знает больше, а другой ничего не знает вообще. Блажен, кто смолоду был молод…И ему было понятно, что цвет будут учитывать не сразу, что дадут пару лет на обзаведение…

— О чем мы говорим? — спросила Лидия, — Чистый абсурд. Выпили всего ничего, но умудрились учинить дискуссию о цветах. У меня в детстве была белая кошка с голубыми глазами. Я решила выкрасить ее под цвет глаз, и выкрасила масляной краской, как та не отбивалась, как ни царапалась…

Она замолчала, задумалась.

— Ну и что? — спросил я.

— Да, ничего, кошка сдохла… Не все выдерживают смену цвета…

В это время за дверьми спальни зародился воющий звук:

— Ли-и-и-и-и!.. Ли-и-и…

— Он зовет меня уже третий год, — сказала Лидия. — Не верит, что я ушла…

— Я каждый день слышу этот вой, но думал, что Ли — это какая-нибудь утренняя китаянка, — сказал я, — и удивлялся, когда он отказывался от приведенных желтых красавицах. Почему же он никогда не говорил, что это он тебя кричит?..

— Дело в том, что ему кто-то напророчил, что власти он будет лишен при участии женщины по имени Лидия, — объяснила она, — и вот поэтому одна часть его натуры — трусливая — не желает даже слышать это имя, другая часть, которая посмелее чуток, зовет меня — и борьба эта внутренняя порождает этот нечленораздельный вой…

— Так, Лидий много, — сказал я, — всех не удалишь… Я знал одну, ее звали Лидией Фоминичной, и некоторые тоже теряли из-за нее голову…

— Да, нас немало, — согласилась Лидия. — Только в нашем роду их было десятка полтора, на разный вкус, и на разный опять же цвет…Кроме дочки моей — Лидии — есть сейчас пара племянниц, пяток двоюродных сестер, ну и с десяток из родни помельче наберется…

Вой в спальне прекратился.

— Уснул, — предположил я, но в ту же самую секунду дверь из спальни распахнулась и в проеме двери встал, подбоченясь, Император Октавиан Второй, Живущий для Народа. Владыка Порфироносный. Его Человеколюбие.

— Шепчетесь? — сказал вкрадчиво, но голос его предательски дрогнул. Его терзал страх, и в этом страхе утонули его глаза, и это не скрывали белила на лице.

И тут произошел исторический момент. Миг Истины. Свершилось предначертанное. Винтовка Мосина, стоявшая у стены, вдруг, повалилась, прочертив штыком по

стене тонкую линию, ударилась о пол, и выстрелила. Император упал.

Странный мир, в котором все может выстрелить. И даже, говорят, кочерга — был бы грех. А грехов у нас…

Кабала,саботаж, магистрат…

Лидия пронзительно закричала, бросилась к Октавиану:

— Ты убил его, убил!

Я засмеялся:

— К сожалению, винтовка пальнула совсем в другую сторону, посмотри, пуля попала в дикую желтую картину, на которой изображен один только человеческий след на размытой дождями равнине.

— Это знаменитая картина Малыгина… — Лидия приподняла голову Императора и тот открыл безумные глаза, обвел взглядом приемную, и произнес растерянно:

— Не убивай, пожалуйста! Я сам все отдам — и ядерный чемоданчик, и Перстень Власти, и запас белил…

Он вздохнул облегченно, поняв, что никто его убивать не собирается, во всяком случае, в эту минуту.

— Знали бы вы, как надоело мне быть Октавианом… Каждый день краситься, каждый день ходить в гарем…

— Слабый ты человечишка, — сказал я ему, взяв чемоданчик, в котором рябило глаза от кнопок; нажми любую и помчится на цель атомная ракета. Под каждой кнопкой табличка с названием цели: «штаб повстанцев», «дача Сталина», «мюнхенская пивная», «Беловежская Пуща», «крейсер «Аврора»…

Я удивился:

— Выходит, эти ракеты могут попасть в прошлое, и все там взорвать?

Бывший Октавиан Второй засмеялся:

— Давным-давно не работают никакие кнопки, все ракеты заржавели и не летают, как страусы. Большие, а не летают. Но самое смешное — мы давно уже взорвали прошлое, и вот-вот подберемся и к будущему…

— Нет никакого будущего, и уж подавно не существует прошлого, — грустно сказала Лидия. — Перемешались все времена и эпохи, не поймешь — где живешь, не всем ясно — зачем…

— Умойся! — сказал я бывшему императору. — Историю будет двигать другой. Сильный, решительный и меткий. И этот другой будет всем известен, как Император Ликург… Для весомости придумаем приличное число новому правителю. Пусть будет — Ликург Шестнадцатый… Нужно теперь всем научиться говорить так: «наш Любимый Куратор-Император, Живущий для Народа, Ликург Шестнадцатый… Ну, а бывшего… императора пощадим, убивать не станем. Забросим его на третий или даже четвертый уровень библиотеки — пусть читает, пишет чего-нибудь — до скончания времен; глядишь, и напишет такое, такое, такое… В общем, на цепь его!»

Прежде, чем Октавиана подняли на почти безвоздушную высоту библиотеки, я не забыл поинтересоваться у него:

— Как тебя звали прежде, до того, как ты, собака, узурпировал императорскую власть? И кто ты? Лодочник?..

— Нет, я конюхом был… — понурил голову узурпатор. — А мать при рождении нарекла Владимиром… Владимир Ильич я…

— А фамилия? — догадалась, наконец, спросить Лидия. Тот фамилии своей не мопнил. Да, и для чего она ему?

Была вызвана дочь Лидии — Лидия Вторая, головокружительная красавица — нежность, проницательность, верность -, и тут же я возвел ее в высочайший ранг Живущих для Народа. В то утро Лидия Вторая впервые помогла мне выбелить лицо. Она не жалела белил, и не жалела слез — так оплакивала она Октавиана… Затем был вызван командир отряда охраны Димон…»

Здесь кончались записи в старой тетради. Но Димон сам вспомнил тот день.

Давно это было, и, честно говоря, тогда он не придал особого значения, что в приемной Императора оказалось

две Лидии — Первая, заплаканная, потрясенная, и Вторая — только что назначенная Подавальщицей, Живущей для Народа. Здесь же жался в углу какой-то пожилой, безликий, залитый водой человек.

Император сказал тогда:

— С сегодняшнего дня мы будем именоваться Ликургом Шестнадцатым. Историки уточнили мою родословную, а это великие историки Империи — они не могут ошибаться, и как и следовало ожидать, сделали ошеломляющее и радостное для всего мира, открытие. Я — прямой потомок легендарного спартанца, великого законодателя — Ликурга, а он восходит к Адаму. Это значит, что наш мир будет стоять несокрушимо многие века…

«Чего я несу? — ухмыльнулся про себя Император. — Так можно договориться до того, что Бог — один из нас… С другой стороны — чем больше глупости, тем меньше умных. А умные нам ни к чему…»

Ликург продолжил:

— Каждый, кто вспомнит прежнее имя — Октавиан — будет закатан в бочку с ослиной мочой. Указ об этом опубликовать сейчас же, даже пометить вчерашним днем, нет — прошлым годом!

Ликург Шестнадцатый уже в тот день выглядел угрожающе. Но никто тогда не знал, что он не только выглядит таким, он такой и есть. Страх не сразу пробрался из дворца во все уголки мира, но не прошло и месяца, как ни у кого не вызывало недоумения, что Император стал выше ростом — на целую голову, что голос у него стал жестче, что Лидия Вторая, Живущая для Народа, Почетная подавальщица стала носить старинные императорские драгоценности, по империи прокатилась волна невиданных по своей жестокости казней. Людей — и виноватых, и невинных, а невинных чаще, — закатывали в бочки с черным перцем, полынью, белладонной, индийской коноплей, и сбрасывали бочки в море. Называлось это «гуманным взысканием», и ведь на самом деле некоторым закатанным непонятно как удавалось спастись; их тотчас отправляли в

рудники — добывать окаменевшее жигулевское пиво прошлых веков. В пивных рудниках никто не выживал.

Димон размышлял: «Все-таки он вручил мне самую свою жгучую тайну… Если, конечно, нет более жгучей? Все это я должен истолковать очень просто: он призывает меня в союзники. Времена настают такие, что Императору не мешает обзавестись соратниками, которым можно хоть чуть-чуть доверять. Впрочем, все времена во все времена были тяжелыми, и не стоит надеяться, что станет легче. Нет не станет. Тяжелее — да.

Уже на следующее утро он попросил аудиенции. Облачился в парадный мундир, неподъемный от орденов, медалей и почетных знаков. Были среди наград самые памятные, дорогие, полученные за отчаянные операции: Орден Ночного Душегуба второй степени — за молниеносный захват крупной станции по разведению живородящих андроидов; Орден Прощения четвертой степени — за разгром повстанческих отрядов у водопада Семи подземных взрывов — эх, славное было дельце! Тогда утопили живьем чуть не дивизию бунтовщиков. Но по традиции перед казнью простили их всех. Очень гордился он Счастливой Звездой Заката, полученной им из рук Ликурга Шестнадцатого — за то, что закатал по приказу Императора в консервные банки весь Союз Писателей, после чего вновь назначенные прозаики и поэты всегда испытывали творческий подъем…

Димон вошел в кабинет Ликурга, печатая шаг.

Завибрировал пол, тонко запел хрусталь люстр, присутствующие генералы и маршалы, старые рубаки, затрепетали ноздрями, как кобылы перед случкой (а, правда, какого они пола, маршалы?), в гареме старые жены оттерли молодых от провернутых в стене дырок, предвкушая драматическое зрелище.

Димон отрапортовал зычно и коротко:

— Заговор раскрыт, ваше Человеколюбие!..

— Неужели опять прачки поднимаются?

— И они тоже, ваше Человеколюбие. Главным образом все и поднимаются. Кухарки и кухаркины дети, шахте-

ры, еще недавно добывавшие глубинные окаменелые розы, а теперь, когда все розы кончились, они принялись винить в этом недальновидное правительство. Думают провести всесветную забастовку пожарники, причем, они решили не покидать своих депо, где у них параллельно проводится чемпионат южного полушария по коллективному сну.

— Чего они-то хотят? — спросил Ликург. — Газированной воды, чтобы ею тушить пожары?

— Именно этого они требуют, как вы догадались? — удивился Димон.

Император промолчал, а Димон проворчал:

— Паразиты, не люди…

— Надеюсь, принимаются суровые меры? — спросил Ликург Шестнадцатый. — Пора и силу применить…

— Каждый день ее применяем, ваше Человеколюбие, — принялся скороговоркой докладывать Димон. — Только вчера две роты пожарников перебросили из южного полушария на Землю Франца Иосифа, пусть там тушат ледяные торосы… Закатали триста кухарок в бочки с майонезом, шахтеров — целых три смены — замуровали в шахту, и тут же произошло чудо: было найдено сразу два куста окаменевших роз, а за это любому бунтовщику полагается свобода. Так, мы выпустили из шахты тех, кто нашел драгоценные цветы…

Ликург удивленно выгнул бровь.

Димон зачастил еще быстрее:

— Вытащили из шахты и запустили на стратаскафе на высоту сорок километров. Пусть там поразмышляют — бастовать или погодить…Запускали мерзавцев под ликование народных масс; больше всех радовались родственники преступников, их дети и жены.

— Но самое важное, — Димон придал голосу торжественности, — схватили главных злодеев, которые готовили покушение — страшно вымолвить, ваше Человеколюбие, — на вас. Они даже пронесли в вашу спальню винтовочный патрон, причем дошли до такого цинизма, что задумали совершить злодеяние старинной винтовкой Мо-

сина… Арестовано триста тысяч человек, еще два миллиона готовятся отречься от своих сомнений.

— Гуманно, гуманно! — похвалил Димона Ликург, и добавил почти шепотом, чтобы не услышал никто из свитских. — Репрессии не самоцель, ведь подумать только, сколько инакомыслящих мы сумели направить на нужную дорогу!.. Но, поводя репрессии и чистки, а они необходимы обществу, как лекарство, надо помнить, что людей у нас много, а кораблей мало… В полет должны отправиться только самые верные и обученные хоть какому-то ремеслу, чтобы на новой планете не пропасть насовсем. Поручаю вам формирование списков убывающих одновременно со мной — в первой армаде кораблей… Вам понятно?..

— Так точно! — гаркнул Димон.

— В списки должны попасть действительно мастера… И в этом я вижу вашу особую миссию… Или вы откажетесь?

«Все! — мелькнуло в голове у Димона, — в грибном супе сварят!..»

— Думаю, что не откажетесь! — продолжил Император. — И справитесь с миссией так же точно и быстро, как вы это сумели в щекотливом дельце с найденным в моей спальне патроне. Никто бы, кроме вас, не справился с поставленной задачей так быстро, с выдумкой, я сказал бы даже — с творческим подходом… Прошу вас принять из моих рук награду. Это высший орден Империи, но и его недостаточно, чтобы достойно оценить ваш труд на благо народа. Поэтому с сегодняшнего дня учреждается новый высший орден — «ВерностьИмперии», и вы становитесь его первым кавалером.

Ликург приколол на китель мундира Димона что-то неимоверно сверкающее, звенящее, и огромное, как самоварный поднос.

— Награда из чистого золота, — соврал Император и внутренне рассмеялся: был ли вокруг хоть один человек, который верил, что в казне осталась не украденной хоть одна крупица золота?

Он решил проверить. Подошел к ближайшему свитскому генералу, спросил негромко:

— В части начали поступать орудия, покрытые сусальным золотом?

Генерал выкатил глаза:

— Так точно, ваше Человеколюбие! Отличные скорострельные пушки.

— Ядра тоже золотые? — продолжил Ликург.

— Так точно! — врал генерал. — Ядра из золота царской пробы…

— Молчать! — не сдержался и фальцетом закричал Император. — Не умеешь врать, не берись!..

Генерал поник, потускнели на его штабной груди штабные ордена. Он молча упал на колени и заплакал. Все продолжали улыбаться, и больше других заместитель генерала.

Император спросил у сломленного генерала:

— Скажи, служивый, как надо поступать с брехунами?

Генерал только мычал и давился слезами.

— А можешь ли ты сказать, что такое счастье?

Генерал шмыгнул носом и вдруг твердо, по-солдатски, произнес:

— Только не в бочку с редькой закатывайте, я ее терпеть не могу — для меня и это будет счастьем…

Молодец! — воскликнул Ликург. — Настоящий вояка, кремень, а не человек! Как нам такие люди нужны! Как нужны…

Он подошел к генералу, обняв за плечи, поднял его с колен.

— Служи отчизне!.. Служи своему Императору.

Лицо генерала просияло.

— Да, я… Жизнь отдам за ваше Человеколюбие!

Ликург насупился:

— Может, она потребуется, твоя жизнь, раньше, чем ты себе представляешь…

Генерал пропустил эту фразу мимо ушей. Он сегодня, сейчас остался в живых, а что будет завтра даже Император не может знать.

Аудиенция была завершена, Димон принялся за составление списков покидающих обреченную планету. Первым он вписал Императора, вторым себя и пару блондинок — официанток из закусочной «У космодрома». Подумал и внес в список и пару брюнеток — стриптизерш из ночного клуба «Фаршмак» — может, Ликурга потянет?

Лайм, шпатель, контрацептив…

Глава одиннадцатая: скитания

Артур сказал, что им нужно поторопиться, потому, что наверняка на дорогах, ведущих к десятым и двадцатым шахтам, уже расставлены засады, на всех высотах притаились снайперы, спущены с поводков боевые фиолетовые крысы.

— Видел ли ты когда-нибудь фиолетовую крысу? — явно красуясь перед Натахой, спросил Артур у Егория.

Тот, простак, конечно ни видел. Он вообще дальше Талдыпана не бывал, когда дедушка Егорий, светлая душа, ездил в райцентр сдавать сусличьи шкурки, и брал с собой внука. Это случалось раза три, и Егорий навсегда запомнил огромный серый бугор цирка шапито, который каждую весну вырастал на пустыре возле талдыпанского базара, и в этом самом шапито плясали крошечные хитромордые собачки в штанишках, рыдали клоуны, извергая водопады слез и беспрестанно награждая друг друга тумаками, жил огромный и пузатый силач Либа, у которого на самом деле фамилия была — Либермандер. Силач этот жонглировал четырьмя двухпудовыми гирями и прокормить его, говорил дедушка Егорий, было невозможно. Либа сначала работал сторожем на рыбной базе, но ему ужасно приелся замороженный хек безголовый, и он поступил силачом в цирк и его определили на пайку издохшего от апрельских холодов удава. Так что, силач каждые три дня получал по кролику и был очень доволен. Хотя шел слух, что гири внутри были пустыми.

— Ничего, — говорил силач, — запас прокормочного потенциала у меня большой. Выгонят из силачей, пойду в «Чудо природы. Мужчина с женской грудью». На самом деле, грудь у него была бабья — большая, но дряблая. Но издалека вполне могла сойти за чудо природы. Еще в цирке Егорию понравилась помощница фокусника. Сам фокусник был лысоват и все время опасался, что во время выступления может свалиться с головы цилиндр, который служил ему как головным убором, так и тайником для мелкого волшебного риквизита, например, в нем он хранил тараканов, пару воробьев и совершенно необходимые в его ремесле разноцветные бумажные ленты, а также колоду карт с тремя бубновыми тузами.

— Так видели вы Фиолетовую Боевую крысу? — не отвязывался Артур.

— Конечно, — откликнулась Натаха. Честно говоря, Артур ей понравился — образованный, высокий, хороший рассказчик. Судя по всему, инкогнито объехал весь свет, а ведь выходцам из Майны прямая дорога была только в стальные камеры секретной полиции. Значит, он еще и отчаянный смельчак. Она чувствовала, однако, что ее привлекает в нем и нечто такое, что она пока сама понять не может.

— Я в детстве играла с этими крысами фиолетовыми, — добавила она. — У нас их около трансформаторной будки было завались…

— Как вы могли играть с этими злобными существами величиной с сенбернара? — изумился Артур.

— Да, вот такие мы! — сказал Егорий, никогда в глаза не видевший этих злых тварей, которых в Империи за глаза называли ЦПЛ — цепными псами Ликурга.

…Так они двигались по печальной местности, где уже давно вместо деревьев из отравленной земли росли какие-то ржавые растения, похожие на железные сталагмиты.

Чтобы не было скучно пробираться через эти заросли, Натаха придумала отгадывательную игру, когда она чего-нибудь спрашивает, а Егорий с Артуром по очереди отвечают. Ее саму по правилам этой игры спрашивать

было нельзя ни о чем, разве только о политике. Но политика никому не интересна.

— Начинаем с Артура! — провозгласила она. — У него имя начинается на «А»…

Артур с Егорием переглянулись, хотели отказаться от этой неинтересной игры, не подвергать себя лишней опасности, но так умоляюще сверкали на фоне ржавых сосулек ее глаза, что они согласились. Только Егорий сказал:

— Громко не говорить! Скажите спасибо, что давно вышли из строя камеры слежения и микрофоны… Собственно их уже купили бракованными…

— Давай первый вопрос! — сказал, обращаясь к девушке, Артур. Егорий почему-то насупился.

Они пробирались среди останков каких-то строений — не то взорванных, не то разрушившихся от старости.

— Что такое абсурд? — спросила Натаха.

— Что? — в один голос переспросили Егорий и Артур, хотя Егория вопрос не касался.

Она кивнула головой, дескать, именно про абсурд она и спросила, они не ослышались. Вот такая непростая она девка.

— Абсурда нет на свете, а если по другому сказать — весь мир — абсурд.

— Непонятно…- протянула Натаха.

— В абсурде как раз все и должно быть непонятно, — объяснил он, теоретик. — И его нельзя объяснить. Как только объяснил, он исчезает…

— Не надо нам никакого абсурда, — перебил Егорий Артура, — Нам бы сала побольше, горилки, и чтоб на рыбалку по пятницам — на озеро Челкар, на речку Солянку… Знаете, как таблак в степи цветет? Как будто миллионы раскаленных угольков кто-то насыпал повсюду…Вот это абсурд так абсурд!..

— Ты без очереди влез, — урезонила его Натаха, — значит, вопрос опять Артуру. Что такое счастье? Или его тоже не бывает?

Артур задумался. Егорий почему-то смотрел на него неприязненно, и чем дольше, тем больше. Хороший парень, этот Артур, свой в доску, но в последний час от него просто тошнило. Случается же так!

— Счастье, конечно, водится на земле, — опять влез без очереди Егорий, — как жар-птица — все про него слышали, а видеть как-то не довелось… Правда, приходят время от времени какие-то герои, показывают перья будто бы от диковинной этой птицы, но перышки какие-то пожухшие, неяркие — у петухов хороших, пожалуй, пышнее хвосты…

— Счастье, — перебил его Артур, — это когда уже ничего не хочется? Так? Или кога еще хочется всего?..

— Скучные вы какие-то, — сказала Натаха, и почему-то стало понятно, что следующий вопрос она задаст про любовь, и опять выходило, что очередь отвечать Артуру. И как это женщины умеют управлять всем на свете?

Но тут их настигла Фиолетовая крыса. Егорий взял наизготовку биту, Артур достал из кармана нож с выщелкивающимся лезвием.

Крыса была молода, почти подросток (другая информация о фиолетовых крысах строго секретна), и когда только успевают их обучать боевым искусствам? Известно было, что фиолетовая крыса делает до шестидесяти выстрелов в секунду из простого нагана, причем, больше половины пуль улетает мимо цели (для устрашения свидетелей), но зато остальные попадают, куда надо и не надо. Хорошо крысы печатали на машинках, набирали тексты на компьютере — до трехсот знаков в минуту. Но люди боялись сотрудничать с фиолетовыми тварями. Первым, кто сломал свой страх и привлек крысу (конечно, недешево) к перепечатке своего нового романа был писатель Иванов.

Крыса зашипела. Артур и Егорий встали спинами друг к другу — приготовились к смертельной схватке. Так просто они не дадутся в ее раскрашенные лапы!

Крыса зашипела снова, но оружия не доставала — ни саблю из ножен, ни наган из желтой кобуры. Больше того — она отступила на пару шагов, наверное, для того, чтобы стремительнее броситься на государственных преступников. Наконец, она потянула саблю из ножен, было

бы солнце — блеснул бы в его лучах клинок дамасской (на самом деле выкован на кузне завода имени Ворошилова) стали.

И, вдруг, крыса швырнула клинок по ноги беглецов, за клинком наземь полетел и наган.

— Возьмите меня с собой? — глухим крысиным голосом проговорила фиолетовая крыса. — Я пригожусь. Я много чего умею…

Артур и Егорий на минуту потеряли дар речи. Они никогда прежде не слышали, чтобы крысы переходили на сторону повстанцев; почему-то беглецы уже считали себя повстанцами. Только не Натаха, она не считала. Она презирала (выяснилось это недавно) как революционеров, так и контрреволюционеров. Она, как и Егорий, впервые видела боевую крысу, но в ступор впадать по этому поводу не собиралась.

— У тебя чулок распустился, — сказала она ей. — Сзади… справа…

— Ой! — воскликнула крыса, и смущенно улыбнулась.- Эти чулки на мне просто горят.

И она из-под ресниц взглянула на Егория. Хорош был станочник, ничего не скажешь. Даже на фоне старинных, блеклых пожарищ, мимо которых им предстояло проходить.

Крыса принялась разглядывать чулок, при этом поднимая юбку до бедер.

— Синтетика, что с нее возьмешь, — сказала она таким мирным тоном, как будто всего минуту назад не они готовы были поубивать друг друга. — Так, принимаете меня в ваш отряд?..Верьте мне…

— Нет у нас никакого отряда, — сказал Егорий, очарованный крысой. — Просто вместе идем… Нам в одно место надо… К родственникам. Может, слышали такую местность Богырлай?..Так вот они там живут…Там еще озеро есть — тоже так называется — Богырлай…

Крыса строго взглянула на него, прислушалась к какому-то неясному звуку, и сказала:

— Встроенный в мочку моего уха компьютер уверяет, что нет давно никакого Богырлая — высохло озеро, закипело и испарилось за один день, и люди здесь не живут уже тридцать лет…

Артур поднял наган и саблю; саблю в ножнах, повозившись, подвесил на поясном ремне, наган навел на крысу:

— А теперь говори, что ты задумала! И на кого ты работаешь? Кто тебя послал?

— Странный ты…- ответила она. — На кого в этом мире может работать крыса? Конечно, на Ликурга Шестнадцатого. А послал меня конкретно Димон — начальник секретной службы. А то, что я задумала — сказала уже. Хочу перейти на вашу сторону. Если не прогоните, это произойдет впервые в истории. До этого ни одна фиолетовая крыса не попадала в плен, и уж тем более — не сдавалась добровольно.

— Чего ради тебе сдаваться? Пайка у вас сносная, бараки теплые, ежегодно два выходных дня, эвакуироваться с Земли будете в самом первом отряде кораблей, вместе с Императором, — сказал Артур, выказав знание предмета. Но откуда, ведь крыса засекречена, находится в перечне высших секретов Империи?

— В том-то и дело, что никаких отрядов кораблей не будет, — сказала крыса. — Ликург с компанией рванет на первой же ракете, я сама слышала их с Димоном разговор… Не будет никаких ковчегов, все это брехня… Император торопится, ученые пугают его, что солнце взорвется со дня на день…

— А чего же строят на всех заводах? — спросил Егорий. — Я сам пропасть всяких болтов и заклепок произвел…

Крыса тяжело вздохнула и сказала:

— Тут придумана большая якобы хитрость…По сути дела нет пока никакого корабля… Заводы давно в руинах, тысячу лет никто ничего не производил, кроме всякой дряни: то многоразовые бабские прокладки, то говорящие цитатники, то спрэй для портянок… Разве под силу сегодняшним инфантилам, не прочитавших даже сборника гималайских сказок, создать хотя бы что-то гранди-

озное, ну, или похожее на грандиозное? И тогда решено было строить гигантский космический корабль по частям: один делает шуруп, другой гайку, третий собирает унитаз, четвертый бьет заклепку — всем нашлось дело — плотникам, бетонщикам, лудильщикам, даже членам союза писателей. Многие взяли работу на дом: бухгалтеры щелкают костяшками счет, составляя галактические сметы и отчеты; экономисты изо всех сил добиваются экономии межзвездных ресурсов; трамвайные диспетчеры разрабатывают предполагаемые маршруты трамваев на предполагаемых планетах… — и всем объявлено было, что заняты они чрезвычайной работой. Если шуруп, то обязательно «шуруп невиданной прочности», если гайка, то «повышенной твердости», если болт, то непременно «сверхпрочный»… Никто не знает всего объема работ, даже самые посвященные, никто не видел чертежей ракеты, да и есть ли они? Это будет стихийный корабль, если будет… А в новогоднюю ночь должна состояться сборка ракеты, естественно «великая сборка». Все обязаны будут доставить на сборочную площадку свои гайки, шурупы, заклепки, кнопки, клавиши, отвертки, струбцины, шерхебели, карбюраторы, шпиндели… В эту ночь и родится корабль. Тысячи и тысячи людей будут своими руками собирать его из миллионов деталей… И в эту же ночь Ликург с сатрапами улетит прочь!

— Да… — сказал Егорий. — Интересно, конечно, но это и не было большим секретом. Все мы вытачивали свои болты, и знали, что они пойдут на Ковчеги…

— Но кто из вас знал о сборке? — спросила крыса. — Надо писать это слово с большой буквы — Сборка… О ней должны объявить днями, ведь до нового года всего-ничего…

И словно в подтверждение ее слов, где-то из-под облаков прогремел металлический государственный голос:

— Слава Дисциплинарию! Слушайте важнейшее сообщение! Слушайте! Хвала владыке вод и земель, звезд и планет, газовых туманностей Ликургу Шестнадцатому! Его Человеколюбие повелел объявить, что 31 декабря состоится Великая Сборка. Исторический день! Прорыв к

всеобщему благоденствию! Каждый должен явиться на сборочную площадку со своими болтами-гвоздями-лобзиками, потому, что судьба мира в их трудолюбивых руках! Вместе создадим Ковчеги, вместе шагнем в будущее! Не забудьте — 31 декабря! Не забудьте!

— Теперь все уши забьет напоминаниями, — сказал Артур. С неба тотчас проорали:

— Слава Дисциплинарию! 31 декабря! Не забывайте! А сегодня вечером состоятся показательные казни, увлекательные пытки, где каждый может испытать себя в роли палача. Не пропустите! Сообщается также, что с сегодняшнего дня повышаются цены на предметы роскоши: чай, керосин и сайру бланшированную.

— Так берете меня? — в который раз спросила фиолетовая тварь.

— Куда от тебя денешься, — ответила Натаха, которой крыса не пришлась по душе.

— Нужно постараться проникнуть на корабль, — сказала крыса, — только так можно спастись… Солнце на пределе…

Они шли по берегу реки, в воде слышались тяжелые шлепки, удары.

— Рыбы-то сколько! — удивился Егорий. — Откуда?.. Я думал, что все реки давно выкипели, а вон оказывается не все… Жизнь живет…

— Скоро на реке станет лед, вот она и прыгает, — сказал Артур. — Зимой подо льдом не порезвишься.

Они решили встать на ночлег на самом берегу и постараться поймать на уху, хотя всегда существовала опасность быть засеченным беспилотником службы слежения. За сегодняшний день они пару раз видели эти бесшумные самолеты, с одного по ним был даже открыт огонь из пулемета, но промазала летающая машина убийств.

У Егория в подкладке фуражки всегда хранились пару рыболовных крючков, кусок капроновой лески. «Мы — деревенские, да, Натаха? — сказал он. — Нам без снастей нельзя. Правда?

Он сел на какой-то корявый, кривой пенек. Было неудобно, на зато он занял место между Натахой и Артуром.

— Ловись рыбка… — проговорил он и забросил удочку. — Сейчас!..

Вдруг раздался мощный всплеск, другой, третий, как будто кто-то в воде хотел привлечь к себе внимание. И на самом деле беглецы увидели у самой поверхности огромного меднобокого сазана.

— Привет, мужики, — поздоровалась рыба только с представителями мужского пола. Наверное, женщины со сковородками некогда нанесли чувствительный урон ее племени.

Мужики смотрели на сазана, потеряв дар речи.

— Это андрагонная рыба, — сказал всезнающий Артур, и от костра сверкнули на него глаза Натахи. — В народе она известна, как золотая рыбка.

— Ничего себе рыбка, — сказал Егорий, — килограммов на двадцать потянет. Из одной варки ведро ухи выйдет.

Золотая рыбка плеснула обмахом (а хвост бывает у коровы), прокашлялась (ничего не скажешь, в воде сидеть уже холодно — кажется, октябрь) и наконец вымолвила:

— Вы с ума сошли — андрагонную рыбу на уху пускать? Во мне одних шестеренок полпуда…

— Тут зубов не напасешься, — согласился Егорий. — Так какая от тебя польза?

— Вот дает, неуч! — сказала андрагонная рыба. — А желания выполнять? У меня вот целый каталог с желаниями… Каждый спит — и видит встречу с золотой рыбкой, мечтает о ней, а ты — темнота, собираешься меня под нож!

— Желания! — встрепенулась крыса. — Закурить бы сейчас!.. Но я ничего просить не стану… Помните, конечно «не верь, не бойся, не проси?»

— А я не откажусь, попрошу сигарет, — сказал Артур

— Пожалуйста! — ответила золотая рыбка и перед ним появилась пачка сигарет.

«Ма-хо-роч-ные, гост 16 — 20. Моршанск», — прочитал он на пачке, и закричал андрагонной рыбе:

— Это что за курево? Термоядерный табак! А с фильтром есть?

— Конечно. Болгартабак. «Стюардесса», «Вега», «Ту-134»… Выбирай!

— Мне «БТ»…

— И все? — соблазняла золотая рыбка. — Можно коньячку хорошего, например, «Плиску»…

— И все бесплатно что ли? — заинтересовалась Натаха.

— Почти бесплатно, — ответила обитательница глубин. — А главное, хоть пачку сигарет взял, хоть коньяку французского — итог один.

— Какой итог? — спросил, закуривая «БТ» Артур.

— На выбор — или рудники, или галеры…

— Какие-такие галеры? — сигарета выпала из артуровых губ. — Сейчас таких нет… этих…кораблей, давно уже используется атомная энергия.

— Вот когда прикуют тебя к веслу, тогда и увидишь — есть галеры, или нет их, — сказала андрагонная рыба.

— Да я всего одну затяжку сделал, — заметно испугался Артур.

Золотая рыбка засмеялась:

— Хоть ползатяжки… Я обязана тебя сейчас же телепортировать в исправительно-трудовую эскадру. На первый раз срок небольшой — сорок лет на верхней палубе или тридцать на нижней…

— Тридцать!!!

— Пролетит незаметно время, там столько интересных людей!.. Сейчас, например, на триреме «Быстрая» во втором ряду прикован к веслу один из олимпийских чемпионов — за применение допинга, а соседом с ним — великий парикмахер века… Парикмахер закован по навету…

— Надеюсь, вы шутите, — закричал Артур. Было видно, что ему как раз не до шуток.

— Приготовьтесь к телепортации, — сказала рыба. — Причешитесь хотя бы…

— Не буду причесываться! — завизжал Артур. — Уберите эту каракатицу… Что же делать?..

— Вот с этого вопроса нужно было начинать, а не бросаться в крик, — андрагонная рыба подплыла к самому берегу.

— Естестно, — за все придется отвечать, — начала она, глотая буквы. — Люшь кататься, люби и саночки возить!.. Об этом не стоит забывать. Вот вы думаете, наверно, что уколов иголкой кого-нибудь слегка, чуть-чуть, почти безболезненно, вас не приговорят за это к казни. Но как вы ошибаетесь: в нашем мире наказуемы не действия, а намерения. Да и не только в нашем… Удар меча, укол иглой — не все ли едино?.. Но, не бледнейте, не падайте духом!.. У нас на галерах существует гибкая система скидок и отсрочек, как раз идет запись. Можете записать себе отсрочку наказания на сто лет. А хотите, на двести лет?..

— Хочу, — повеселел Артур. — А на пятьсот лет есть отсрочка?

— Есть! — торжественно сказала андрагонная рыба. — Я, как представитель правительства на водах, обязана вам заявить, что у нас есть все в рамках расширенного и обновленного каталога. Правительство не имеет другой цели, как улучшение благосостояния народа…

— Заткнись! — не выдержала крыса. — Еще скажи, что к отсрочке в пятьсот лет полагается бутылка водки?

— Как раз это я и хотела сказать, — с торжествующей улыбкой на губах произнесла рыба. — Только не водка, а коньяк — восемьсот пятьдесят три грамма выдержанного, армянского, и почти целый лимон…

Она достала из холщевой сумки, болтавшейся у нее на боку, бутылку, лимон и несколько серебряных (из луженой жести) рюмок.

— Так записывать вас на пятьсот лет? — спросила она, открывая бутылку.

Артур потянулся за рюмкой:

— У меня разве есть выход?..

Андрагонная рыба улыбнулась:

— Выход есть всегда. Даже если ты на крючке. Но вот как найти его?.. Мой дедушка, когда был еще совсем мальком, попал в бредень. Любознательный был сазанчик, везде совал свой мокрый нос, ну и в итоге залетел в самую мелкоячеистую сетку — потыкался-потыкался, а делать нечего — добро пожаловать на свет белый! Думал, что не миновать ему котелка, но решил еще побороться — никогда не вредно за себя побороться, даже, если сегодня и нет в этом нужды — боритесь в запас, потому, что придет время, и никто не придет вам на подмогу. Потому, что все заняты борьбой за самих себя. Никто не протянет руку…

Так вот, дедушка перевернулся вверх брюхом (тогда еще — брюшком), притворился задохнувшимся. Другие бились, как безумные, пытались выпрыгнуть из бредня, но только больше запутывались, а дедушка лежал, прикрыв глаза, и молил Всевышнего, чтобы удался его нехитрый план. И в очередной раз трусость и расчетливость спасли очередную жизнь. Рыбаки собрали в мешки крупную рыбу, в ведра — трепыхающуюся мелкую рыбешку — сгодится на животку, а задохнувшихся покидали в воду. Дедушка с тех пор обитает только на глубине, и не пытается поближе рассмотреть сетки, бредни и неводы…

— Врешь ты все, золотая рыбка, — сказала Натаха. — Про трусость и расчетливость…Это у вас под корягами так, у андрагонных, а у людей иначе… Вот Артур и Егорий помогли же мне…

— Сильно помогли?.. — насмешливо спросила рыба. — Ты на Полигоне была ведущим спецом, Егорий — лучшим станочником, а сейчас вы все беглецы, отверженные. И вам ни за что не попасть на Ковчеги…

— Есть у кого-нибудь гарпун или багор — проткнуть этого разжиревшего наглого пескаря? — спросил Егорий.- Жалко, что несъедобный…А это звучит, как «неполноценный»…

Пока беглецы вели непонятную какую-то беседу (совершенно ни о чем, согласны?), Егорий наладился таскать карасей, крупных, светлых, икряных, без малейшего

признака андрагонности в глазах. Крыса и Натаха нарезали тальниковых веток, насадили на них карасей, развели огонь, и еда получилась царская. Только андрагонная рыба с негодованием отказалась от угощения, сказала:

— Хоть далекие, но все-таки это родственники мои. Глотать, давясь, только что поджаренную родню — не по мне.

— А что, собственно, это такое — андрагонные организмы? — спросила Натаха. — Вот мы находимся рядом с таким организмом, а сами не ведаем — что он такое. Может, он вред здоровью человека наносит?

— Еще как наносит! — рассмеялась рыба. — Что-то вы все очень подозрительные, как жулики или беглецы… Вы не жулики?.. Хотя я жуликов люблю, они только мелкие рыхлители народного сознания. Вы только вдумайтесь, ведь по сути своей жулики подталкивают людей в союзники власти, они как бы заедино ведут борьбу с жуликами… А рассказать вам о всепланетном ордене андрагонности я не имею никакого права. Это мировой секрет!.. Скажу только, что одна из его задач — противоборство с ОРГБОРЧУДОм, есть такая организация.

— Никогда не слышала, — сказала боевая фиолетовая крыса.

Андрагонная рыба шумно плюхнулась в реку, зафыркала, во все стороны полетели брызги. «Она не от сазана произошла, — подумал Артур, — а от тюленя или бригадира тракторной бригады… А почему, собственно, от бригадира? Может, от шахтера?»

— Ну, давай, записывай на пятьсот лет, — крикнул он ей.

Золотая рыбка тотчас подплыла к берегу, протянула Артуру блокнот, на обложке которого было коряво написано: «Журнал осужденных на галеры».

— Расписывайся, что в добром здравии и полной памяти идешь на отсрочку исполнения приговора, — сказала рыба и Артур поставил свою закорючку.

В ту же секунду она щелкнула кнопочкой на какой-то коробочке, которую достала все из того же холщевого мешка. Сверкнула молния (и это поздней осенью; вообще

замечено, что любое таинственное действие сопровождается молниями — и летом, и зимой. Нет, не зря мы боимся молний и грома — ни фига мы о них не знаем) и грянул гром. Тут же, что-то большое, вопя дурным голосом, повалилось рядом с костром и покатилось к реке.

— Что случилось, что? — переполошились беглецы. — Уж не солдаты ли настигли нас?

Солдат не было. Солдаты давно привыкли не торопиться, и несмотря на то, что погоню возглавлял сам Димон, наделенный чрезвычайными полномочиями, солдаты тащились еле-еле, опасаясь повстанцев, а больше всего мутантов, издавна населяющие радиоактивные леса в районе тридцатых шахт. Все знали, что время от времени из шахт стартовали баллистические ракеты и куда-то улетали, но — куда? И кто их запускал, если давным-давно все в этих шахтах проржавело и обрушилось, ракеты упали с пусковых столов, оружейный плутоний из головных частей продан еще в прошлом веке?..

Солдат задерживали ежедневные карательные уроки, так из называл Димон. Те, из местных жителей, кто не успел спрятаться, были вынуждены слушать лекции о вреде радиации, о вреде курения и сливочного масла, а после лекций каждого десятого слушателя законопачивали в ящики из-под чая; чая давно не было, и пустые ящики пригодились.

— Так, что же все-таки рухнуло? — подала голос боевая крыса и бросилась к темному предмету, лежавшему около самой воды. Она пригляделась и увидела Артура, запакованного в какую-то прозрачную пленку. Трудно было при свете костра рассмотреть, где у него руки, ноги, но общая конфигурация этого живого (еще живого?) куля была понятна — это было колесо.

— Что это такое? — строго спросил Егорий у золотой рыбки. — Твоих плавников дело?

Рыба опять залилась смехом:

— Конечно! Не могу ведь я позволить, чтобы наш сотрудник рисковал собой в каких-то сомнительных предприятиях. Всего в трех километрах отсюда висит беспи-

лотник, и скорее всего он атакует вас. Вы будете убиты!.. Прямой убыток нашей призывной-вербовочной-добровольческой фирме, вон сколько коньку выпили, лимон сожрали. А теперь рекрут-галерник упакован в андрагонную тару, снабженную пространственным маяком-навигатором, беспилотники опознают такой груз и не стреляют по нему. Так что, вам рядом с ним вполне безопасно… Во всяком случае, до утра, когда за ним придет специальный глиссер.

— Ты же обещала отсрочку! — закричала возмущенно Натаха. — Бессовестная!..

— Фирма свои обязательства выполняет неукоснительно, — ответила золотая рыбка. Рекрут ступит на нижнюю палубу галеры ровно через пятьсот лет, а до этого будет храниться в андрагонном складе в свежезамороженном виде; там он скоротает время, а кроме того, получит хорошее образование: рекрутам мы даем полный курс андрагонности, введение в галереведение, фундаментальную лирику, историческую казуистику — во сне за пятьсот лет он изучит пятьсот дисциплин. Мечта!..

— Сейчас же освободите его! — подступил к рыбе Егорий с битой наперевес. Тотчас вокруг нее замерцал защитный экран.

— Кишка тонка! — хохотнула рыба. — Защита «А»… Если приблизишься хотя бы еще на шаг, будешь объявлен государственным преступником и поражен электрическим разрядом в сто тысяч вольт.

В подтверждение своих слов, рыба опять щелкнула кнопочкой, опять полыхнула молния, и тотчас ярким пламенем загорелся осокорь, склонившийся над рекой.

Егорий остановился.

— Помогите! — едва слышно донеслось из андрагонного колеса, в котором был замурован Артур.

— Держись! Артурчик! — закричала сердобольная Натаха. Егорий отметил про себя: «С каких пор этот… этот… стал для нее Артурчиком?»

— Через пятьсот тридцать лет увидитесь, — сказала золотая рыбка, и окуталась золотистой защитной дымкой, — ну, а мне на боковую пора. Да, не вздумайте ночью попытаться освободить рекрута…это чревато для вас… Впрочем, не буду вас пугать — если что, сами убедитесь. Да и на ночлег я устроюсь поблизости. В общем, утро вечера мудренее.

Удрученные, стали укладываться. Принесли из степи несколько охапок жесткого осеннего сена, поверх сена расстелили кусок брезента, который захватили из дома Натахи, поверх брезента тонкие байковые одеяла.

— Может быть, и не замерзнем до утра, — предположил Егорий.

Ему досталось лежать на самом краю, за ним улеглась сметенная Натаха, а с другого края примостилась боевая фиолетовая крыса, — еще та штучка, кто знает, чего от нее ждать?

Золотая рыбка устроилась у ствола рухнувшего с яра дерева, и начала храпеть, как солдат в казарме. Время от времени она подплывала к своему рекруту — на месте ли глупый галерник? Тот только негромко стонал.

Порт-монет, порт-сигар, биф-строганов.

Натахе было совсем не холодно между крысой и Егорием. Но неуютно. Если она поворачивалась в сторону друга детства, то ей начинали мешать его руки. Егорий то касался ее талии, то его ладонь, медленная, но настойчивая, пробиралась к ее бедру и норовила забраться еще дальше; его губы вообще бесчинствовали, тыкались ей в шею, норовили запечатлеть поцелуи на руке, плече — везде, куда только могли пробиться.

Она шепнула ему: «Спи!». Но только раззадорила его, он принялся рассказывать, как скучал без нее, как думал только о ней, как писал ей письма, но не отправлял, конечно. Однажды даже сложил для нее стихотворение, но тоже не отправил. Как-нибудь вспомнит, прочитает ей. А вспоминала ли она их трансформаторную будку? А новеллы Бокаччио?

Она вспоминала, часто вспоминала, но тут его неумелая рука добралась до ее груди, и она резко повернулась к крысе. Егорий пробурчал что-то обиженным тоном, но через минуту она почувствовала его руку у себя на плече.

Крыса спала, не снимая боевую броню, не выпуская из рук оружие. Все было бы ничего, но латы впивались Натахе прямо в бок, и долго вытерпеть эту пытку было невозможно. Она опять повернулась к Егорию.

— Тебе что, Артур понравился? — тут же прошептал он ревниво.

— С чего ты взял?

— У меня глаза со мной, вижу…

— А ты что, ревнуешь? — сразила она его вечным вопросом, на который никто не ждет честного ответа.

— Хороший он, кажется, парень, но очень доверчивый, — сказала она, немного помолчав, вытерпев очередную его ласку. Теперь он гладил ее живот, и рука как бы сама собой сползала ниже.

— Как бы ему помочь? — спросила она. Его рука добралась до кромки ее трусиков; он готов был пообещать ей все, что угодно.

— Часа в четыре, под утро, посмотрим, что там к чему. А сейчас пусть этот пескарь андрагонный уснет, — сказал Егорий, тяжело дыша.

— Ты просто прелесть! — обрадовалась Натаха и чмокнула его в щеку. Он тотчас завоевал еще сантиметр дороги к счастью.

Она решила, что дальнейшее продвижение его руки может и ее завести неизвестно куда, и это в то время, когда красавчик Артур лежит, запакованный в какой-то пластмассовый куль.

— Руку убери! — строго сказала она Егорию, и тот нехотя подчинился.

До четырех почти не спали, разговаривали. Притом Егорий вспоминал свой разъезд, трансформаторную будку, говорил о новых станках, которые сгнили на складах; Натаха рассказала о значении гайки, которую они разработали — эта гайка может спасти человечество; крыса лежала молча, только время от времени трещала суставами рук, — и они умудрялись понимать друг друга, и не терять нить разговора. При этом Натаха еще и прислушивалась к стонам, идущим из андрагонного куля. Видать, запал ей в душу этот пришелец из несуществующего города. И чего она в нем нашла?

Эх, себе на беду зазвал Егорий Артура в эти полигонные края. Тот и сам не хотел, но Егорий так красочно расписывал лесополосу, врал про то, что здесь водятся не только толстенные луговые суслики, но и лисы, косули, а однажды там видели настоящего уссурийского тигра.

Артур, конечно, не поверил, но понял, что отказать другу он не может, уж столько красок вложил Егорий в свой рассказ.

Да, Натаха влюбилась в Артура.

— Ну, что, пойдем выручать гостя? — спросила она у Егория, едва часы показали четыре.

— Я сам схожу на разведку, — сказал тот и неохотно поднялся. В голове мелькнуло: «А, может, Артуру лучше на галеры?..Там заодно и подучится?»

Но ему стало стыдно своих мыслей и он двинулся к берегу, где на ледяном песке лежал свернутый в колесо Артур.

До рассвета было еще далеко, но где-то вдалеке вспыхнула лампочка, застучал колесами на стыках паровоз.

«Полустанок, разъезд!» — догадался Егорий. И тут же у него родился план спасения Артура. План был с сумасшедшинкой, но как часто именно такие планы и приносят требуемые результаты?

— Натаха, я скоро вернусь, — сказал он ей. — Не скучай!..

И растворился в ночи.

«Неужели, бросил?», — мелькнуло в Натахи в голове, и она даже головой затрясла, отгоняя свои сомнения.

Прошел час и небо на востоке порозовело. Вообще, она давно отметила, что небо на востоке всегда краснее, чем на западе, а звезды ярче и ближе к земле. Она однажды была на испытаниях галактических заклепок, кото-

рые были так секретны, что проходили на Самом Дальнем Востоке. И вот там она видела звезды с кулак величиной, казалось, что их не собирают в корзинки для углей только лишь потому, что они обжигаются, а небо казалось раскаленным как плита русской печки. «Наверное, на востоке воздух чище, чем на западе, — думала она, — вот поэтому и создается такой эффект. А, может, в атмосфере востока растворены какие-то неведомые восточные краски, и ученые пока только пытаются понять кем они растворены и для чего».

Где-то опять забился на рельсах паровоз, забрехала собака и стало еще тревожнее. Что-то во сне пробормотала андрагонная рыба.

«Неужели?..» — не успела она додумать эту мысль, как зашуршали кусты и из зарослей тальника вывалился человек с огромным мешком через плечо.

— Не пугайся, — сказал Егорий, — это я.

— Что ты такое приволок? — спросила она.

— Думаю, что это самое грозное оружие против карасей, пескарей и может быть даже окуней.

— Автомат Калашникова? — гадала она. — Но откуда здесь может оказаться автомат?..

— Автоматы и пулеметы есть повсюду, — ответил Егорий. — Человек сначала изобретает наган, а потом уже стиральную машину. Но ты права, я притаранил не автомат.

— Ну, не томи…

— Как ты думаешь, кто самый заклятый враг карасей?..

Она задумалась.

— Ну, что тут думать, — сказал он и потянул ее за руку к берегу реки. Через пять минут они оказались в двух шагах от спящей золотой рыбки. Егорий запустил руку в мешок и тотчас раздалось злобное шипение.

— Какой агрессор! — сказал Егорий и вытащил из мешка огромного звероподобного кота.— Этот вечно голодный котенок, которого, как мне кажется, могут звать Барсиком, как будто нас тут дожидался, он не хотел покидать курятник, где устроил засаду на мышей, но я ему пообещал славную охоту на реке.

Кот опять зашипел, ему явно не понравилось находиться в мешке.

Егорий несильно размахнулся и бросил кота на ствол рухнувшего в реку осокоря, у которого похрапывала андрагонная рыба.

— Разве коты едят андрагонных рыб? — спросила негромко Натаха.

— Будем надеяться на это, — ответил Егорий. Он хотел еще что-то сказать, но в это время Барсик (а, может Пушок, Васька или Вельзевул?), заметил золотую рыбку и сейчас же сбавил громкость шипения, припал на передние лапы и стал медленно подползать к храпящей рыбе.

— Так рыба-то в два раза больше кота, — продолжала сомневаться Натаха, — а зубищи у нее какие, ты видел?..

— Разве дело в зубищах? — сказал друг ее детства. — Тут важно, кто кем питается… Ты хоть когда-нибудь слышала, чтобы рыба задрала кота? Не слышала? И не услышишь, потому, что рыба существует на свете для котов, а не наоборот, и пусть хоть сто раз она пройдет процедуру андрагонности, и вместо сердца и половых органов у нее будут поставлены шестеренки, все равно кот сожрет ее, или хотя бы сильно надкусит.

Пример про половые органы Егорий привел не случайно, ему захотелось для чего-то смутить ее. Для чего?

Но она не смутилась. Тем временем Вельзевул сменил змеиное шипение на вопль — должно быть, боевой клич, и впился когтями в андрагонную плоть, напичканную шестеренками, маховиками и микрочипами. Золотая рыбка успела только воскликнуть «Караул, обездвижели!», как Васька перекусил ее становой провод, вышиб предохранители, и поволок безжизненную рыбу в свое обиталище.

— Ура! Мы победили! — закричала фиолетовая крыса, видевшая гибель андрагонного монстра. — Ай, да Егорий! Вот она, крестьянская смекалка!

— Я — потомственный пролетарий, — надулся гордостью станочник, гегемон.

Принялись обсуждать свои родословные, у кого они были. Выяснилось, что беглецы из хороших семей, все

плохо-хорошо учились в школе, а одна — в Физико-Физическом Институте Секретных Конструкций (мы знаем, что это Натаха), все, когда приходилось, держали вилку в левой руке, а нож наоборот — в правой, все были против насилия, но андрагонную рыбу не жалели, вот нисколечко не жалели.

Боевая Фиолетовая крыса хотела пожалеть, но вспомнила про галерников, прикованных к тяжеленным веслам, про тысячи обманутых, мающихся отсрочкой в морозильниках, и не стала жалеть.

За разговорами совсем забыли про Артура, даже Натаха. Мучимая угрызениями совести, бросилась к упакованному кавалеру (почему, собственно, она думала о нем, как о своем кавалере?), и принялась срывать с него куски пластика. Крыса протянула ей нож:

— Режь!..

Та неизвестно о чем подумала, но отшатнулась от ножа, продолжила руками рвать пластмассовые путы. Не прошло и получаса, как Артур поднялся на ноги, кряхтя и стеная. Сказал «Спасибо» и убежал в кусты. Вслед ему хмыкнула крыса:

— Прижало, молодца…А чего, спрашивается, копил? Пластмасса, поди, герметичная?..

— Не смешная твоя шутка, — сказала Натаха. — Человек столько перенес!..

— Ах, прости! — улыбнулась крыса. — И тебя, вижу, прижало…Но иначе… От твоей хвори тоже кусты помогают.

— Крыса, да еще циничная! — обиделась Натаха. — Зря мы тебя взяли с собой.

— У вас, милые мои попутчики, выхода не было, — строго сказала крыса. — Кстати, в моем вчерашнем задании было записано: «настигнуть и уничтожить!». Я настигла…Молите Создателя, что я перешла на вашу сторону.

— Ладно, ладно, — согласилась с ней Натаха.

Но крыса не услышала ее.

— Мир полон страстей, — продолжила она. — Сам мир — страсть, так мы всегда готовы подлить в него, как

вино в переполненный кубок, еще и еще своих любовей, разводов, расставаний, кажущихся нам роковыми не замечая что из кубка уже льется через край… Вы, люди, умеете любить всегда через край, ненавидеть только до зубовного скрежета — инстинкты, заложенные природой, вы для чего-то превращаете в абсурд — с дуэлями, доносами, клятвами, слезами и часто в итоге с ненавистью… Вы готовы полюбить с полоборота, вы сходитесь друг с другом, как в бою. Вы охотно ставите слово «любовь» в один ряд со «смертью». Вот наш, крысиный, мир, холоден, но прекрасно организован. Поэтому нас больше, чем людей, в нас больше гармонии…

— Посмотрите наверх, — перебил ее Егорий. — Беспилотники. Целых три… Сейчас будут атаковать.

— Все в кусты! — закричал Артур, появившийся из зарослей тальника.

— Ну, нет, — пробурчал Егорий, — лучше под огонь безпилотников, чем в кусты после этого сына Майны…

Крыса достала наган, взвесила его на ладони, как будто за ночь он мог стать тяжелее или наоборот — легче.

— Эта игрушка против ракет беспилотника?- спросил Артур. — Шутите?

Крыса промолчала, разглядывая чудом уцелевший после пожаров лесок. У самого берега лежало несколько поваленных осокорей, а дальше, примерно в полукилометре, желтела октябрьскими листьями целая роща.

— Если сумеем добежать до рощи, то может быть и спасемся, — сказала боевая крыса. — Предлагаю бежать по моей команде…

В это время в небесах что-то захрипело, прокашлялось, и завелась знакомая уже волынка:

— Слава Дисциплинарию!.. Его Человеколюбие повелел объявить, что 31 декабря состоится Великая Сборка. Исторический день! Каждый должен явиться на сборочную площадку со своими болтами-гвоздями-лобзиками… Вместе создадим Ковчеги надежды, вместе шагнем в будущее! Не забудьте — 31 декабря!..

Крыса истошно завопила «Вперед!» и первая бросилась в сторону рощи. За ней все остальные.

Поднебесный голос еще прокашлялся и добавил:

— Объявлена вне закона боевая субстанция с бортовым номером тридцать тысяч один, известная как боевая фиолетовая крыса, перешедшая на сторону враждебных элементов. А также вне закона объявлены станочник двести тридцать первого завода космической фурнитуры под номером Ж-166, бывший инженер-конструктор Полигона под номером Э-122. Все, кому известно местонахождение этих изгоев, вставших на путь предательства, должны немедленно сообщить об этом властям, или принять меры к их уничтожению!.. Слава Дисциплинарию!..

— Про Артура ни слова, — почти обиделась крыса, петляя между пнями, обуглившимися стволами деревьев. — Это странно…

— Может, он шпион? — предположил Егорий, мчавшийся к спасительному леску бок о бок с крысой.

— Как вам не стыдно? — закричала Натаха. Она замыкала цепочку бежавших. Возглавлял ее Артур.

В воздухе раздалось шипение — один из беспилотников запустил ракету. Длинная, тонкая, как палка, ракета просвистела над объявленными вне закона и взорвалась далеко впереди — у самой рощи.

— Скорее! Скорее! — закричала крыса. — У них, должно быть, с утра оптика запотела. — Если ударят залпом — не промахнутся.

Но один из беспилотников опять принялся громыхать про сборку 31 декабря, другой опустился почти на головы беглецов. Крыса остановилась на секунду и выстрелила в самолет. И сразу поняла, что попала. Наверное, в эту самую запотевшую оптику, потому, что аппарат начал на самом деле вести себя, как слепой. Он задрал нос и стал набирать высоту, но поднялся совсем невысоко, как будто силы у него кончились; он вдруг сорвался вниз, как больной канатоходец, и врезался в землю.

— Ложись! — закричала крыса. — Сейчас ракеты начнут рваться!..

Бегецы рухнули в траву, тяжело дыша, но уже с небольшой надеждой: до леска оставалось не больше сотни метров, а этих стреляющих стервятников стало меньше.

Крыса опять прицелилась в беспилотник, и опять попала. На этот раз, должно быть, в боезапас. Самолет окутался черным дымом и внезапно взорвался со страшным грохотом. Тут же взорвался и самолет, врезавшийся в землю минуту назад.

— Урррааа! — закричал Артур. — Один остался!

Но оставшийся как будто и не собирался стрелять, в очередной раз завел свою песню про 31 декабря, про Сборку. А потом принялся заводить музыку — начихать ему было на погибшие самолеты. Он включил на полную громкость забойную песню прошлого века «Два кусочека колбаски», а потом над степью, лесом, рекой поплыл «Пушкинский вальс», и Натаха удивилась, кто здесь может любить Прокофьева?

«Он должно быть умеет вытаскивать музыку из наших голов, — догадалась Натаха. — Но у кого в голове песня про колбасу?»

— Бежим дальше! — скомандовала фиолетовая крыса, и первой бросилась к леску. За ней остальные.

Через пять минут все были под защитой (какая-никакая, а все-таки защита) деревьев, сидели, привалившись спинами к прохладным стволам.

— Нам на север? — спросила крыса у Артура.

— Откуда я знаю, — ответ прозвучал обескураживающее, все думали, если Артур вырос в этом подземном городе — Майне, то не может не знать дороги к нему.

— Город-то подземный, в него можно войти и с севера, и с юго-запада, и с запада… — принялся он объяснять, но его никто не стал слушать, потому, что раздался дребезжащий грохот и на яр вылезли танки, немного — десятка три. Приземистые броневые чудовища были построены с учетом последних веяний танковой моды — они могли закапываться в землю на глубину сто пятьдесят метров и оттуда стрелять полезными ископаемыми, сея панику. Также танк был вооружен гибкой шерстяной пуш-

кой, боеприпасы которой наводили ужас на врагов — они разбрасывали чумных мышей и тушканчиков на расстояние трех километров.

— Шерстяные танки! — прошептала крыса. — Сейчас засосут мышей со всей округи, нужно молиться, чтобы среди них не было чумных…

— Уходим!.. Уходим! — скомандовала крыса, и беглецы помчались в глубину леска. И тут опять помог беспилотник. Может, он тоже, как боевая крыса,хотел примкнуть к похитителям гайки повышенной точности? Самолет запустил еще одну ракету и на этот раз не промахнулся — напрочь отлетела башня шерстяного танка. Оставшиеся танки принялись трусливо закапываться под землю. Через десять минут на поверхности остались только кучи рыхлой земли и контейнеры с мышами и тушканчиками.

— Этот народец нужно отпустить, — сказала сердобольная Натаха. — Вот они-то наверняка знают, где вход в Майну.

Оказалось, что на самом деле грызунам были известны все входы-выходы в мятежном городе, и один из них был как раз поблизости. Мыши даже знали по случаю пароль для стражи, и довольные друг другом они расстались, и люди с фиолетовой крысой двинулись в одну сторону, а степной народец — в другую, но мир тесен, может они еще и встретятся?

— Люди часто встречаются, — сказал Егорий, — обреченных на вечную разлуку среди живых немного. Но вот подмечено, что пока люди не видятся — они тоскуют, полны нежности к тем, по ком тоскуют, а повстречались — и как будто им сказать нечего. Из этого я делаю вывод, что человек существо неразговорчивое, о лучших его качествах до сих пор неизвестно. Говорят: самопожертвование, любовь, ум — дескать, всем этим человек набит до краев. Но куда девается эта любовь-ум, когда надо вывалиться из грязного окопа и пробежать сто метров с винтовкой наперевес по раскисшей от дождей глине и зарезать штыком вон того белобрысенького, что старательно целится в тебя из автомата; а лучше успеть зарезать парочку белобрысых, для надежности боя — пока эта парочка не всадила в тебя всю обойму. Так где тут самопожертвование?

Натаха взгянула на него: и когда он таким стал?

— На что ты намекаешь? — спросила она. —Любовью обделен?..

— Зато у меня тайный шуруп есть! — ответил он невпопад.

Клип, агент, таблоид…

Хотя степной чумовой народец уверял, что до Майны рукой подать, добирались до подземного города месяц. Два раза отбивались от беспилотников, несколько раз на горизонте появлялись шерстяные танки, но атаковать не решались. Пытались перехватить беглецов скоростные голубиные стаи, но друзья легко ушли и от них. Видимо, что-то разладилось в управлении войсками, или разладилось во всей империи. Даже грозные фарфоровые слоны, также, видимо, посланные в погоню, пронеслись на бреющем полете над самыми головами, и не заметили ни людей, ни приметную издалека фиолетовую крысу.

— Империя потеряла хватку, — сказал Артур.

— Или ей уже совсем безразлична судьба Земли, — сказала крыса.

Егорий принялся размышлять вслух. За время скитаний и отрыва от императорских ищеек, он сносил три пары башмаков, которые он по мере надобности воровал в селениях, городах, мимо которых они проходили. Этим не обходились, таким же путем добывали пропитание. Однажды даже подоили корову, которая призывно ревела в чьем-то сарае.

Необходимость воровать сделала Егория философом; нужно было хоть как-то оправдывать клептоманию. И хотя Егорию ни разу не попались башмаки по размеру, и с ног не сходили кровавые мозоли, он не ленился писать тем, кого они обворовали, подробные записки с указанием вещей и продуктов, которые они реквизировали во имя идеалов повстанческого движения, с обещаниями все, до

единой хлебной крошки вернуть тотчас после победы над тиранией.

— Все-таки хорошо, что наш Император улетит отдельно от нас, — сказал он, — со своей челядью (жадной, жестокой, продажной). В итоге где-то в космосе возникнет новая цивилизация — людей, которые за всю свою жизнь не сказали ни слова правды, — только льстили, только кланялись, только кляузничали. И вовек по настоящему не работали, ждали подачек с барского стола…

— Представляю себе эту цивилизацию, — сказала Натаха, — Жуть!.. Так, может и не стоит добиваться мест в ковчегах?..

Крыса засмеялась:

— А кто тебе припас эти места, преступнице, беглянке?

— Купим новые паспорта в подземных переходах! — беспечно ответила Натаха.

— А вторая цивилизация разовьется из повстанцев, — фантазировал Егорий. — Вот с этими, не приведи Господь, встретиться. Эти станут расстреливать за все. Любишь? — в расход! Не любишь? — в петлю! Сомневаешься? — в мясорубку! Равнодушен? — в прорубь! Высокий? — в топку! От горшка два вершка? — живьем в землю! Грамотный — вырвать язык! Даже читать не умеешь? — в урановые рудники навечно!..

— Между прочим, я родился и вырос в повстанческой столице — Майне, — обидно стало Артуру, — и тамошний народ, как видите, не вырвал мне язык…

— Даже наоборот, — пробурчала боевая крыса.

— Но самая страшная цивилизация может возникнуть из тех, кто окажутся никому не нужными, кому не удастся попасть ни на одну ракету… — продолжал Егорий. — Брошенные, разочарованные, отверженные, готовые на любую жестокость, они станут кошмаром вселенной…

— Тебя послушать, так ничего хорошего в мире нет, — сказала Натаха, и задумалась.

Егорий ничего не ответил.

Либидо, бусидо, харизма…

Вечерами укладывались на ночлег, строго соблюдая как бы сам собой установившийся порядок: Натаха с крысой в центре брезента, а Егорий с Артуром по краям, причем Егорию доставалось спать со стороны фиолетовой воительницы, а Артур неизменно оказывался рядом с Натахой.

Ночью долго не могли уснуть, ворочались, вздыхали, смотрели на звезды. Потом, кто-нибудь заводил разговор о прошлом; ни о настоящем, ни о будущем никто говорить не хотел. Вспоминали, как ходили в лодочные походы по реке, как целовались в нагретых на солнце палатках, как проказничали в школе… Выходило, что прежде были расчудесные времена, дождей было больше, но они были короткими, зато радуги едва помещались на небе и пахли степными цветами. Рыбы в реках было полно, она охотно ловилась на красных бойких червей, которых было полным полно в арыке на Форштадской — чуть копни влажную, перемешанную с палыми листьями, землю, и собирай в пустую консервную банку этих упругих созданий.

В прошлом дни были намного длиннее, часов на десять, — решили беглецы. Зимы были морознее, лето жарче, осень красивее…

А какая водка была замечательная! К водочке природа создала соленые огурчики и челкарскую селедочку. Селедочка была малосольная, жирная, огурцы крепкие, хрустящие (специально выводили хрустящие сорта), в кадках в погребах хранились моченые яблоки, крупчатое топленое масло — чистый мед. Сейчас ничего такого днем с огнем не найти.

А вывод из всех ночных разговоров был простой: время все портит. Люди раньше верили, что чем дальше сумеешь забраться в глубь веков — тем будет лучше; чем больше накрутится столетий на календаре, тем больше будет счастья, но получалось наоборот. В средние века сожгли дюжину еретиков, и теперь никто иначе и не говорит, как «мрачная эпоха средневековья», а совсем недавно — всего

лет двести назад — изобрели специальные печи, которые работают на человеческом топливе, — и ничего, уже поговаривают, что это достояние истории, из нее, из истории, словечко, даже такое страшное, не выкинешь.

Прежде налетит нетрезвая дружина со своим заполошным князем во главе, кого посекут, кого в полон утащат, девок испортят не дюжину. Так годок—другой пройдет, отстроят кремли и поскачут с ответом: в полон возьмут их заполошного князя, пожгут терема, девок перепортят несчитано, так многограмотные несторы во всех своих книжищах написали, что случались, дескать, лихолетья, и войной, и мором людишек побило. А на следующих страницах тех книжищ немногословно отмечали, что тьму чад нарожали испорченные басурманами девки — костистых, скуластых, узкоглазых, в общем, русских.

А нынче в плен стараются не брать, чем кормить-то ораву? Девок не портят тоже, дружинники современные все больше промеж себя обходятся, а каких напасть постигла, за грехи, должно быть, это когда думаешь, что хочешь, а оказывается — не можешь.

Меньше других говорил о прошлом Артур, как будто у него прошлого было совсем мало.

И он, конечно, верил в будущее. Это у него, наверное, от повстанцев. Но самое противное, что было в нем — он по вечерам, когда устраивались на ночлег, пытался что-то шептать Натахе…

Нет, все-таки и это было не самым противным в нем, а то, что Натаха слушала его, а иногда в ответ сладко улыбалась.

Егорий был мрачнее тучи, и как не пыталась крыса расшевелить его, ничего у нее не получалось. Но она не теряла надежды…

Однажды Егорий проснулся под самое утро. Было еще темно, но заря уже угадывалась. Плескалась в речке ранняя рыбешка, в камышах что-то чмокало, похрипывало, ворочалось… И, вдруг, сквозь эту рассветную какафонию к нему пробился иной звук, от которого его бросило в жар. Он тихонько приподнялся на локтях. Так и есть,

Натаха целовалась с Артуром — страстно, взасос, и даже слегка постанывала.

Егорий одеревенел. Как же так, его Натаха стонет от страсти под каким-то гражданином из подземного города, в общем-то чужаком? И откуда он только взялся, кто его привел?

Он тут же вспомнил, кто его притащил — он сам и притащил его за собой к Натахе, зачем?

Егорий готов был закричать, когда в постепенно рассеивающейся мгле рассмотрел, как Натаха обняла Артура, прижалась к нему всем телом, а он положил свою руку ей сначала на грудь — она застонала громче, а — потом подвинул ладонь ниже — на живот, и еще ниже, еще…

И вдруг Натаха, бывший конструктор гайки повышенной прочности, девушка нравственная и серьезная, согнула ноги в коленях, да так, что соскользнуло с ее ног одеяло; Артур только прикоснулся к ее коленям, как она тут же развела их.

Ужас! Как это пережить?

Он закрыл глаза, отвернулся, заткнул пальцами уши, чтобы не слышать любовные стоны.

Соло, пончо, патиссоны…

Внезапно он почувствовал, что кто-то легонько толкает его в бок. Кто же это может быть, если Артур и Натаха заняты? Конечно, фиолетовая крыса! Только ее не хватало!

— Может, оставим их? — предложила она. — На заре клев должен быть отменный. Думаю, что Натаха и Артур еще не сейчас вспомнят о нас…

Егорий молча встал и зашагал, не оборачиваясь, к видневшемуся невдалеке небольшому озеру.

— Клев, как и отсутствие клева, нужно просто пережить, — сказала крыса, догнав мрачного Егория, — а потом, проходит день или год, или десять лет, и все оказывается не таким, как казалось вначале…

— Ты что, утешительница всех скорбей? — сказал он. — Или интерес имеешь?

— Имею, — не стала врать она. — Но у меня характер другой, я приставать не стану, не бойся…

Он, наконец, поднял на нее глаза. Наверное, она была самой женственной из всех боевых фиолетовых крыс. Длинноногая, загадочная; сму не хватило бы слов, чтобы описать ее, даже если бы она не была так строго засекречена. Хотя осталось ли что-нибудь секретное в рассыпающейся, гибнущей Империи? Может, и с крысы само собой снято клеймо секретности?

Он невольно залюбовался ее статью, ее панцирем, оружием, сияющим в первых лучах солнца. Ему словно передалась часть ее решительности, ее не всегда понятного оптимизма.

— Ничего, — сказал он. — Ничего…

Клев и в самом деле был отменным, но рыба ловилась только радиоактивная, зашкаливали даже установленные повсюду имперские счетчики Гейгера, отрегулированные для спокойствия народа показывать излучение в сто двадцать раз меньшее, чем на самом деле.

Егорий отложил удочку, крыса даже и не разматывала леску.

— И все-таки скажи, почему ты с нами? — спросил он. — Ты — страшно секретное и несокрушимое оружие Империи, вдруг, оказываешься на стороне тех, кого тебе положено хватать, уничтожать, тащить в узилище?.. Ты одной левой могла бы с нами всеми расправиться, получить награду, новое звание, а ты ловишь со мной, государственным преступником, карасей?

Крыса улыбнулась:

— Может, мне интереснее со слабыми, такое может быть? У сильных все понятно: тяжелые шерстяные танки, боевые крысы, чесночные бомбы; им на роду написано всегда праздновать победу. А как побеждать слабым, какие хитроумные комбинации вынуждены будут придумывать они, сколько смекалки, изобретательности потребуется им?..

В это время как будто землетрясение всколыхнуло берега озера, земля вырвалась из-под ног, в почве образовались трещины. Егорий, пытающийся удержаться на ногах, заметил, что трещины как бы обозначают на земле правильные геометрические фигуры — квадраты, прямоугольники, треугольники. В центре озера образовалась воронка — сначала небольшая, едва заметная, но она быстро увеличилась, в нее с шумом начала уходить вода. На берег прибежали всполошившиеся Натаха и Артур. Егорий даже не посмотрел в их сторону.

Тем временем образовавшиеся на земле геометрические фигуры пришли в движение, как автомобили в час пик, и они явно старались занять свое место в иерархии треугольников и квадратов.

— Что это? — спросила Натаха.

— Думаю, что перед нами открываются подводные ворота в Майну, город беглецов и отверженных, — сказала крыса. — Здесь величайшие изобретения местных ученых, эпохальные открытия, невиданные прозрения человеческого гения направлены на то, чтобы спрятаться ото всех, закопаться, замаскироваться. Чтобы никто не увидел, чтобы никто не услышал, чтобы никто не догадался. Здесь не живут, а прячутся…

Между тем, все фигуры, видимо, заняли свои места и на месте озера образовался огромный люк, к которому вела широкая гранитная лестница. Завизжал покрытый ржавчиной механизм, открывающий люк, и проржавевшие металлические створки поползли в сторону.

— От нас, видать, не прячутся! — сказал Артур, и обида за родной город прозвучала в его голосе. — Понимают, что своих…

— Особенно фиолетовая крыса им своя, — сказала фиолетовая крыса. — Давно уже в мире все всем чужие. Может, просто механизм, открывающий люк, испортился? Посмотри, сколько тут ржавчины.

— Чего тут гадать-разгадывать, — сказала Натаха, — нужно спускаться в люк, иначе дождемся массированного удара беспилотников…

И тут же в небе над входом в Майну показались беспилотные самолеты.

— Скорее, скорее! — прибавили шагу беглецы. Запретный, подземный мир открывался перед ними…

— Чувствую себя, как Садко, — сказал Егорий.

Глава двенадцатая: казнь Пахома Пахомовича

— Тебе, мужик, повезло, — сказал палач Пахому Пахомовичу, — тебя казнят в праздничный день. Народу соберется — прорва, наверняка сыщутся добровольцы — вот уж будет потеха!.. Для добровольцев инвентарь припасен плохонький, ржавый, казнимому одно мученье, а народу, конечно. развлечение…

Если вдуматься, какие ныне у народа праздники — новый год, хуеловин, да вот ночью под Ивана Купалу шалим — и все!.. Где день революции? День второй революции? Наконец, день пятой революции? Где они, спрашиваю я вас, где?

Пахом Пахомович сидел на холодном заплеванном асфальте, прислонившись к свежевыкрашенному (праздник — есть праздник) эшафоту — хоть эшафот поставили походный, он все-таки придавал публичной экзекуции торжественности, создавал на площади праздничную атмосферу.

Рядом с бывшим технруком Полигона, уронив голову на грудь, сидела бывшая Оберкапо дома Нина Арнольдовна; головой своей она время от времени вращала, как будто сомневалась, что та все еще на плечах.

— Может, сегодня добровольцев не будет? — с надеждой спросил Пахом Пахомович у палача. Тот только хмыкнул.

— А вы в каком звании будете? — бывшему технруку так хотелось поговорить.

Палач приосанился:

— Мы свою родословную ведем от самого Сансона, — горделиво ответил палач. — А звание наше — Мастер Первой руки.

— Что это значит? — побледнел бывший технрук.

— Сейчас узнаешь! — подала голос Нина Арнольдовна. — Молюсь Дисциплинарию, чтобы тебя первым изрубили на кусочки!.. Я буду хохотать, как безумная! С девкой не смог справиться, позор! Теперь получай! Кретин!

На площади перед императорским дворцом постепенно собирались люди. Зрелище, конечно, обещало быть замечательным, но все были озабочены иным: считанные дни остались до 31 декабря, до исторического дня Великой Сборки, до вселенского исхода. Обсуждали, что с собой брать, а без чего вполне можно обойтись. Было разрешено брать не больше тридцати килограммов ручной клади на человека, и на каждую семью полагался небольшой двухсоткилограммовый контейнер. Как решить, что важнее — сковородки или ножи, книги или пластинки с записями Клавдии Шульженко?

— Удочки и спиннинг нужно брать обязательно, — рядом с эшафотом разговаривали двое мужчин. — Кто-то мне рассказывал, что на Проксиме клев просто сумасшедший. Хотя, наши космонавты, кажется, еще не добрались туда, откуда же про клев известно?..

В поднебесье в тысячный раз завелось объявление: «… Слава Дисциплинарию! Хвала владыке вод и земель, звезд и планет, газовых туманностей Ликургу Шестнадцатому! Его Человеколюбие повелел объявить, что 31 декабря состоится Великая Сборка… Исторический день! Не забудьте — 31 декабря! Не забудьте!»

Площадь почти заполнилась, прибыли духовой оркестр и любимая Ликургом Государственная Академическая Народная рок-команда. Оба прославленных музыкальных коллектива одновременно включили фонограммы. Духовой оркестр начал выступление с Гимна Империи, рок-команда принялась лобать старый бугешник «Не целуйся с этой сукой!»

Народ еще больше оживился, когда помощник палача притащил огромную корзину с любительским пыточным инвентарем. Каленые щипцы, ужасающего вида крючки, чугунные молотки, кинжалы и прочие инструменты не вполне ясного применения — всего этого было в изобилии. Пахом Пахомович был близок к обмороку.

— Не спи, сейчас повеселимся! — тормошила его Нина Арнольдовна.

Стали потешать народ мастера юмористического цеха. В их арсенале были анекдоты, скетчи, репризы. Народ радостно аплодировал удачным шуткам. Один юморист орал во все горло, перекрикивая гром оркестров: «Ведут преступника на электрический стул, и палач говорит ему: «Сообщите адрес ваших родных». «Вы пришлете мой прах?» — спрашивает осужденный. «Нет, — отвечает тот, — мы пришлем счет за электроэнергию».

Палач на эшафоте захохотал во все горло, раскладывая щипчики, буравчики, пилочки.

— Пытать будете? — спросил бывший технорук.

— Мучить будем, — улыбнулся потомок Сансона.- У меня сегодня юбилейная казнь — двухсотая. Хочу чтобы она стала образцово показательной. Уж будьте спокойны — я постараюсь!..

Технорук сполз в подозрительную лужу на асфальте, встал на четвереньки и быстро-быстро перебирая руками и ногами побежал прочь от страшного эшафота — на длину цепи, которой он был к нему прикован. Цепь была довольно длинной — для прокорма, потому, что осужденных никогда не кормили, считалось, что ради потехи их будут подкармливать зеваки, пришедшие посмотреть на казнь. А кроме того, чего их кормить, переводить дефицитные продукты, если через минуту — другую у них голова слетит с плеч. Да и аппетита большого у них не было. В общем, цепь оставляла осужденным некое подобие иллюзии, сумасшедшей надежды. Бывшая Оберкапо обреченно крутила головой, не двигаясь с места, а бывший технорук время от времени убегал на четвереньках на всю длину цепи, протягивал грязные руки к людям, но, кажется, никто ему особенно не сочувствовал. Начальство, хоть и бывшее, почему-то не любят в наших городах и селах. Кто-то бросил Пахому Пахомовичу надкусанную эрзац-шоколодку, он только зарычал на нее.

Наконец, запели трубы. Шоу начиналось. Народ придвинулся к эшафоту, Пахома Пахомовича прибило человеческой волной прямо к лестнице, ведущей к плахе.

Вышел в чем-то красном, синем, оранжевом, желтом и фиолетовом Имперский герольд, взмахнул руками и торжественные трубы умолкли. Гарольд огляделся: микрофон лежал у самой плахи, видимо кто-то из палаческой команды уже присмотрел себе эту ценную вещь. Хоть она, конечно, не работала (кто сейчас на публичные казни использует исправную технику?), но пару мань за нее выручить можно.

«Жулье!» — подумал герольд и сунул микрофон себе в карман. Из другого кармана достал свернутый в трубочку Указ Императора, развернул бумагу и закричал в пространство над площадью:

— Хвала Дисциплинарию! Куратор=Император милостиво указал, чтобы в нынешний день получили по заслугам негодяи, проявившие преступное небрежение, что могло бы повлечь за собой тяжелейшие последствия, если бы на пути преступников не встали доблестная служба Охраны и лично Димон, Живущий для народа. Эти негодяи действовали в сговоре с бандой изгоев, которые, как могли, саботировали строительство Ковчегов надежды, и даже сумели прельстить миллионом мань одного… одну… из нестойких изобретателей секретных конструкций — конечно же, с деструктивными намерениями. Не все из этих врагов Империи пока заключены в узилище, но это только вопрос времени. Но эти двое (герольд показал рукой на Пахома Пахомовича и Нину Арнольдову) должны узнать всю меру народного гнева! Эти изверги заслуживают лютой смерти, но наш человеколюбивый властитель…»

Герольд сделал затяжную паузу, даря осужденным миг надежды, а потом продолжил: «… властитель передал судьбу негодяев в их же руки. Сейчас на эшафот вынесут две чаши с чистой родниковой водой и две чаши со смертельным ядом. По вкусу и цвету их не различить. Если кому-то повезет выпить воды, то ему будет дарована жизнь…»

Гул разочарования пронесся над площадью. Не такого зрелища ждала толпа. Четвертования, повешенья, бичева-

ние голых женщин — вот, что придавало перцу скучной жизни обывателя. На худой конец сошел бы расстрел быстро прорастающими марсианскими колючками, или хотя бы единоборство без оружия. Женщина вон какая рослая, она так просто не сдалась бы этому, потерявшему человеческий облик, бывшему технору́ку. Но Император повелел — яд!

Преступников вывели на помост. Пахом Пахомович был грязен, как ноябрьская ночь в Тлдыпане (и где он, этот Талдыпан?), он шарил глазами по толпе, почему-то ему захотелось, чтобы на площади оказались его знакомые, зачем? Ему показалось, что он заметил сменного мастера подземного ракетного цеха, и бывший технорук стал махать ему рукой. Но, скорее всего он ошибся. В подземных цехах было сейчас не до развлечений, вспомогательная работа по строительству ковчегов шла и днем, и ночью.

Нина Арнольдовна была спокойна, казалось спокойной. «Вот как все вышло, — думала она, — по сволочному получилось… Для чего я кисла в военном училище, жила в общаге, где в одну комнатку было втиснуто двенадцать коек, просиживала за учебниками по теории управления массами, для чего?»

Постепенно в ней нарастало раздражение: верой и правдой служила Империи, а что заслужила? Стакан с каким-нибудь медным купоросом? Ведь и помереть не дадут по человечески, заставят корчиться от ужасной боли, наверняка, станут продлять страдания.

Помощники палача вынесли чаши, поставили возле злоумышленников.

— Сами будете пить или силком заливать? — спросил потомок Сансона.

— Не хочу! — закричал Пахом Пахомович. Его схватили, опрокинули навзничь, кинжалом разжали зубы и в мгновение ока влили в него содержимое одной из чаш. Технорук захрипел, повалился на помост эшафота, принялся кататься по занозистым доскам.

Нина Арнольдовна мужественно (площади это очень понравилось) взяла одну из чаш и выпила все из нее крупными глотками. Отошла от плахи, тяжело дыша.

Помощник палача приподнял Пахома Пахомовича, встряхнул его:

— Вставай, чего валяешься! Еще и обделался от страха… Тьфу!..

Герольд опять обратился к площади:

— Преступники невредимы! Великодушие нашего Императора не знает границ. Обеим злодеям оставлена их презренная жизнь, в чашах не было яда! Славьте Дисциплинарий!

Площадь слабо зашумела: с одной стороны люди остались живыми, с другой — толпу лишили зрелища. В последние годы почти не стало истинно народных развлечений: ни кулачных боев — микрорайон на микрорайон, волость на волость, провинция на провинцию; прежний Император обещал, что для кулачной потехи могут быть созданы кулачные дивизии, рукопашные армии, но, как водится, нет старого императора — нет и его обещаний… А куда подевались, скажите на милость, гонки на асфальтовых катках, почему запретили федерацию бокса на раскаленных углях?..

— Что с нами будет? — спросила Нина Арольдовна у палача, хмуро собиравшего не пригодившийся инвентарь.

— Насчет вас никаких распоряжений не имею, — ответил за него герольд, — уносите ноги, пока про вас не вспомнили. Впрочем, распорядителем казни был Вольный Граф Зачаганский, Живущий для Народа, он как раз сюда идет…

— Все-таки скомкано мероприятие, — сказал Граф Зачаганский Нине Арнольдовне. — Я предлагал провести хотя бы заключительное бичевание второй степени, но на самом верху (он показал пальцем куда-то высоко над своей головой) мне отказали. Так что, свободны, господа уголовники и шпионы. Пока свободны…

Нина Арнольдовна поклонилась Графу, сбежала по лестнице с эшафота и через минуту смешалась с толпой,

медленно рассасывающейся на площади перед императорским дворцом.

А Пахом Пахомович остался на площади. Снятые него цепи он аккуратно собрал и перетащил к воротам, ведущим в Императорский парк, уселся рядом на асфальт. Сначала сидел молча, неподвижно, потом стал раскачиваться, мычать. И, наконец, запел. Вернее, заговорил нараспев. И тотчас его окружили зеваки, кто-то прицелился в Пахома Пахомовича фотоаппаратом. Бывший технорук выводил: «Купите, купите, купите цепь, это самая надежная, самая незаменимая деталь в устройстве мира…Вы все собираетесь в новый мир, но как в нем обойтись без цепей?.. Купите, купите!.. Это воплощенная в чугуне реальность номер два… Вы еще не забыли, что реальность номер один в нашем мире — это жизнь. Если это вообще реальность… А, может, цепь — наипервейшая наша реальность? Купите, купите на дорожку цепь!.. А, вдруг, реальности нет совсем, а?..»

Наконец, охрана в парке решила положить конец этому концерту. На самом деле, разве порядок, если у ворот Императорского парка, который за глаза называют Вампираторским, поет какой-то бродяга. Наверняка свихнувшийся. Смасшедший, пора ему в белый дом.

Подошел медицинский транспорт на конной тяге, и Пахом Пахомович был усажен в карету без всякого почтения. А один ефрейтор даже закатил бывшему технорук в ухо.

Что с ним стало потом, никому не известно. Во всяком случае его песня не прижилась в народе, не стала застольной, под нее не маршировали ветераны Пятой Освободительной революции, ей не подпевали Черные Скауты.

Магнат, магнит, базилик…

Глава тринадцатая: Исход

Ликург стоял у окна своего кабинета и смотрел: на улице уже какой день нарастал поток людей, направляющихся к месту сборки Ковчегов.

Он сказал Лидии Второй:

— Нам нужен абсурд, ведь он и есть самый главный аргумент действительности. Трехголовый человек, летающие жабы, женщина с семью грудями — ее опоры. Я очень бы тревожился, если бы у нас время от времени не появлялись говорящие грибы, человекоядные кузнечики, если бы никто не сочинял фантастических романов…

Лидия Вторая не вникла в суть проблемы, улыбнулась:

— Есть абсурд или нет абсурда — кому это интересно? Пора проверить, как идут сборы. Вот, действительно головная боль — что взять с собой, что оставить? Я видела, что в зале приемов на полу целая россыпь драгоценностей… жемчуг, гранаты, даже на бриллианты люди равнодушно наступают. Примусы стали дороже автомобилей… Вот абсурд!..

Ликург Шестнадцатый только вздохнул.

Во дворце хлопали двери, гремела посуда, под ногами хрустели битое стекло и изумруды. Челядь носилась из угла в угол, создавая неразбериху, шум и гам. Даже в кабинет Императора то и дело звонили, спрашивали: «Пятиметровый глобус Земли брать? Упаковывать все семьсот парадных мундиров Ликурга?..»

За последние месяцы Солнце как будто потяжелело, хмуро смотрело на Землю, ученые опасались, что Сборка и Эвакуация может затянуться, и тогда ничто не спасет планету вместе с Ковчегами.

От многого пришлось отказаться. Решено не отягощать корабли знаменитой бесконечной библиотекой, писателям дай волю, так они за пару лет наваракают две таких библиотеки. После долгих споров в Диване, на первые Ковчеги взять только десять первых жен Императора, конечно же, со всей обслугой. (А мы-то с вами знаем, что ракет будет всего ничего, может одна, от силы две… А, может, и столько не понадобится.)

Фото и видео архив Империи тоже оставляли на Земле; ничего ценного, по мнению специалистов, в нем нет, все, как на любой заштатной планете: непрерывная стрель-

ба, бесконечные бунты, эпидемии куриного гриппа, — в общем, все легко наживется и на новой планете.

Бросали на обреченной Земле и все музыкальные записи, кроме Гимна Империи: не до песен теперь.

Но не забыли боевые знамена, они еще потрепещут на ветру неведомых планет! Конечно же, Ликург приказал бережно упаковать замечательную свою винтовку Мосина, может и ей найдется работа в далеких краях?

Император без радости смотрел на великие сборы, но и без особого сожаления: миру полезны встряски, миру полезно двигаться — хоть в другую галактику, хоть к своему концу.

Фиолетовый, а в душе он никогда не переставал быть фиолетовым, вызвал Димона, и тот рассказал, как в народе восприняли потешную казнь бывших Оберкапо и Технорука.

— Слава Дисциплинарию, все обошлось! — докладывал босс охраны, — — Не было ни возмущений, ни волнений, головы людей заняты предстоящей Сборкой и Эвакуацией. В массы внедрены тринадцать тысяч специальных групп для выявления и подавления беспорядков, им даны самые широкие полномочия. Разрешено даже открывать огонь на поражение, старшие групп получили полные боекомплекты быстро прорастающих марсианских колючек. Есть у этих отрядов и совершенно секретная миссия: распространение анекдотов, самых скабрезных матерщинных, самых похабных, самых циничных. Нужно добиться, чтобы планету охватила беспричинная эпидемия ржачки, чтобы хохот не выглядел кощунственным даже на кладбище. Смех разрушает любую организацию; не случайно все повстанцы, карбонарии, революционеры суровы, как шаманы. Все «оводы» панически боятся даже простой улыбки. Показаться смешными для них страшнее, чем умереть.

— Все записные остряки брошены на борьбу с повстанцами, — сказал Димон. — Надеемся, что нам удастся задуманное.

Император, обычно скупой на похвалы, объявил Димону благодарность, призвал не жалеть усилий для наведения порядка, даже если придется танками по головам.

— Танки крепче голов, — согласился Димон.

— Надеюсь, вы задумались и над тем, как нам придется обустраиваться на новой планете? — просил Ликург. — Я имею ввиду поддержание порядка…

— Основы Дисциплинария будут положены в фундамент нового сообщества, — четко ответил босс охраны.

— Всецело полагаюсь на вас, — улыбнулся Ликург Шестнадцатый. — На кого же еще?..

Император подумал: не засиделся ли Димон, может, ему пора отправляться на фронт, воевать с андроидами. Посмертно можно Димона наградить еще одним орденом, не жалко.

От этой улыбки заныло в затылке у Димона и мелькнула предательская мысль о побеге. Но куда? С кем? Бросить нажитое? Одних золотых коронок собралось потихоньку более пяти тысяч… Но кому они будут нужны на новом месте?..А, может, еще сгодиться золотишко, зря знатные дамы выбрасывают драгоценности?..

Нет, нет, побег исключается.. Значит, значит… Он не стал думать о том, что это моежт значить. Он знал, что во дворце установлен новейший мыслеуловитель, и Ликург знает, о чем думают придворные. И совершенно ничего не значит, что он живет так, как будто ему не известны все эти «старый козел», «урод накрашенный», «пора его подвесить за яйца», «отольются ему наши слезки»… Наоборот, надо ухо держать востро, не прозевать, когда Император нанесет свой удар, а то, что он его нанесет — нет никаких сомнений…

— Решено! — вслух произнес Димон, а подумать постарался о новейшем подразделении Гремучих Змей, которое подчинялось непосредственно Император, и тот, если бы захотел, мог бы в одну ночь избавиться от неугодных во дворце

Змеи были специально натренированы, беспощадны, действовали бесшумно, не то, что спецназ, и только перед

самым броском слышна становилась угрожающая трещетка, но было поздно. Знающие люди говорили: если услышал трещетку, то не торопись никуда, ты уже везде опоздал.

Как только Димон убрался, Лигург Шестнадцатый включил мыслеуловитель на воспроизведение. «Сука, сука, сука! — это Предводитель Депутатов Великого Дивана Маджонг Супрематович. — Как я его боюсь!.. Сильнее, чем ненавижу!» Император подумал, что наверное за такой животный страх старика-Маджонга надо поощрить

— Лидия! — позвал он. — Осталась ли у нас еще селедка — Каспийский залом?

—Та откликнулась моментально:

— Осталась. Но, Ваше великодушие, на прошлой неделе электричество отключали бессчетно, боюсь, что «залом» элементарно протух.

— Ничего, — усмехнулся Ликург, — тащи пару штук. Да, и скажи, чтобы этого старого осла Маджонга вызвали.

От селедки воняло за десять шагов, на Маджонг Супрематович ни разу даже не поморщился, держал рыбу, подаренную императором, на вытянутых руках, саблю, перед тем, как вырвать ее из ножен.

— Угощайтесь, — пригласил Ликург, — рыба с императорского стола…

Предводитель Депутатов (вот выучка у этих старорежимных мокрецов!) поклонился со сладчайшей улыбкой на лице и запустил сияющие никелем зубы в селедку. По рукам у старика потекло, вонь сделалась непереносимой. Лидия Вторая спросила глазами у Ликурга: может, вынести Маджонгу хотя бы тарелку, салфетки и немного воды? Император отвернулся. Маджонг продолжал жевать тухлую селедку, улыбаясь.

Индикатор мыслеуловителя, встроенный в наручные часы Ликурга, показывал максимальную силу ненависти.

«Так, мы не в детском саду, чтобы дружить, — подумал Ликург. — Ненависть никогда не лжет…С ней нам по пути».

Маджонг доел селедку, поблагодарил Ликурга, и вместе с ним волны тошноты испытали все придворные. Один

офицер охраны не выдержал и бросился в угол — рыгать, а Маджонг улыбался. «Не люди, нержавеющая сталь, — подумал Император, — ради себя родных будут, улыбаясь,жрать дерьмо…»

В мыслеуловителе сегодня собрался особенно щедрый улов. «Был бы холостым — пристрелил бы этого фиолетвового урода! Жену жалко, детей», — это Генеральный Куратор Полигона Демьян Третий, Живущий для Народа. Первым побуждением Ликурга было замуровать его по плечи в стену Отчаянья, чтобы в Самом Черном Подвале он неминуемо был бы сожран крысами. Но вспомнил, что Куратор отвечает за подготовку к Сборке, и подавил гнев. Еще будет время для страшной мести.

Придворный поэт Аристофан подумал строчкой из Пушкина: «…И чешется у вас рука по пустякам…». Хитрый сочинитель! Присосался к чужому, как к своему! Но все равно — и его за борт! Пока превратится в кусок льда, покувыркается недели две — три в ледяном пространстве, пока не сядут аккумуляторы. Бррр! Врагу не пожелаешь такого конца. Аристофан ему не враг, просто он назвался поэтом, не написав ни строчки, а это неприятно. Ни строчки, которую можно было бы назвать поэтической. Но таких поэтов большинство… Придет и их время кувыркаться в безвоздушном пространстве.

Оставим пока Ликурга разбираться со своими придворными, выясняя, что про него думают, (надо сказать, что тратил он время на занятие, конечно, не императорское и, честно говоря, совершенно пустое, потому, что придворные давно уже научились ничего не думать, а если думали, то так, чтобы Императору было приятно. Попадались только такие старые чудаки, как Маджонг Супрематович).

Вакцина, супрематизм, линия

А где же Нина Арнольдовна, жива ли она? Может, ликует, а может близко к сердцу приняла нынешнюю позорную экзекуцию, и строит планы мести?

Между тем, бывшая Заместитель Оберкапо дома уходила от императорского дворца все дальше и дальше. Она не сразу осознала, что идет, куда глаза глядят. Причем шагала она против течения; толпы людей вытягивались из столицы на юг, а она двигалась на север. Нам почему-то всегда кажется, что на юге хорошо, уже в мае можно купаться, девушки там почти голые и на юге не так страшно цепляется одиночество; мы не любим север, да и за что его любить — край каторг и пятидесятиградусных морозов. Край пустоты.

Иногда ее окликали, дескать, не в ту сторону идет, она в ответ слабо улыбалась: человеку, который еще утром должен был умереть на глазах толпы, не все ли равно куда идти. Разве в этот день было ей что-то припасено на Земле? Предполагалось, что даже солнца и самого воздуха ей больше не понадобится… Ее не должно быть среди живых уже более шести часов, так что, может быть, это шагает на Север не она, а ее пустота?

В высоте над ее головой опять завелся голос, призывающий не забывать о дне Сборки. Великом дне переселения человечества на другую планету. К до тошноты приевшимся словам в этот раз добавилось что-то новенькое. Поднебесный диктор призывал всех землян репродуктивного возраста в оставшиеся до переселения дни активно, сверхактивно заниматься любовью. Даже, если ее давно нет. Ученые посмотрели в микроскопы и телескопы и рассмотрели в той части космоса, куда предположительно должны отправиться земляне, правит бал жесткое рентгеновское излучение, могущие повлиять на детородную функцию; поэтому нужно заранее забеременеть. Причем предписывалось ни в коем случае не использовать противозачаточные таблетки. Каждый, кто откажется от соития, будет объявлен государственным преступником. Сегодня и до конца земных дней женщины не должны отказывать мужчинам. Даже если мужчина крив, горбат и изо рта у него пахнет дохлой кошкой.

«Ну, вот, — подумала Нина Арнольдовна, — организован всемирный бордель».

На всякий случай она подобрала валявшийся в придорожной канаве черенок от лопаты, но на нее никто не набрасывался. Стало даже чуть-чуть обидно. Пришли непонятные и непривычные размышления: неужели все так плохо — и в природе, и в умах, и в домах, что ни во что не ставят люди Божьи заповеди? Она вспомнила, как еще совсем недавно она сама поклонялась какому- то идиотскому Дисциплинарию, читала по вечерам Манифест Прав и Обязанностей Человека, в котором обязанности занимали пятьсот страниц, а права две строчки. Она даже засмеялась своему прозрению, и от нее шарахнулась, должно быть, целая семья, впряженная в пожарный автомобиль; бензина на заправках было не достать, многие грузили свой скарб в брошенные автомобили, снимали с машин все тяжелое — моторы, кабины, трансмиссии, и превращали автомобили в телеги. Такие «телеги» упрямо пробивались к месту Сборки, несмотря на то, что каждый полчаса с небес гремел голос, объясняющий, что весь лишний груз будет просто уничтожен огнеметами.

Лавина тележек, груженных драгоценным семейным добром, неостановимо двигалась на Юг. Брали с собой из дома пузатые сундуки, похожие на осадные машины, комоды пушкинских времен, ковры, о которые вытирали ноги сарбазы Тимура, самовары, способные напоить даже знаменитый римский легион Германика.

Люди любили свои вещи. Одна женщина плакала над фарфорофой собакой. Специальный патруль не позволил ей взять собаку с собой. Она кричала:

— Будь проклята эта Сборка! Надо остаться всем — и умереть под родными звездами!.. До чего дошли, даже альбом с фотографиями не разрешили взять, а это ведь память! А разве память — это не жизнь сама — наша горькая, наша такая чудесная?

Другая рвала себе волосы из-за того, что ей не разрешили взять крошечные саженцы — березки, яблоньки, черешенки.

— Не положено! — был краткий ответ.- Тайная карантинная служба специально следит за тем, чтобы не привезти на новую планету никакой заразы…

На окраине какого-то грязного, унылого городка горели приземистые строения. Кто-то поджег завод по производству спирта. Рассказывали, что налетела толпа мужчин, по обличью не повстанцы, не андроиды, принялись выкатывать полные бочки, раздавать спирт всем желающим, а желающими оказались все. Пока завод заполыхал, удалось вытащить много бочек, и началась повальная пьянка.

«Ведь еще пару дней назад подобное было невозможно, — подумала Нина Арнольдовна, — народ стремительно дичает. Власти уже все безразлично…

В придорожной канаве горланила песню пьяная гопкомпания. Громче всех орал оборванный детина в грязном полушубке. Он колотил по струнам расстроенной гитары, и почему-то было понятно, что он в этой банде верховодит: «Я помню чудное мгновенье…». Нина Арнольдовна прежде где-то слышала эту песню, но не могла вспомнить где. Скорее всего, в казармах бригады по наведению порядка.

Где теперь порядок? Там же, где бригада по наведению порядка — провалились в тартарары?

— Эй, красавица! — крикнул тот, который с гитарой, прервав песню на полуслове. — Слышала указ про женщин? Чтоб, значит, они никому не отказывали?.. Иди сюда, глотни спиртику, хорош спиртяга, душа поет от него!.. И чего эту огненную воду всегда от народа прятали?..А сами у себя во дворцах лакали!.. Жрали!..

Бывшая Оберкапо прибавила шаг, но было поздно. Трое из ватаги окружили ее, она почувствовала их руки у себя на спине, ниже спины, один, совсем еще мальчишка, обеими руками мял ее груди, тяжело дыша.

— Постойте, ребята! — закричал детина с гитарой. — Пусть выпьет сначала с нами, закусит, а потом может наслаждаться сколько ей влезет, точно? Мы же не звери, точно?

— Ну, пусть выпьет, — неохотно согласились насильники, налили Нине Арнольдовне, сами хлебнули из армейского котелка. «Уже и армейскую утварь принялись растаскивать» , — подумала бывшая Оберкапо.

— Интересный у меня выпал день, — сказала она парню, который не переставал тискать ее груди, — утром голову собирались как будто снести, а пару часов спустя предлагают хлебнуть спирта и почти супружеское ложе… Что же будет к вечеру, а ночью?

— Постой, постой! — закричал детина с гитарой. — Так это над тобой так мудровали на площади?..

Нина Арнольдовна выпила спирта, в горле полыхнуло огнем, ей протянули обкусанную луковицу, но она отклонила солдатскую закусь, спросила у парня:

— При всех будешь, или отойдем в кусты?

— Чего нам прятаться, мы по закону действуем, — заорал самый пьяный.

— Завязывай, ребята! — вдруг встал на ее защиту гитарист. — Она и так сегодня натерпелась, пусть успокоится, отдохнет… Найдите себе других, вон сколько молодух по дорогам шагает…

Насильники, поурчав немного, отступили, только самый молодой, как присосался к грудям, так и повис на них — не убивать же его?

Нина Арнольдовна пыталась отстраниться от него, но он прямо-таки застонал, видать, давно от груди его отняли. Нине Арнольдовне стало даже приятно, она полностью перестала отбиваться, да и парень не проявлял настойчивости: дальше грудей его ласки не шли.

— Он, наверное, маммолог, — сказал детина с гитарой. — Специалист, хоть и такой юный.

Все еще хлебнули из котелка, спаситель Нины Арнольдовны запел новую песню:

— Земную жизнь пройдя до половины…

— Какие у вас красивые песни! — похвалила его бывшая Оберкапо. — Наверное, народные.

— Точно, народные, — ответил он. — Только земная жизнь заканчивается вся…

И словно в подтверждение его слов, в небе разлился бледный фиолет, как разбавленные чернила. Солнце, клонящееся к закату,. стало почти черным, как при затмении, в короне его что-то заполыхало сразу в нескольких местах.

Лица людей стали тоже чернильными, только глаза горели ужасом перед неизвестным и необратимым. Многие вставали на колени, молились, хотя было строго запрещено: существует Великий Дисциплинарий, он рассудит, защитит, успокоит, при необходимости примет превентивные меры. Ученые утверждают, что удалось собрать и соеденить всю мудрость мира — и получился Дисиплинарий.

Но люди в последние дни потеряли разум, даже слушать не хотят ни о каком Дисциплинарии. Вспомнили о Боге! Нашлись древние книги, появилось рукописное Слово Божье, причем в один буквально день. Выходит, где-то в подполье сидели сотни, тысячи переписчиков?.. Как это могло пройти мимо тайных служб?

Небесный фиолет постепенно растворился, но было ясно, что это не случайно — не свет так упал, не звезды сложились в каком-то неведомом калейдоскопе, а что-то грозное и неотвратимое надвигается на Землю — и еще вернется жуткий фиолетовый закат, и вместе с ним что-нибудь пострашнее — много чего ждет впереди где-то проштрафившееся человечество.

— На Сборку путь держите? — спросила Нина Арнольдовна у предводителя с гитарой.

— Идем потихоньку, — ответил тот равнодушно. — Не очень верим мы с ребятами в эту Сборку… Посуди сама, кто-то сознательно сеет на планете большой хаос… Сознательно! Это почти не скрывается. Кому-то нужно, чтобы все перепуталось, затянулось в неразвязываемые клубки, завязалось в мильярд узлов, — и чтобы никому на свете не было понятно, что же на самом деле затевается? А что затевается? Что?

— Может быть, иссякает вместе с солнцем и запас вранья, а так хочется напоследок замесить такую брехню, чтобы и на новой планете звон от нее пошел? — предположила она, наконец, отодвинувшись от заснувшего у ее груди парня.

— Ничего исключать нельзя, — ответил он. — Тем более в эпоху фиолетового солнца…

Стемнело, и на позднем осеннем небе проявились звезды. Никто уже не удивился, что они фиолетовые, но все идущие к месту Сборки прибавили шаг, и как будто гул или стон прошел над дорогой. Путники озирались: кто стонет? Но выходило, что не стонал никто. Или стонали все?

Вся ватага постепенно успокоилась, наверное, спирт в котелках кончился. Ночевать остались в придорожной канаве, в которой пировали днем. Кто уснул, кто молча смотрел на удивительные звезды. А один мужик негромко плакал. Сначала показалось, что он смеется, и этому удивились. Но он плакал. Никто его не стал успокаивать, и он плакал и плакал.

— Ночь плача, — сказал мужик с гитарой.

Нина Арнольдовна добавила:

— А с рассветом начнется день плача…

Объектив, гальюн, букинг…

Мужик, который плакал, подошел к костру, вокруг которого размещалась ватага, и размазывая слезы по щекам, сказал:

— Днем плача начинается тысячелетие смеха… Хохота до колик… Между прочим, отсюда в двух шагах есть тайные ворота в Майну. Лично я туда отправляюсь… Пока не рассвело, можно проникнуть в этот овеянный легендами город…

И он всхлипнул.

— Так все просто? — усомнилась Нина Арнольдовна. — Тайные службы десятилетиями ищут этот секретный город, и не могут найти, а здесь прямо из придорожной канавы вход в столицу повстанцев, дебилов и андроидов?

Рыдающий мужик только махнул рукой, и полез напролом в кусты бурьяна.

— Пожалуй, я за ним, — сказал гитарист. — А, вдруг, правда, ворота тут есть? Интересно все-таки.

И он полез вслед за рыдающим, его всхлипы были хорошим ориентиром.

Нина Арнольдовна вздохнула и шагнула за ними в ночь. Не оставаться ведь в этой придорожной канаве, где куча храпящих мужиков, готовых исполнять императорский указ.

Глава четырнадцатая: Майна

Натаха, Егорий, Боевая Фиолетовая крыса и Артур даже ног не замочили, пройдя в Майну через ворота, открывшиеся в озере. Действовал такой хитроумный механизм, правда, тоже изрядно проржавевший, что человек оказывался под водой и над головой его плавали не вороны, а щуки, караси и огромные усатые сомы, и вся эта чудовищная масса воды не только не обрушивалась на жителей города, но даже защищала их. У этой воды были многие функции волшебной живой воды — она вылечивала без следа такие недуги, как ишиас, геморрой, ветрянка, герпес. А также бессонницу, диарею, чесотку — всего около шестисот недугов. Вода также хороша была от утренней болезни, и много страждущих с удовольствием пользовались этой драгоценной влагой, до которой только руку протяни — и она твоя.

Артур на правах сторожила объяснял:

— Город Майна — не полностью подводный город, некоторые его районы находятся в подземельях старых ракетных шахт, почти выходят на поверхность, а один район, кажется, Первомайский, уютно расположился в жерле действующего вулкана. Там горожан хранит специальная огнеупорная пленка, наподобие той, что используется в антипригарных сковородках.

На улицах города было многолюдно. Народ, который попадался беглецам, в основном был приветлив, улыбчив, но в уголках глаз многих майнев (или майнчан?) таилась тревога: Империя наносила удар за ударом по столице мятежников, правда, всякий раз без пагубных последствий для Майны (сказывались неточные прицелы, отсутствие подробных карт, разгильдяйство имперских военных, устаревшее вооружение), но и пригласительных билетов на Ковчеги надежды никто из мятежных майнцев не ожидал.

Они оставались на обреченной планете. И хотя многие местные ученые с мировыми именами, уверяли, что Земле ничего не угрожает в ближайшие пятнадцать тысяч лет, но тревога не покидала горожан. Например, академик Цистит, уверял, что Солнце — молодая звезда, и у нее нет никаких предпосылок взрываться. И потом звезды, как и все остальное, не взрываются сами по себе, нужно, чтобы сошлось воедино тысячи причин, а таких причин, по его мнению не наблюдается. А ученые Империи — подневольные люди, результаты их работ напрямую зависят от беспринципной политики, проводимой Империей.

Циститу за этот доклад вручили высшую научную премию Майны, но сомнения горожан почему-то только укрепились. Кроме всего прочего, немного грустно было расставаться с давним противником. Без врага, что ни говори, немного скучно. А самое главное — больше не надо будет прятаться.

Многие майнцы десятилетиями не бывали на поверхности, а если и выбирались, то всегда тайно, всегда с применением мер индивидуальной защиты, каждую минуту прислушиваясь: не шипит ли в небе ракета, выпущенная беспилотным самолетом, — и вот теперь можно будет свободно передвигаться хоть на север, хоть на юг? Свободно?.. Или все-таки повстанческие власти введут какие-то ограничения?

Беглецы вышли на широкую улицу, застроенную странными домами с узкими, какими-то куцыми крышами; должно быть дожди, если они здесь бывали, заливали жителей этих строений.

— Дожди здесь как раз бывают, причем обильные, — пояснял Артур, — и что интересно, вместо вашего града здесь выпадают караси довольно крупные — над головой-то целое озеро… Не редкость, когда утром просыпаешься, а вместе с тобой в постели резвятся караси.

А насчет крыш так получилось: в свое время были разработаны десятки разных стандартов домов, кровли, сан-

техники, ну и всякого другого. В условиях стопроцентной демократии, а Майна объявила себя именно стопроцентно демократическим городом, плебисцит объявлялся даже по поводу стандартов на презервативы, а уж на размеры кровель — и подавно. Семь лет было потрачено только на обсуждение вопроса, одних особых мнений было записано и рассмотрено сто шестьдесят три тысячи. В итоге победил нынешний стандарт. Но в это же время проходили обсуждения стандартов жилых домов, и в результате голосований, проходивших аж в три тура, приоритет был отдан нынешнему стандарту. Но победившая крыша не подходила к победившим домам, и когда стали просыпаться по утрам с карасями в постели, то, естественно, забили тревогу — люди все умные, авторитетные, за голову каждого в Империи назначены миллионы мань. И теперь в парламенте идут консультации по этому вопросу. Особенно жаркие дебаты состоялись именно насчет карасей: может, не так уж и плохо, что часто на столе майнцев бывает свежая, не зараженная нуклеидами, рыба?

— Демократия, конечно, благо, — сказала Натаха, вспоминая горячие ночные объятья Артура. — но иногда она похожа на старательную, но неумелую девочку, которая старательно прочитала сундук книг, где вперемешку были свалены французские романы, пространные рассуждения английских философов, русские прельстительные книжки про любовь, справедливость, и теперь не знает какое же место отвести Богу?

Оказалось, что в Майне жить — не сладкий мед. В городе торжества демократии электрические вилки не подходили к электрическим же розеткам, и вечерами большинство горожан не имели возможность включить свет. Телевизионные антенны, само совершенство, не работали, потому, что пока к ним не было изобретено телевизоров требуемых систем. Мясорубки работали наоборот: просили фарша и восстанавливали куски мяса; этим потрясающим изобретением воспользовалась медицина, и теперь вопрос пересадки органов был снят с повестки дня трансплантологии.

Но решены успешно проблемы левых ботинок, теперь можно было купить одновременно и правые и левые ботинки, что было не всегда. Решен вопрос с писсуарами, их перестали устанавливать на двухметровой высоте. Торжеством демократии вполне можно было назвать закон, требующий, чтобы мужчины уступали дамам места в трамвае. Но санитарное и медицинское лобби провели закон, запрещающий беременным, хворым, не достигшим совершеннолетия женщинам пользоваться трамваем, оберегая их от пагубной вибрации. В трамвае всегда находился дежурный акушер, который требовал с пассажирок разрешение на проезд, заодно в специальном уголке трамвая мог провести освидетельствование.

Артур с гордостью рассказал, что в управлении вольного города принимают участие представители всех слоев населения — и андроиды, и повстанцы, основавшие Майну, и мутанты, прозванные императорскими солдатами дебилами из-за того, что они общались между собой без помощи слов — на каком-то магнитно-лучевом языке. Они всегда молчали, даже под пытками, что раздражало Димона и его людей.

— В самой глубокой из шахт, в здании Института Извилин живет Ремембер…

— Кто такой? — спросил Егорий. — Это имя у мужика такое или фамилия? Из искусственных что ли?

— Ну причем здесь происхождение? — сказала Натаха. — Кто он такой, этот уважаемый человек?

И Артур поверил товарищам один из важнейших секретов Майны, о котором даже вскользь слышали не все. Много лет назад ученые подводно-подземного города создали искусственный интеллект с очень малой погрешностью выполнения всяких высоконаучных операций — что-то одна ошибочка случалась на тысячу операций, даже меньше.

Нынче, конечно, никого не удивишь кремниевыми мозгами, но эти мозги были всем мозгам мозги. Поглотив огромное количество информации, прочитав все книжки на свете, Ремембер, так его почему-то назвали, внезапно

приобрел дар заглядывать в прошлое и даже будущее. Когда это открылось, то многие полагали, что человечество находится на пороге новой эры, оно по сути дела получает контроль над временем. Можно упредить любое землетрясение, не допустить эпидемий, добиться невиданного процветания. Люди перестанут попадать под машины, сосульки не будут разбивать головы…Ни один муж больше не застанет жену врасплох с любовником, писательский труд станет счастливым: каждый литератор не захочет больше чахнуть годами над романом, а с помощью Ремембера заглянет в то время, когда роман уже не только написан, но и напечатан, и просто сделает копию…

Но научный люд почему-то не потянулся к искусственному разуму, мол, сами с усами; в аргументы противники Ремембера взяли ту самую крошечную погрешность и всюду щеголяли этим, дескать нельзя рисковать серьезными научными исследованиями, сверяя их с выводами кремниевого интеллекта. А если честно — ученые просто побаивались, кому приятно узнать, что твоя мудреная теория, за которую ты получил парочку премий, дачу на Рублевке, давным-давно забыта, признана антинаучной.

Не стал популярным искусственный мозг и в среде поэтов, художников, артистов: все они боялись будущего. Не много нашлось желающих узнать истинные результаты всех своих жизненных усилий; вдруг они ничтожнее, чем даже привыкли думать завистники— они просто смехотворны?

В основном к Ремемберу шли мелкие фокусники, портные, эстрадные певцы, парикмахеры, которым хотелось идти в ногу с эпохой; смешно ведь появиться на людях в кольчуге времен первых крестовых походов или в парике, обильно обсыпанном мукой. В одно время Ремембер был очень популярен в среде геймеров, они просили подсказать, как пройти сложные уровни, сохранить жизни. Чтобы оградить искусственный мозг от геймеров, эту услугу сделали платной — всего два маня, но сразу как отрезало, дорога, прежде секретная, но многим все-таки известная, оказалась забытой. Редко какой чудак обращается к искусственному мудрецу, все больше для того, чтобы сфотографироваться с Ремембером.

Сначала искусственный разум пытался хоть как-то привлечь к себе внимание. Он пробовал делать ставки на тотализаторе, но хозяева букмекерских контор пообещали повысить напряжение в сети, да так, что не спасут никакие стабилизаторы.

Он стал писать изящную прозу — легкую, лирическую, остроумную. Но держа в памяти миллионы книжек, он не смог избежать некоторой вторичности своих повестей и романов; читатель никогда не мог избавиться от чувства, что произведения Ремембера похожи сразу на все написанное за историю человечества.

У него испортился характер, чаще всего он молчал или наоборот — осыпал бранью редких посетителей.

— Ты знаешь дорогу к Ремемберу? — заинтересовалась Натаха.

— Конечно, знаю, — ответил Артур. — Но, говорят, там теперь усиленная охрана, нужен пропуск. А в детстве мы устраивали в этой шахте шумные игры — перед самым зданием Института Извилин, где целый огромный зал был отведен кремниевому мозгу. Ремембер и сейчас там, но здание замаскировано на случай бомбежки.

— Для чего тебе этот искусственный мудрец? — хмуро спросил Егорий. В последние дни он был мрачен, и было от чего. Натаха перестала смущаться, да она, как оказалось, не смущалась вообще, и как только по вечерам беглецы устраивались на ночлег, он стелила отдельно себе и Артуру, отгораживалась какой-нибудь фанерой, занавесочкой — вполне условно. Крыса сразу засыпала, а Егорий ворочался и тяжело вздыхал до той поры, пока не прекращались за фанерой сладкие постанывания, чмоканья, жаркий шепот. Он постоянно не высыпался, целый день его одолевала позевота; он даже подумывал бросить сдружившуюся за время пути компанию, но это было выше его сил.

— Неужели никто не догадался до сих пор задать Ремемберу простой вопрос о судьбе Солнца и Земли? —

спросила Натаха. — И все сразу станет ясно — оставаться здесь или удирать с этой планеты поскорей?

— Вопрос простой — ответ трудный, — предположила Боевая фиолетовая крыса. — Думаю, что спрашивали многие, но вот незадача — почему-то они не торопятся с сенсационными заявлениями… В самом деле, почему?

— Может быть, все дело в той самой маленькой погрешности, которую допускает в своих расчетах искусственный разум?- хмуро сказал Егорий.

— Егорушка, ну что ты все время хмуришься? — улыбнулась ему Натаха. — Наступает новый день, а с ним приходит все новое — и новые надежды, и… в общем, не надо печалиться…

Егорий отвернулся.

Беглецы заметили, что над ними больше не плавают щуки и караси. Обычное ночное небо было над их головами, но очень далекое. Артур пояснил, что они находятся в одной из заброшенных ядерных шахт, и здесь нужно держать ухо востро, в таких шахтах полно летучих мышей-вампиров.

Вокруг громоздились горы ржавого, растерзанного металла, искореженного бетона, битого стекла. Время от времени с вершин этих рукотворных скал с грохотом срывались лавины из шестеренок, кусков труб, каких-то колес; от одного такого железопада они едва унесли ноги.

— Как тут только люди живут! — сказала фиолетовая крыса. — Зато, наверное, они легко выполняют план по сдаче металлолома…

— Что ты сейчас такое сказала?- удивился Егорий. — Из какой это жизни?..

Крыса пожала плечами, она и сама не знала, откуда к ней прилетели эти слова, каким эхом занесены.

Егорий вспомнил свой полустанок, трансформаторную будку и лесополосу, в которой он срезал гибкие пруты краснотала — получались из них замечательные удилища, конечно, не такие, как вязовые, но на чебака, подлещика, окуня вполне годились. Однажды с ним на речку

увязалась Натаха. Он знал, что когда девчонки попадают на рыбалку, они там все портят. Даже ни к чему не прикасаясь. Уха обязательно перевернется в костер, ударит гроза с проливным дождем и в мешке с сахаром, чаем, солью, лаврушкой и хлебом возникнет нечто вроде лапши, палатку сорвет ветром и швырнет в костер, ну, а про клев можно будет вообще забыть.

Примерно так все произошло и на этот раз. Ливень начался, когда они еще не дошли до берега. Он был таким сильным, что казалось, будто Егория с Натахой тотчас смоет в речку этим теплым июньским потоком. Они кинулись к огромному черному тополю, схоронились под его шапкой, хотя с детства им твердили, что во время грозы опаснее всего прятаться под деревом. Но обошлось, шипящие, как гадюки, молнии не попали в них, не задели и дерево. Но, как ни прятались они от ливня, он все-таки достал их и под осокорем; они вымокли до нитки.

Гроза погремела и укатилась на другой берег реки и оттуда пыталась достать до леса, поджечь хоть одну лесину, но не подожгла, не хватило небесного огня. Дождь утих, и рыбаки добрались, наконец, до реки. Егорий принялся готовить нехитрые снасти — разматывать лесу, привязывать грузила, а Натаха, строго наказав Егорию не смотреть в ее сторону, спряталась за ствол тополя, выжала одежду и развесила ее на ветках.

И тут последняя молния все-таки достала из за реки осокорь, стегнула, как погонщик, кнутом, и тут же заполыхало столетнее дерево, а с ним и натахина одежда.

Егорий сначала захохотал, увидев, что Натаха осталась почти голой, принялся кричать:

— А король-то голый! Королева голая! Голая!!!

— Дурак! Ты просто дурак! — отбивалась она от него, и вдруг из ее глаз брызнули незваные слезы.

Она спряталась за кусты краснотала и оттуда раздавались ее всхлипывания. Он растерялся:

— Да, ладно, Натаха, — чего по одежке убиваться, небось не от Кардена она…

— Вот же дурак! — залилась она еще пуще.

Он стащил с себя еще влажную рубаху, шорты, кинул ей: «Подсуши чуток, да прикройся. Сейчас солнце выйдет, за минуту все просушит…»

— А ты? — спросила она.

— А я в трусах буду, ничего?

— Ничего, — ответила она коротко.

После дождя стало клевать — они наловили крупных окуней, яркие красные плавники которых горели на солнце фонариками. Развели костер и вскоре в котелке закипела окуневая уха.

— Вот если бы сюда ершей добавить — было бы настоящее объедение, — сказал Егорий. — Лучшая в мире уха — из ершей и окуней…

— Ну, а что ты про стерлядь скажешь? — спросила она, вспомнив как однажды — давным-давно, кажется в мае, приезжала к ним бабушкина сестра и привозила в подарок такую рыбину, и тоже говорила тогда, что лучшая уха в мире — из стерляди.

Егорию не доводилось даже видеть такую диковинную рыбу, поэтому он вывернулся:

— Ученые открыли новую рыбу, которая лучше всех для ухи годится. Она называется палтус. Но водится палтус только в океане, его мало кто видел, поэтому для нашей речной местности ерш — главная рыба для ухи…

— Брешешь ты все, — сказала Натаха, — в ерше одни колючки, как водяной репей…

В этот день и вечером они наловили полную корзинку рыбы. Там были и подлещики, и подъязки, и даже попался один небольшой сазанчик. Таких сазанчиков в их местности почему-то называли «лопушками».

Собрались было домой, но Егорий уговорил Натаху остаться на утреннюю зорку. Что за рыбак, который не встречает рассвет на берегу!

— Смотри, околеешь ночью в одних трусах, — сказала Натаха, но и ей хотелось остаться на берегу до утра.

— Ничего, ночи теплые, — ответил он.

Подбросили сушняка в костер, Натаха заварила травяной чай, да такой ароматный, вкусный — дома такого не

бывает. Кружка у них оказалась всего одна, и они попеременно отпивали из нее.

Не успели оглянуться, как на них свалилась ночь: наверху у самых звезд было светло, а ближе к земле — темнее. Совсем черно было в лесу, и там среди деревьев кто-то осторожно ходил, вздыхал, словно искал что-то, и никак не находил.

— Страшно? — спросила Натаха.

Ему было страшно, но он промолчал, пусть она думает, что он ничего не боится. И вообще, совсем не хотелось говорить. Натахины глаза отражали костер, а казалось они полыхают огнем — и почему-то от этого двойного огня — в костре и в глазах — было немного не по себе.

Чтобы нарушить молчание, он опять вспомнил:

— И чего это ты слезы проливала по своей одежде?

Он подумал, что она может опять завопить «Дурак, дурак», но она только вздохнула, и он вдруг понял, что мимо него сейчас прошло что-то важное, а, может, и не прошло совсем, а пришло, чтобы остаться в нем навсегда?

Он часто потом вспоминал эту ночь, полыхающие глаза Натахи, и лесные таинственные вздохи. Кто там вздыхал в черных зарослях? Однажды даже ему пришло в голову, что в лесу тогда вздыхал он сам, Егорий. Он отогнал от себя эту странную мысль, ведь человек не может раздваиваться. Или может?

…Где-то совсем рядом прогрохотал еще один железопад, особенно сильный. Беглецы рпасливо поглядывали наверх, не свалился бы на голову какой-нибудь трехтонный маховик или реактивный паровоз времен Третьей Перестройки.

— Скоро должны быть на месте, — сказал Артур почти шепотом.

— Чего ты шепчешь? — спросила крыса. — Может, ты кому-нибудь здесь крупно должен?..

Артур не ответил, стоит ли хоть что-то объяснять этому непонятному существу, которое предало своего хозяина, и можно ли быть уверенным, что больше крыса не предаст? Но фиолетовое создание не отставало.

— Что-то неважно ты ориентируешься в родном городе, — сказала боевая крыса. — Обязан с закрытыми глазами знать каждый переулочек, в каждой подворотне у тебя должны быть друзья, ну хотя бы собутыльники…

— Где ты тут видела подворотни? — приходилось все-таки отбиваться Артуру. — А уж тем более переулочки?.. Еще немного — и Институт Извилин… Сначала, кажется, должен быть Генеральный Штаб Заговорщиков, его подземный филиал, а потом Институт…

Показались стальные аппарели, по которым когда-то съезжали в подземелья огромные автомобили. Теперь останки этих моторных монстров дотлевали вокруг, а сами подземелья, обрушившиеся, поросшие какими-то чахлыми деревцами, зияли черными провалами. Было ясно, что никакого Генерального Штаба Заговорщиков здесь давным-давно нет. А, может, и не было никогда.

— Ну, и бардак! — сказал Егорий. — Всеобщий развал! За что не возьмись — все не работает, все разбито.

— Напрасно ты так! — одернул его Артур. — Когда-то это был боевой организм, здесь оттачивали свое умение великие мастера политической интриги. И не только политической. Отсюда вышли настоящие рыцари ночи, виртуозы кинжала… Например, нынешний командир большинства тайных подразделений Империи — Димон -прошел хорошую школу плетения интриг именно здесь… Скажу вам больше, заговор против Карла Первого, против Павла Первого, против Великой Русской Литературы и еще тысячи других были некогда задуманы и разработаны именно здесь. Тут была выпестована скандальная книга Иванова «Теория и практика заговоров».

— Теперь, видать, времена не заговорщицкие, — сказал Егорий, заглянув в один из бездонных провалов. — Разбежались заговорщики, расползлись, как крысы…

Егорий посмотрел в сторону Боевой Фиолетовой крысы, извинился:

— Прости, к тебе это не относится…

Та только хмыкнула, сказала:

— Не удивлюсь, если все заговорщики уже давно на той планете, куда мы только собираемся, и уже плетут хитроумные интриги.

Количество разбитого и искореженного металла вокруг стало угрожающим. Беглецы с трудом продирались через завалы сгоревших танков, взорванных орудий, рухнувших самолетов.

— Нешуточно здесь воевали, — сказала крыса.

— Давно это было, — заметил Артур. — Все силы Империи были брошены на повстанцев, но те устояли. А ведь сюда проливались дожди из пуль и снарядов, сбрасывались самые разрушительные в истории человечества бомбы и ракеты, безпилотники охотились на каждого жителя Майны, били в любую мишень — будь то женщина, будь то старик… Чего ж теперь изумляться, что повсюду руины?..

— Друзья мои. Постойте! — сказала Натаха.- Мы двигаемся по принципу «куда глаза глядят». Не спорю, принцип хороший зарекомендовал себя отменно, но все-таки не мешает спросить хотя бы у самих себя — куда мы идем? Куда мы прорываемся? Вообще-то основная цель нами достигнута — мы скрылись от погони. Спаслись, укрылись…

— Да, надо сказать, что за нами не особенно и гнались, — сказала крыса. — Может, играют с нами в поддавки, и наверняка следят за каждым нашим шагом. Вон сколько их кружит — безпилотников… Но, думаю, пасут нас не только с воздуха. Это было бы очень просто…

— Все тебе мерещатся враги, — резонно заметил Артур. — А время сейчас такое, предполетное, предстартовое, скорее всего о нас просто-напросто забыли. Шутка ли сказать — перевозить не комод, не обеденный стол, не семью, а целое человечество

В вышине над секретным городом опять завелся металлический голос:

— Слава Дисциплинарию, приближается день грустный и одновременно радостный!.. Нам предстоит покинуть

родную Землю, обветшалую, обреченную, но мы приобретем новое отечество… День Сборки уже совсем близок…

— Никак не могу понять, для чего всех созывают на места Сборки, — задумчиво сказала Натаха, — если вокруг не скрываясь говорят, что мест в Ковчегах Надежды на всех не хватит, несмотря на миллионы и миллионы самодельных гаек, шурупов, болтов, так называемой «повышенной прочности». А если у нас о чем-то прошел слух, то он надежнее закона. Закон не торопятся исполнять, а сплетня всегда оборачивается чистой правдой. Такой мы народ…

— И все-таки, куда мы идем?..

Никто не ответил, только эхо передразнило:

— Идем-идем-идем…

За разговорами подошли еще к одному полуразрушенному зданию. «Всемирный Институт Извилин», — прочитала крыса. — Неужели тут обитает кремниевый супермозг? Не похоже. Судя по сугробам пыли, кучам мусора в вестибюле, оборванным проводам, если здесь что-то подобное и водилось, то оно давно уже отсюда вывелось. Может быть, от голоду околело?..

— Мозг здесь, я его нутром чую, — сказал Артур. И Егорий, и Крыса взглянули на него. Натахе тоже послышалось в его словах нечто необычное.

— Странно, — произнесла она задумчиво, — я его не чую, да и сдалась мне эта железяка никчемная! А ты чуешь…

— Нодо же понимать, когда человек образно выражается, — улыбнулся Артур.

Беглецы тщательно осмотрели вестибюль Института. Егорий около одной разбитой двери нашел нечто похожее на покерные жетоны .

— Теперь вижу, что здесь пользовались извилинами, — сказал Егорий. Может, в этом мрачном местечке и карты есть?

Нашлись и карты, новенькие, нераспечатанные. Крыса сунула одну пачку в свой походный хурджум, огромный,

войлочный, казалось, что в нем легок поместятся все четверо путников.

— Я основательно собиралась, — сказала крыса. — Хурджумы входят в утвержденную форму одежды крыс.

Послышалось какое-то металлическое шкрябанье, завывание лебедки, скрип, и сверху спустилось нечто вроде строительной люльки или платформы.

— Трансглюкатор подан, — сказал трансглюкатор мягким , приятным голосом.

— Спасибо! — не растерялась и вступила в беседу Натаха с говорящим механизмом. — Вы не могли бы нас подбросить до того места, где находится Ремембер?

Трансглюкатор подумал немного, потрескивая динамиками, и ответил:

— Спрашивайте у меня, я уполномочен отвечать на любые вопросы.

— Кем уполномочен? — спросил Артур.

— Естественно, уполномоченным органом, — не без достоинства в голосе сказал трансглкатор.

Артур взял Натаху под руку и отвел ее подальше от говорящей люльки:

— Извините, срочно нужно обсудить один интимный вопрос…

— Забыл предупредить, — принялся он шептать ей на ухо. — Земные ученые предполагают, что Ремембер — это уже давно не организм, не устройство; это как бы очередное состояние материи; он вобрал в себя и продолжает вбирать все вокруг, как тысяча пылесосов, и вполне возможно, что люлька эта — и часть самого Ремембера, и одновременно она и является этим самым целым. То есть, Ремембер повсюду. Грязный пол, на котором мы стоим — это он, разбитые лифты — это тоже он, и даже груды металлолома тоже могут быть им…

— Я поняла, что зубы надо держать за зубами, здесь может подслушать любой оконный шпингалет…

Они вернулись к люльке:

— И все-таки мы хотели бы поговорить с Ремембером, — твердо сказала Натаха.

Крыса поддержала ее:

— Вот именно, с самим!..

Им показалось, что люлька хмыкнула, но все-таки ответила тоном, не допускающим никаких шуточек. Серьезные люди прибыли по серьезному поводу. Под угрозой целая планета, надо спасать ее, или хотя бы попытаться спасти.

— Добро пожаловать! — произнесла люлька-трансглюкатор несколько церемонно. Открылась небольшая дверца и к ногам отважных беглецов выкатился неширокий трап. Первым на него шагнул Артур (сама решимость), за ним Боевая Фиолетовая крыса, а последним ступил на настил платформы Егорий, настороженно поглядывая по сторонам. Не нравилось ему происходящее, очень не нравилось. И, само собой, не нравился Артур.

Как только беглецы погрузились на платформу, она начала подниматься, одновременно на потолке стал открываться большой прямоугольный люк. Трансглюкатор вошел в этот люк и они оказались в небольшом зале.

В центре зала на старом скрипучем стуле сидела рослая женщина, перед ней а таком же допотомном, шатком столике стояла початая бутылка плодово-ягодного крепкого вина; Егорий по этикетке узнал — «яблочное» производства пригородного совхоза «Плодоовощной», незабываемый напиток.

Женщина повернулась к прибывшим, и они ахнули: это была Нина Арнольдовна, бывшая Обер-Капо, бывшая приговоренная к смертной казни, бывшая… А теперь она кто?

Она сделала глоток прямо из горлышка, глоток солидный, и сказала:

— Ба, старые все знакомые!..

Голос ее прокатился громовыми раскатами, да такими, что задрожали стены Института Извилин, глаза Нины Арнольдовны брызнули сиреневыми искрами, и стало понятно, что это может быть кто угодно, только не бывшая Обер-Капо.

Мавр, офорт, цезарь…

Глава пятнадцатая: Тайна Артура.

Едва Нина Арнольдовна нырнула в кусты за мужиком с гитарой, как оказалась в кромешной тьме. И в полном безмолвии. Ни шороха, ни звука. Она по инерции сделала несколько шагов и остановилась. Вытянула вперед руки — препятствий никаких не было. Но не было и веток, которые хлестанули ее поначалу. А теперь как будто она внезапно попала в большую и пустую комнату.

Она медленно двинулась вперед. Прошла десять шагов, пятнадцать — где-то должна эта комната кончиться… Или она бесконечна? Или это не комната?

— Ауууу, — произнесла она негромко.

— …ууууу, — откликнулось недалекое эхо.

«Пещера что ли?» , — подумала Нина Арнольдовна.

— Ауууу! — аукнулась она уже погромче. И вдруг кто-то сказал ей в самое ухо:

— Перестаньте орать, не в лесу… Добро пожаловать!..

И тут же вспыхнул свет и оказалось, что она действительно находится в большой комнате с высоким потолком, почти зале, и перед нею стоит человек.

Мужчина.

Улыбается.

В лице что-то знакомое. Очень знакомое. Капо соседнего дома? Продавец овощной палатки?

— Скажите, пожалуйста, вы в рекламе подсолнечного масла не снимались? — спросила она, почти попала в точку.

— Нет, — улыбнулся мужчина, усевшись на единственный шаткий стул, — я снимался в рекламе скороварок, а еще у меня была роль в сериале «Остров», я играл Ку-Эн-Зима.

— Простите, не смотрела, — сказала она, и тяжелые сомнения стеснили ей грудь: нет, не снимался он ни в какой рекламе, не играл Ку-Эн-Зима, да и кто он такой — Ку-Эн-Зим этот преподобный?

— Его мало кто смотрел, — меж тем беседа развивалась , — он еще на экраны не вышел. Говорят, я неплохо сыграл. Меня выдвинули на соискание Сталинской премии…

Нине Арнольдовне стало страшно. Почти так же, как вчера (неужели только вчера это было?) на эшафоте. А, может быть, страшнее.

— Кто вы? — спросила Нина Арнольдовна — Нечистая сила?

Мужчина коротко хохотнул, почесал переносицу, произнес негромко:

— А чего вы стоите? В ногах правды нет. Присаживайтесь. А потом уж о деле.

Она огляделась. Второго стула в комнате не было, правда стоял рядом небольшой ротанговый столик, но не садиться ведь на стол.

— Извините, — сказал мужчина, — сейчас все будет.

И крикнул:

— Стул сюда, самый лучший! И корзину вина с фруктами!

И тут же раздался страшный грохот и ей под ноги вывалился, материализовавшийся из комнатного пространства, какой-то весь кривой и по виду шаткий, стул, и подкатилась к ней запыленная бутылка «яблочного», нектара, дававшего в бойскаутской юности легкое забвение.

Нина Арнольдовна подняла стул, с опаской села. Посмотрела на мужика — вылитый народоволец Желябов.

— Будете душу мою бессмертную покупать? — спросила она и улыбнулась робко, дескать, говорит она не в серьез, и вопрос ее нужно принимать с улыбкой. Но вышло жалко: голос дрогнул, в нем явно прозвучали плаксивые нотки.

— Не нужна мне ваша душа, давным-давно проданная и перепроданная, — ответил строго мужик. — А вот память ваша, аналитические способности мозга, потрясенного несостоявшейся казнью, потребуются… Я давно искал такой мозг, очищенный ярким страданием… Эмоциональное потрясение, катарсис иногда усиливают способности мозга в сотни раз. Вот для этого я позвал вас.

— Меня никто не звал, я сама, — сказала Нина Арнольдовна.

— Ну, да, сама, — ухмыльнулся он.

Она взглянула на него: писатель Иванов — один в один. И тут ей пришло в голову, что, наверное, ее подключат к компьютеру, станут показывать тестовые картинки, и ее ум послужит людям — она даже чуть-чуть загордилась.

— Решаете какую-то проблему? — спросила она. — Так вы ученый? Академик засекреченный? Да? Но имейте ввиду — у меня математика всегда хромала. И в химии я тупая…Валентность, атомный вес, реакции замещения, щелочи и ангидриды — для меня темный лес…А так я, конечно, готова помочь науке…

Мужик молчал, вылитый Ломоносов. Только что из Архангельска пришел.

Ужас стал заполнять комнату.

— Что вы, что вы? — спрашивала Нина Арнольдовна. — Что вы? Что задумали?

— Да, вот, надеемся решить вечную проблему мироздания. Самую из самых…

— Чтобы Земля не упала на Солнце? — попыталась она успокоиться.

— Это проблема второстепенная, сказал бы даже, что ее не существует. Каждую минуту в метагалактике сгорает три тысячи планет, одной больше, одной меньше — разве это имеет значение?..

— Так какую же проблему вы решаете? — спросила она. — Мне вообще-то пора домой, муж будет ругаться…

И она поднялась, пошла в сторону, где предположительно могла быть дверь. Двери там не оказалось и она, ускоряя шаги, двинулась к другой стене. Двери не было и там.

— Нина Арнольдовна, что вы мечетесь. Вы же спросили о самой-самой проблеме философии, а сами не слушаете, — сказал мужик, вылитый Ларошфуко.

Нина Арнольдовна остановилась, рухнула на стул, подняла с полу бутылку «яблочного».

— Так вот, — продолжил мужик, — для себя я ее назвал «куриной задачей»… Ну, да, что было раньше — яйцо или курица? Иначе говоря, это вопрос о смысле индивидуального существования...Вы, Нина Арнольдовна, для себя самой как отвечаете на этот вопрос?

— Яйцо раньше было, — сказала она. — Откуда вы знаете, как меня зовут?

— Смотрел по телевизору казнь несостоявшуюся…

— Я раньше тоже так думал, что яйцо, — продолжил мужик, — но путем сложнейших умозаключений пришел к выводу, что яйцо вторично…Иначе бытие лишается смысла… Подумайте хорошенько… Хотя ваше личное бытие скоро наполнится новым смыслом, почти не теряя индивидуальности, вы станете единым целым с тысячами других субстанций…

Нина Арнольдовна была на грани обморока. Страх был так силен, что она готова была броситься на страшного мужика, похожего на Малюту Скуратова.

— Так, давайте выпьем! — предложил он. — За самое тесное сотрудничество в мире!

Он открыл бутылку и протянул ее Нине Арнольдовне. Та подумала, что надо бы пить второй, но взяла бутылку и приложилась к горлышку. Тепло разлилось по всему ее телу, странное тепло, которое постепенно разгоралось, как костер, становясь все горячее и горячее; как-то сразу, в миг отяжелели руки и ноги, как будто она очень устала. Она и вправду устала, но не так свинцово-чугунно.

— Отравили? — теряя сознание, спросила она. — Зачем…

Но она не потеряла сознание, если сознанием можно назвать тот ужас, который заполнил ее. Она все видела, слышала, но не могла пошевелить даже мизинцем.

— Спасите! — попыталась она закричать, но из глотки вырвался только слабый хрип.

Комнату стал заполнять не то густой туман, не то дым, он поднимался откуда-то снизу, заполняя каждый уголок

комнаты — все выше, и выше, и выше. Вот он скрыл щиколотки ног, вот добрался почти до колен… Может, это была черная вода, может жидкий металл, а в одно мгновенье ей почудилось, что это кровь. Черная кровь подземелий; жаждущая мести кровь всех безвинно замученных, растерзанных, погубленных…

И вдруг Нина Арнольдовна заметила, что сама она как будто растворяется в этой черной субстанции. Да что там — «будто» — она на самом деле начала растворяться… Если бы она могла завизжать, она бы завизжала, но она ничего не могла. Бывшая Капо только смотрела с ужасом, как исчезают ноги, бедра…

А страшный философ, где он?

Оказывается, он тоже растворялся, даже быстрее Нины Арнольдовны. Вот черная субстанция достигла его подбородка, вот на поверхности остался только затылок, а вот — бульк — и мужика не стало. Через секунду целиком погрузилась и она.

Ничего. Темнота. Безмолвие. И так длится век. Вечность. Секунду. Времени нет. Его и не было никогда. Что для пустоты миллион лет? Миллиард? Тысячи цивилизаций промелькнули, зачем?

А жизнь была? Сон про утреннюю зарю, про кактус расцветший на подоконнике, про девочку, которую разбудил солнечный зайчик? Девочку звали Таней?

И, вдруг, где-то принялась отсчитывать дни и годы хриплая механическая кукушка: мезозой, палеозой, наша эра, — в общем, полшестого.

В старом доме застрекотал сверчок, старинный жилец, и что он заливается?

Подала голос собака по имени Каквас, палец ей в рот не клади, особенно по утрам.

И стала рассеиваться мгла. Сначала проколола темноту одна золотая иголочка Солнца, потом десятая, и вот уже золотой дождь рассвета пролился на плечи.

И кто-то сказал спросонья:

— …в луга поедем, Лев Лупыч, запрягай, опоздали ужо…

И все открылось, все нашло себя: в реке была прохлада — и река, и прохлада были ею, девочкой Ниной из Каменки. И ветер из-за Урала — это тоже она, и горький запах полыни, и уж, живущий под крыльцом деревенского дома, выползающий к дойке Пеструхи — молока попить — все-все вокруг было ею, и она была всем. Весь мир был растворен в ней, и она была молекулой этого мира.

Она знала, почему вымерли гордые, но неповоротливые динозавры.

Ей было известно, где покоится на дне океана Атлантида, она безошибочно складывала и вычитала многозначные цифры, она давно подчитала количество знаков в «Войне и мире»… Она знала все, или могла узнать. Счет завтрашнего матча семь — ноль, Ковчеги Надежды состоят из двух миллионов болтов, шурупов, шестеренок, гаек…

Она знала, что четверо беглецов уже вот-вот появятся у Института Извилин…

Но она не знала «зачем?»…

Это «зачем?» сжигало микросхемы, требовало все большей памяти, энергии…

Смысл бытия в том, чтобы искать его? Я ищу — значит живу?..

«Зачем?» не давало покоя, выжигало в разуме пустыню… Она растворила в себе все вокруг на сорок километров, но не приблизилась к решению задачи ни на йоту. Она совершенствовалась, она мыслила и размышляла. Но она не знала «зачем?». Она не знала «авось», «якобы», «наверное»… Все они таились в «зачем» и не поддавались решению. Главный враг на пути совершенного познания —«зачем?»

Она была всемогуща, но…

Она?

Он — Ремембер? Она — Ремембер? Он-она?..

Бывшая Капо, а ныне неизвестно кто, огляделась. Она сидела все на том же шатком стуле и она же сидела в центре мира, она видела свои ногти с плохим маникюром и ей же видна была спиральная галактика, на периферии которой произошел взрыв сверхновой и в кипении ядерных реакций там родилась звездочка, а вокруг нее десяток планет — как будто кто-то скопировал Солнце и его окружение…

А где же жуткий философ?.. Ах да… он растворен во мне, а я в нем…

«Мы всегда будем вместе!» — услышала она. И вместе с ней еще миллионы ячеек, в каждой из которых была и она. И у каждой ячейки стояла початая бутылка «яблочного», растворителя индивидуальности.

— Конечно, — приняла она свою долю. И тоже была услышана…

Но «зачем?»

Балаган, батарея, орда…

Она встретила Натаху, Боевую Фиолетовую крысу, Егория и этого, этого… Артура, подняла их наверх, и если бы могла, то насладилась бы их растерянностью, да что там — потрясением! Натаха даже не сдержалась, закричала:

— Так это и есть Ремембер? Чего у нее (него?) можно узнать? Это же Капо нашего дома, шпионка и стукачка, раба Дисциплинария!

Бывшая Капо поднялась, и беглецы, вдруг, разглядели, что в ней роста никак не меньше пяти метров. Она сделала шаг в их сторону и началось землетрясение. Где-то осыпались стекла, кто-то невидимый пронзительно закричал.

— Шпион среди нас, действительно, есть, — громыхнула голосом бывшая Нина Арнольдовна, а теперь Супермозг Мира, Арифмометр Логики и Отец и Мать Философии.

Все посмотрели на Фиолетовую крысу, та сразу ощетинилась дюжиной стволов, она была при неполной экипировке, оказывается, забыла в казарме гвардейский миномет и безоткатное орудие; они всегда могли понадобиться.

— Это не я!, — закричала крыса. — Я — честная…

И тут откуда-то в руках Артура оказался тепловой грохопал и он выстрелил прямо в грудь Ремембера, и еще, и еще, и еще.

— Подохни, кремниевая собака! — закричал Артур и выпустил всю обойму из своего смертоносного оружия.

Ремембер в облике Нины Арнольдовны пошатнулся и рухнул на пол, покатилась бутылка с растворителем индивидуальности.

Артур вставил новую обойму и навел грохопал на Егория. Потом перевел прицел на боевую крысу.

— Я специальный агент Дисциплинария, лично посвященный Высшему командиру тайных служб — Димону, — произнес он торжественно. — Вы все арестованы, и не пытайтесь сделать хоть одно движение без моего разрешения! Я андроид пятого поколения, стреляю без промаха!..Наталья, это касается и тебя…

— Ужас! — только и сказал Егорий.

— Ужас! — тихо повторила потрясенная Натаха. — Вот я дура! Какая мерзость, какая мерзость!..

Артур извлек откуда-то ворох наручников, направился к лежащей Нине Арнольдовне, уменьшившейся до человеческих размеров.

— На всякий случай и ее наградим браслетами, — хохотнул он. — Тоже мне мятежный мозг, бабий ум повстанцев!.. Ну, ничего, скоро вам под топор… А мы — на новую планету…

— Не торопись, — сказала, поднимаясь с пола, Нина Арнольдовна, опять пятиметровая, — еще на Земле не все сделано…

Артур завизжал, принялся опять палить, но Ремембер только отмахивался от пуль, как от назойливых мух. Он схватил Артура за шиворот, встряхнул и приподнял его на двухметровую высоту. Щелкнули наручники, и андроид оказался в плену.

— Все равно скоро всем вам конец, — принялся кричать он, — войска Ликурга готовы задушить заразу вольнодумства. Часа не пройдет, как на Майну обрушится атомное возмездие…

— Не пугай, мы пуганые, — сказал Егорий, посмотрев на Натаху, потрясенную, опустошенную.

Она сидела на старом стуле, обхватив коленки руками, и повторяла про себя: «Мерзость, спала с автоматом… автоматом… спала с машиной…»

— Не убивайся, — успокоила ее Боевая Фиолетовая крыса, — женское сердце часто ошибается, но мне кажется, если бы этот андроид не взял тебя на мушку, не бросился бы заковывать тебя в железа, ты легко простила ему то, что он автомат…Видимо, это какой-то особый автомат, если ты так сладко стонала по ночам?..

Натаха залилась слезами.

А между тем андроид немыслимым образом вывернулся из наручников, у них, у искусственных, все это проще получается, и выхватил еще один грохопал (да он просто напичкан оружием, обыскать бы его хорошенько, еще не то обнаружится), и бросился к Натахе, уткнул ствол в грудь несчастной девушки, заорал:

— Все к стене, иначе выбью ей мозги!

— Милый, сказала Натаха, — в этом месте не мозги, ты что, забыл?

— Заткнись! — неистовствовал он. — Все к стене. Больше не буду повторять, мне терять нечего!..

Никто не стронулся с места.

— Паразиты! Суки… — ругался он, как человек

И вдруг зашипел, как проколотый ниппельный мяч, закашлялся, захрипел — и замолчал. Дико выпучил глаза, поискал глазами по комнате, увидел бутылку знаменитого «яблочного», подтащил туда Натаху, поднял Растворитель Индивидуальности и несколькими глотками выпил его остатки.

И растворился.

— Ячейкой меньше, ячейкой больше — критического значения не имеет, — сказала Капо-Ремембер. — Кажется, вы что-то хотели спросить? Спрашивайте!

— Солнце взорвется? — спросил хмурый Егорий.

— Да.

— Когда?

— Вы же знаете, что при таких сложных вычислениях величина погрешности у меня очень велика. Но опреде-

ленно могу сказать, что это случится в текущем тысячелетии, может, сегодня. И вы не должны забывать, что решение этой задачи является для меня второстепенным. Это местечковая проблема…

— Так, что ты тогда знаешь, что можешь? — спросила крыса.

— Все. Счет в завтрашнем матче «Спартак»Москва — «Реал» Мадрид — шесть — ноль. Наши ребята выиграют…

Глава семнадцатая: Солнечный круг.

Пришел долгожданный день Сборки. Еще до восхода солнца начали греметь оркестры — и «На сопках Маньчжурии», и «Прощание славянки», и «Поручик Галицин»… На гигантских монтажных стапелях все было готово — инструменты, оборудование, еще с вечера установлены гайки и шурупы скоропортящиеся, не терпящие долгого ожидания. Все ждали приказа на начало сборки, говорили, что выступит сам Ликург, Живущий для Народа.

Почти все население планеты собралось в местах Сборки. Настроение, конечно, чемоданное, слышались и смех, и плач, кто-то спрашивал:

— Выходит дело, повстанцы все остаются? Не боятся сгореть?..

Кто-то отвечал негромко, с опаской:

— У них в Майне гигантский искусственный мозг, он предсказал, что еще на миллион лет Солнца хватит…

Люди подхватывали разговор:

— Там, у повстанцев, башковитый народ подобрался, академики, стоматологи, шашлычники — сила! Может, и нам остаться? Не глупее нас люди остаются…

И пошел гулять слух, что никуда уезжать не надо, что Сборка отменяется. А тут еще приказ на начало Сборки подозрительно опаздывал. Говорили, что не могут найти Хранителя Печати, а без печати приказ не действителен. Потом прошел слух, что Хранителя нашли, но пропал Главный Церемониймейстер…

Ближе к полудню, когда начались разброд и шатания в умах, кто-то произнес:

— Разве из одних винтиков и болтиков можно собрать межгалактический корабль? А где моторы? А где атомное топливо?..

— А кто поведет ракету?

— А кто следить за порядком на борту станет, кормить, поить, укладывать в анабиоз, а потом будить — где эти люди?..

— Я все поняла! — закричала, вдруг, Натаха. — Настоящая сборка происходит не здесь!

— Что ты несешь? А где же? Не может быть! — стали орать со всех сторон. Злобой наливались глаза людей, они готовы были разорвать девушку; мы все знаем, что у нас часто достается не виноватым, а тем, кто первый заметил и сказал — ну, хотя бы про короля, дескать зад у него не прикрыт.

— Сборка — это отвод глаз, — взялась за объяснение Боевая Фиолетовая крыса, сменившая окрас и ставшая блондинкой; она сбросила с себя чуть не полтонны оружия и стала очаровательной девушкой. Егорий так и жег ее глазами. Кто-то дал ей в руки микрофон, и она продолжила:

— Нас заставили собраться в местах, далеких от истинного места старта, заставили поверить в Ковчеги Надежды, чтобы мы не помешали избранным спокойно и с комфортом убраться с Земли… А может оно к лучшему?..

Егорий шепнул ей на ухо:

— Какая ты стала! Как тебя, такую, называть теперь?

— Будем знакомы, — протянула она ему руку, — Крыса…

— Какое красивое имя! — сказал он.

Наталия, Татьяна, Надежда…

Ликург Шестнадцатый принял рапорт Димона о готовности к старту. Все ракеты были заправлены, проведена проверка электроники, еще раз уточнен начальный маршрут — правее Большой медведицы, еще правее. На

случай межзвездного конфликта приведены в боевую готовность носовые, а также и кормовые орудия, заряжены пулеметы, всем выданы бронежилеты с индивидуальными парашютами и пайки десантника.

— Сегодня обойдемся без громких слов, — сказал Ликург, — без прощальных речей и скупых космонавтских слез. Слишком многое мы оставляем, чтобы болтать про это. Вот, доберемся до места, устроимся — и уж тогда помитингуем.

Он уселся в кресло у пульта управления корабля, Лидия Вторая расположилась рядом.

— Ничего не забыли? — спросил он.

— Никак нет! — отрапортовал Димон.

— Тогда принесите мой зеленый ящик, — приказал Император. Слуги бросились исполнять желание владыки.

«Неужели откроет при всех и покажет свое сокровище?» — подумал Димон.

Ликург открыл ящик и извлек из него винтовку Мосина, славного друга, надежного бойца. Он передернул затвор, досылая патрон в канал ствола, и прицелился в Димона.

Командир тайных служб побледнел. Он уничтожил тысячи врагов Императора, а теперь, видимо, пришел черед друзей. Но все-таки он произнес:

— За что, повелитель?

Кто и когда отвечал на этот вопрос?

— Выходи! — Ликруг показал штыком на выходной люк. — Тридцать секунд тебе, потом стреляю.

Димон знал, что Фиолетовый слов на ветер не бросает. Димон слишком многое знал. Он вылез из ракеты, и успел отбежать от пускового стола на безопасное расстояние, когда взревела космическая мощь и корабли один за одним стали уходить вверх — выше и выше — подальше от обреченной Земли…

А там, где еще кто-то надеялся на Сборку, ждал приказа с печатью, Натаха смотрела, как растут сверкающие груды гаек, шурупов, заклепок, которые выбрасывали не состоявшиеся переселенцы. Она глотала слезы и вспоминала свой полустанок, трансформаторную будку, лесополосу, все, что больше не существует на свете.

— Смотрите! — закричал кто-то. В небе беззвучно чертили белые линии стартовавшие ракеты, а когда звук дошел, то все вокруг содрогнулось от грохота.

— Будьте вы… — кто-то хотел послать вслед беглецам проклятие, но слова застряли в глотке. Потому, что внезапно небосвод налился красным светом, огневым, раскаленным… Солнце, вдруг, стало распухать, невиданным еще протуберанцем тянуться к Земле. В одно мгновенье эта раскаленная солнечная плоть поглотила скорлупки кораблей, они вспыхнули, как спичечные головки, и посыпались на Землю подсолнечной шелухой.

— Аааааа! —раздался тысячеголосый вопль, но он скоро стих.

…Так, для чего тогда пел сверчок? Для чего проливался утренний дождь и сумасшедший жерех вылетал чуть не на метр над поверхностью реки? Для…

2012 — 13 гг.

ЭМИГРАЦИЯ В НОЯБРЕ

В ноябре хочется застрелиться или, в крайнем случае, эмигрировать. Все равно куда. Подальше от этой дрянной погоды, бездонных луж и ледяного ветра, от пустых дней и бесконечных ночей.

Каждую ночь, дразня его бессонницу, в черноте двора — где-то на головокружительной высоте — загоралось одно окно, кто-то еще не выдерживал темноты и находил на холодной стене выключатель, и холодная электрическая звезда словно сигналила, просила пощады погибая от одиночества. Матвей думал, что когда-нибудь он все-таки поднимется к этой звезде, на какой-нибудь сорок восьмой или пятидесятый этаж, и тогда с ноябрьским отчаяньем будет покончено. Но он страшился, что раз вкусивший одиночества, вовек от него не избавится…

Он представлял, кто мог жить в этой квартире на высоте птичьего полета. Может быть, это обсыпанный перхотью старый холостяк, потерявший надежду дождаться телефонного звонка в ответ на его объявление «Мужчина средних лет ищет молодую женщину без вредных привычек с целью создания семьи». Раньше звонили как раз пожилые, потом принялись трезвонить те, кто с вредными привычками, а в последние десять лет не звонит никто. Никто. Он рад бы теперь схватить в объятья какую-нибудь пожилую даму с вредными привычками, но телефон оглох и онемел.

А может быть на пятидесятом этаже собирается какая-нибудь тайная ложа, мечтающая о всеобщей справедливости? Скорее всего, они ночи напролет сочиняют электронные прокламации, в которых требуют у правительства сейчас же отдать всю власть и все деньги.

В этой квартире мог бы жить одинокий поэт, совершенно не понятый современниками. Поэт писал стихотворения и поэмы, абсолютно без всякой надежды на взаимность со стороны издательств и толстых журналов. Он запаковывал свои произведения в почтовые посылки и отправлял их во Всемирную Лигу Писателей. На почте не знали такой Лиги, но посылки принимали, и куда они уходили — никто не знал.

А может быть, в этой квартире беспощадная бессонница заставляет унылого, невыспавшегося человека таращить глаза в книжку, а книжка вся читана-перечитана — про одинокого старого Д`артаньяна и его близкого друга Планше, но другой книжки нет, и бьется неизвестный бедняга со старой книжкой и бессонницей под электрическим солнцем в сто ватт, и мычит от тоски, смотрит с ненавистью на измятые, влажные от пота, простыни, подушку, похожую на старую, занозистую плаху, и наверное, тешит какую-нибудь злобную сумасшедшую мечту, например, чтобы в книжке все кончалось по другому, чтобы Ришелье подловил-таки ветреную Анну, захватил Бекингема, стал требовать выкуп в свободно конвертируемой валюте, и в итоге Атос простил бы леди Винтер и она вышла бы за Д,артаньяна. И родила бы беби, как две капли воды похожего на Ришелье.

Но должно быть, в книжке ничего не менялось: грустный Планше из последних сил выбивался, пытаясь обеспечить приемлемое существование гасконцу, а тот днями спал, а ночами таскался по пивным…

В общем, Матвей дал себе слово когда-нибудь совершить восхождение на эту вершину.

…Нынче с утра было так тихо; не выла даже далекая собака, должно быть старая, должно быть, несчастная, а счастливые разве воют по утрам?

Прохожие, ожившие с рассветом, почему-то передвигались перебежками — от ветра или от страха.

Матвей не думал, что Наташа придет, но она все-таки пришла. Ледяные и мокрые ладошки просунула ему под рубаху, сама же и завизжала:

— Холодно-холодно-холодно! Боже, как мальчику холодно!..

Сто раз говорил ей, чтобы не называла его «мальчиком». Это смешно, но она не опасается быть смешною.

Она давно должна была его бросить, еще после первого аборта, еще после первого загула, еще после провала его первой книги, еще после провала второй — и всех последующих, и после того, как он проиграл в рулетку деньги на шубу — норковую шубу, о которой она мечтала десять лет, — поводов его бросить у нее было много, но она ни одним из них не воспользовалась.

Однажды, это было, кажется, тоже в ноябре, он сам сказал ей:

— Тебе пора замуж, не думаешь?

Она обрадовалась:

— Милый! Милый, мой мальчик, ты все на свете понимаешь… Как я тебя люблю! Ты навсегда останешься со мной.

И через несколько дней она вышла замуж. Он думал: ну, вот, самая пора расстаться, тем более, что так сошлось — и ноябрь, и ее замужество, и очередной провал очередной книги — все подоспело, как нарочно.

Но она и этим шансом пренебрегла, на третий день после свадьбы приехала. Непривычно молчаливая, настороженная, ему даже показалось, что заплаканная. А, может, не выспавшаяся? Дело-то молодое, известно ведь что бывает на свадьбе, поэтому мудрено выспаться посреди криков «горько!», в центре веселья и повальной пьянки.

На минуту захолодело в груди. Не ревность ли?

Но виду не показал, улыбнулся, спросил про погоду: в ноябре не поймешь — то ли дождь, переходящий в снег, то ли снег, тающий, не долетая до стылой земли. Да и ветер случается колючий, просто, как песком, щеки дерет.

— Не мучайся, милый, — сказала она, — погода твоя любимая — холодно, ветрено, бесприютно. Прости меня, прости…

Она быстро разделась и нырнула под одеяло. «Стесняется», — догадался он.

Спросила:

— Где у тебя сигареты?..

Поднялась, закурила, взяла пепельницу — не спеша, словно извиняясь за свою прежнюю поспешность.

Он смотрел на нее и вдруг в голову ему пришло: а ведь он практически никогда не видел женщину обнаженной. А ведь правда! Всегда, когда женщина раздевалась, нужно было не разглядывать ее, а приступать к действию. Женщины и сами давали понять, что они ждут не созерцания. Только хитрецы-художники могут похвастаться, что имеют кое-какую практику в разглядывании женской груди, ягодиц, живота, но они вряд ли похвастают этим. Никогда Матвей не слышал, чтобы хоть кто-то из них рассказывал о том — наслаждение или глубокое равнодушие — испытывают они в часы, когда женщина сбрасывает с себя последние покровы. Они скупы — эти художники, не хотят открыть тайну полишинеля, что только обнаженной женщина становится женщиной, а не продавщицей растрепанной, как художник Малыгин, капусты.

— Что ты меня разглядываешь? — спросила она.

— Любуюсь, — не соврал он.

— Что, раньше не видел?

— Не видел, — опять сказал правду он.

— Так смотри, не теряй время, а то я состарюсь, — сказала она и легла поперек кровати, отбросила одеяло.

«Там…там… с новым мужем она тоже раздевается…», — подумал он, и опять холод разлился в груди, разлился и остался в ней.

— Не психуй, — сказала она. — У нас ничего не изменилось. Понял? И ничего не изменится… Не изменится…

Так что, в ноябре ему не везет. В ноябре же, вспомнил он, к нему зашла улыбчивая дама по имени Елена из отдела кадров, с силиконовой грудью навыкате (однажды он попал к ней в гости, да засиделся; все ушли, а он остался, заболтался с портвейном — разговорчивый портвейн попался; это было лет восемь назад, но с тех пор время от времени она забегает к нему, прижимается на секунду к его плечу, считается, что у них роман). Она нерешительно

помялась в дверях кабинета, что было несвойственно ее, закаленному в кадровых баталиях, характеру, и он приготовился к худшему.

Дама по имени Елена протянула ему листок, украшенный печатями и штампами, и сказала официально:

— Распишитесь, что ознакомлены.

Он пошутил:

— Что, увольняют меня? Гонят взашей?

И попал в точку: дама набежала на его пиджачное плечо, всхлипнула, сердобольная:

— Матвей, ты попал под сокращение штатов. Сергей Сергеевич просил передать, что ничего личного, не подумай…

— Ну что ты, я ничего такого не подумаю, — сказал он и расписался — ознакомлен…. Что поделаешь, ноябрь…

Тем же вечером Сергей Сергеевич с дамой по имени Елена закатились к нему, притащили любимого Матвеем портвейна, долго говорили об огромных запасах несправедливости, разлитой во всех, даже самых укромных, уголках мироздания. Ничего поделать нельзя, зло еще очень сильно. Нечего и думать победить его. Матвей и не думал ничего такого.

— Не унывай, старик, — говорил Сергей Сергеевич. — Конечно, в твоем возрасте тебе нелегко будет найти приличную работу, да и слава твоя впереди тебя бежит…

— А что, слава? — обиделась за Матвея дама. — Ну, послал на хер замминистра, так тот мировой мужик — все давным-давно позабыл. Ну, расколотил на встрече с читателями чайный сервиз на тридцать две персоны, что, эти черепки дороже человека?

— Дороже, — упрямо сказал после пятой рюмки Сергей Сергеевич. — Он же троглодит, ему красная цена полтинник в базарный день. А этот сервиз собкоры подарили десять лет назад, можно сказать, память была… А он, эх…

— А я утверждаю, что он дороже полтинника, — спорила дама после седьмой рюмки, а потом полезла целоваться. С Сергеем Сергеевичем.

В те же дни он впервые увидел это странное объявление — на покосившейся скрипящей калитке, напечатанное на серой репринтной бумажке — в нем было только три слова: «Устрою эмиграцию. Гарантировано».

Что гарантировано, в какую страну?

Но по немногословию объявления, по глухой тоске, которая, казалось, беспричинно, накатывала рядом с бужажкой, он понял, что здесь серьезное учреждение.

Он прошел тогда мимо, пытаясь представить себе сотрудников этой конторы: джентльмены с пшеничными колониальными усами, засушенные классической литературой британские барышни, привратник в черной пелерине. В его представлении иммигрировать можно было только в Англию или Америку, ну, не в Турцию же, хотя можно и туда — в Галлиполи хотя бы.

«Ну надо же, — подумал он, — каким полезным делом занимаются люди. Помогают убегать от себя…

Прошло какое-то время, ноябрь еще не кончился, Наташа вытащила его к Иванову. Тот только что вернулся из какого-то путешествия, и напускал на себя таинственность, был загорел (и это в самом конце осени!), почти трезв.

— Я был в таком месте, где водятся циклопы, — говорил он, не жалея портвейна. — Такого навидался, в двух словах не рассказать.

Иванов намекал, конечно, на новую свою книгу (по секрету — полная ахинея), которую он написал в путешествии, и по его словам она произведет фурор в литературе. Так он говорил всегда, а книги его лежали грудами на балконе, и он сам разносил их по библиотекам, школам, детским садам. Как будто там их кто-то читал. Он сам видел, как во время ремонта в школе, что напротив его дома, уборщицы выбросили груду книг, в том числе и его сочинения. Он утешился тем, что был выброшен в знаменитой компании, вместе с Лениным и Марксом, Рабиндранатом Тагором и Крупской…

Иванов еще трепался о том, что задумал исторический роман, по его словам, сложную, многоплановую кни-

гу. В ней будет заключена вся философия истории, ее глубинные пласты…

— Как думаешь, осилю? — спрашивал Иванов у Матвея, а отвечали дружно все гости:

— Тебе и такое по плечу.

Потом кто-то притащил гитару, души требовали Окуджавы и что-нибудь одесского. В итоге затянули «Зачем ты в наш колхоз приехал…» — без гитары. Ну, а потом хотели завалиться к Малыгину, собственно, все и поехали к знаменитому художнику — вызвали такси, набились в него, как сельди в бочку, несмотря на протесты таксиста, а Наташа не поехала. Сказала, что ей муж велел быть дома к девяти, она и так припозднилась.

— Какой муж? — не понял он.

— Законный, — сказала она, — ты что, забыл, что я теперь замужем? Некоторым образом, — человек семейный. Я должна по вечерам возвращаться к семейному очагу… Что ты глаза выкатил, можно сказать, что сам меня отдал замуж, а теперь удивляешься? А ты поезжай к Малыгину, поезжай, у него сегодня чача…

Она чмокнула его в щеку и уехала, а он остался один на черной, скользкой ноябрьской дороге.

Он никак не мог сообразить, в какую сторону идти. Устроила ему Наташа прогулку, что это с ней? Сначала пошел направо, потом повернул налево, потом опять налево, потом прямо — и оказался у дома Иванова.

— Не хватало еще заблудиться в городе, в котором родился, — он даже хохотнул, но так и не вспомнил — налево или направо — ему шагать.

«Надо завязывать с портвейном, — подумал он и пошел направо, и тут же в глаза вылез листок с объявлением про эмиграцию. Оно по-прежнему висело на той скособоченной калитке, и калитка была приоткрыта.

Он легонько толкнул дверцу, и она, заскрипев, открылась. За дверцей оказался крошечный садик, в нем пара акаций и микроскопическая клумба, вернее то, что осталось в ноябре от нее. И тут же дверь в стене, а из-под двери выбивался свет.

Устрою эмиграцию…

Матвей постучал, и тут же ему ответили:

— Войдите!.. Только закрывайте плотнее дверь — у нас сквозняки.

Он нерешительно вошел и оказался в помещении, заваленном разной канцелярской рухлядью — пишущими машинками, на одной из которых, наверное, печатался приказ о взятии Трои, столами с зеленым сукном, запачканном чернилами из чернильницы некоего Копперфильда, колченогими табуретами, растрепанными стопами бумаг, забытых еще самим Нестором…

За этим нагромождением старинных шкафов, стульев с высоченными спинками и грудами пыльных папок он едва рассмотрел женщину, сидевшую в коричневом кожаном кресле. Сама она тоже была в чем-то коричневом, и шторы на окнах были коричневые, и все вокруг было коричневое, даже змея, злобно зашипевшая на Матвея из стеклянной банки из-под огурцов белорусских, в маринаде.

— Не бойтесь, она не кусается, — поднялась из кресла женщина, — да она и не выберется из банки, хотя пару раз ей это удалось, едва поймали.

Матвей с опаской посмотрел на шипящего гада.

— Это гюрза из семейства гигантских гадюк, — принялась объяснять хозяйка, — ее яд совсем чуть-чуть по токсичности уступает яду кобры…Да, вы садитесь подальше от нее… Чему обязаны?

— Да, я, собственно, насчет эмиграции… правильно ли я попал?

— Правильнее некуда. — улыбнулась она и внезапно глаза ее полыхнули зеленым огнем.

«А ведь глаза у нее змеиные», — подумал он.

— Когда намереваетесь эмигрировать? — спросила она.

— Да, я не собираюсь… пока… Просто любопытно было узнать, что есть такие учреждения. А так — мне на родине нравится. У нас рыбалка такая! Горы, степи — все настоящее…

— Думаете, у них все ненастоящее? — опять Матвей разглядел зеленую вспышку.

— Был я в Европе, многое показалось игрушечным, — пустился он в объяснения, — например, не по душе мне, что пойманную рыбу отпускают. Сначала тащат ее к берегу на крючке, вы только представьте, какой это стресс для живого организма, а потом полуживую отпускают, и это вы называете гуманностью!

— Я ничего такого не говорила, — сказала она. — Но рассказываете вы интересно, даже очень.

— Ловить нужно столько, сколько можешь съесть сам, — продолжил он. — Не тащить рыбу в мешках домой, а прямо на берегу заварить волшебную уху, достать из рюкзака фляжку со спиртом…

— Вкусно, вкусно… Вы так рассказываете замечательно, что самой захотелось отведать этой ухи на берегу… — прервала она его рассказ. И сказала:

— Берусь угадать, что вы писатель…

Он поклонился, представился, она всплеснула руками, спросила:

— Вы тот самый? Который написал…

Он не стал дожидаться, когда она вспомнит его книги, сказал:

— Ну, в общем-то тот самый…

И тут же добавил:

— Обещаю когда-нибудь взять вас на рыбалку. Если вы захотите…

Она захлопала в ладоши:

— Как здорово!..

— Можете и мужа своего взять…

Она засмеялась:

— Проверяете, есть ли муж?.. Не скажу…Но вы, полагаю, зашли не только на рыбалку меня пригласить? Если вы не собираетесь в эмиграцию, то чему мы все-таки обязаны счастьем видеть вас? Впрочем, вижу вы ничего не решили…Тогда возьмите буклет нашего агентства, там все подробно изложено…Обязательно прочитайте его внимательно, я даже попросила бы вас — прочитать очень внимательно, вполне возможно, что вам не подойдут наши условия… Многие, знаете, отказываются…

— Что плата высокая? — спросил он. — У меня чуток осталось после продажи «Москвича»…

Матвей вспомнил свою машину и брезгливую гримасу на лице мужика, который купил ее у него «для пополнения коллекции старины». Мужик пошутил, дескать, на этом «Москвиче» ездил еще Пушкин, Александр Сергеевич. Он еще сказал: «Даю тебе за этот утиль живые деньги только из сострадания, сам люблю портвейн: похмеляйся на здоровье!»

У Матвея на самом деле был тогда массандровский период, тамошние портвейны, казалось, отогревали душу, и он рано по утрам собирал в доме пустые бутылки, выскребал из карманов последнюю мелочь (каждое утро она была последней, но откуда бралась?) и отправлялся за портвейном в овощную палатку «Ягодка номер три». Хозяин палатки — Женька, сам любитель благородных вин, уверял, что, наконец, налажены прямые поставки живительной влаги из Массандры в «Ягодку номер три». А в первой, тем более во второй «Ягодках» насчет портвейна было как в Каракумах.

Хозяйка эмиграционного салона прервала его воспоминания:

— Денег не надо, мы еще командировочные вам выпишем, чтобы на первое время хватило…

— Как, совсем бесплатно? — удивился он. — По государственной программе что ли?

Хотя он никогда не слышал, что существуют государственные программы эмиграции.

— Что-то в этом роде, — ответила она.- В общем, читайте буклет. А определитесь — приходите. Но помните, что квота на иммиграцию не безразмерная… А насчет рыбалки — я рассчитываю на вас…

— Давайте сразу на «ты»?- предложил он.

— Давай! — согласилась она. — Меня зовут Таней… Но мне пора, что-то засиделась я.

— Работы много? — спросил он.

— Когда как, — уклончиво ответила она.

Они с Таней вышли из захламленной комнаты, она подала ему руку.

— Провожать меня не надо, я живу здесь же, на втором этаже. Матвей почему-то представил, что и на втором этаже та же мешанина из столов, стульев и пишущих машинок.

Она как будто прочитала его мысли:

— Не приглашаю тебя на чай — у меня такой беспорядок! Чаепитием займемся на рыбалке…

Он вспомнил, что на дворе ноябрь и погрустнел.

— Мы совсем забыли, что на носу зима, и рыбалка состоится только через полгода — в мае…

— Подождем,- просто сказала она. — Или ты торопишься эмигрировать?..

Он почти ежедневно стал приходить в эту захламленную конторским добром комнату; смотрел, как Таня что-то пишет. Она сказала, что письма клиентам. Она была левша и ему казалось, что она необыкновенно грациозна, потому, что он однажды попробовал левой рукой написать хотя бы пару слов, так сразу сломал перо, забрызгал чернилами листок бумаги. А у нее все получалось чудесно.

— Какая-то у вас допотопная контора, — сказал он как-то, — ни компьютеров, ни факса, письма пишешь от руки…

— Нас вполне устраивает, — ответила она, и он не стал приставать с расспросами. Какое ему дело, что кто-то пишет письма чернилами. Бывают странности и постраннее.

Таня спросила у него:

— Так, ты прочитал буклет нашего агентства?

— Буклет? Ах, да, пробежал..., — ему было неловко признаться, что куда-то запропастилась эта книжка.

Она засмеялась; смех у нее был легкий, чистый, весенний. А на дворе свирепствовал ноябрь, или уже декабрь?

Она спросила:

— Вы с женой предполагаете эмигрировать? Предупреждаю, что это вряд ли возможно. Такая у нас специфика.

Пришла очередь и ему рассмеяться: «Проверяете?.. Меня жена бросила в самом начале моего карабекаульского периода. Эх, что за чудесные портвейны в Туркмении!..»

— Она не любила вино? — спросила Таня.

— Она не любила меня, — ответил Матвей. — Кроме того, мы расходились с ней по некоторым литературоведческим проблемам. Она, скажем, считает, что наши классики Бунегин, Крамской, Нестор Зачаганский, Кулемин-Денежкин пусты, как утренние стаканы. К ним же она причисляет Иванова, Махорина, Кулемина младшего. Подумать только, самого Иванова!

— Я не знакома с творчеством этих господ, — сказала Таня. — О чем они пишут?

Он принялся рассказывать:

— Кулемин-Денежкин — писатель-маринист. Хотя у нас нет поблизости моря, и он, насколько мне известно, моря никогда не видел, но его перу принадлежат блистательные строки об океане, о людях морей. Помните, «Над седой равниной моря…»

— Так, это Горький, кажется, написал? — удивилась она.

— У Кулемина-Денежкина есть очень похожие места, трудно даже различить — такова сила его таланта, — пояснил Матвей, и продолжил:

— Махорин — мастер характеров, его герои смотрят со страниц книг, как живые…

— А Иванов? — запомнилась ей фамилия.

— Хотите, я познакомлю вас с ним, он живет через улицу? Мой старинный приятель, последний приверженец социалистического реализма…

— Постой, постой, — замахала она руками, — не всю информацию сразу, я не запомню… Как много в нашем городе литераторов!..Хотя я тоже некоторым образом работаю на литературу, но этих авторов почти не знаю… Да, что там «почти» — совсем не знаю. Может, они запрещены?..

— Да, кому… — он вовремя спохватился, чуть не сказал «а кому они нужны!»

— Умолкаю, умолкаю, — сказал он, — но обещай, что как-нибудь выберешь время — и я познакомлю тебя с творческой элитой. Когда-то к нам даже Короленко приезжал…

— Я знаю, — сказала она, — ведь я тоже здесь родилась и выросла.

— А мне почему-то кажется, что ты иностранка, в речи слышится не то легкий акцент, не то ты так строишь свою речь, что в ней присутствует легкая «нездешинка»…

— Нет, — ответила она, — я — здешняя. И с этим писателем я знакома… с Владимиром Галактионовичем, — сказала она. — Его называли даже «живой совестью русского народа»…Мне довелось бывать у него в гостях, когда он приезжал сюда и жил в районе «казенного сада».

Он взглянул на нее, она не шутила.

Она продолжила:

— Ему угрожает опасность…

…Однажды, едва Матвей раскупорил бутылку, как в комнате появился еще один, облаченный во все коричневое, человек. Мужчина.

— Вы от гюрзы все-таки подальше держитесь, не ровен час — цапнет без предупреждения, — сказал он. — Она очень зла на нас за отъем яда, а гадюки очень злопамятны.

И потом только поздоровался, обращаясь к Матвею:

— Доброго здоровья! Много от вас наслышан от Тани. Это вы автор «Побега»? Вы?..

Таня представила его:

— Знакомьтесь, это Кирилл, мой коллега… Историк литературы, его конек — облачные литературы самых последних веков, включая и двадцать третий…

« А ведь выпили всего — ничего, — подумал Матвей. — Одна, вся в коричневом, знакома с Короленко, покинувшим наш бренный мир почти век назад, другой, тоже в коричневом, занимается историей облачной литературы не наступившего двадцать третьего века».

— Крепкий у вас портвейн, ребята, — сказал он, — подскажите, где берете…

— Обыкновенный у нас портвейн, — сказал Кирилл, — но мы в него гюрзинского яда добавляем, из расчета не более пяти капель яда на бочку вина. Конечно, тут главное — не переборщить…Вот я и придумал от руки подписывать каждую бутылку, чтобы знать, где сколько капель. Иначе головной боли не избежать…

Матвей посмотрел на этикетку, где чернильным карандашом было выведено: «Гюрзинское крепкое». Пять капель».

— Пожалуй, у меня может начаться гюрзинский период, — сказал Матвей.

А тем временем Наташа устала тревожиться:

— Три раза на этой неделе приезжала, и ни разу тебя не застала. Где ты пропадаешь?

— Пью «гюрзинское»…

— Чтобы пить грузинское, — услышала она по своему, — надо работать. Бери пример с Витьки Иванова, опять состряпал новую книгу — восемьсот страниц. Вот ему можно пить грузинское, даже с утра…

Он только пожимал плечами.

Наташу было не провести.

— Постой, постой! — сказала она. — Что происходит? Здесь не прибавилось не строчки!

Она взяла со стола тоненькую стопочку бумаги, где рождался новый роман Матвея, свернула из нее кулек, словно боялась рассыпать те немногие строчки, которые все-таки сумели собраться здесь вместе, вопреки преступной лени Матвея.

— Что происходит? Запой? — спросила она, и сама же себе ответила:

— Не похоже, почти трезвый… Так, так… И рубаха чистая… Или помирать собрался, или влюбился. Все понятно, я ее знаю?..

Она села в единственное, оставленное ему женой, кресло, и заплакала.

А потом она его выследила, уж такая была дотошная, обо всем ей нужно было знать. Матвей с Таней как раз говорили о поэтике прозы Бунегина, она, прочитавшая пару

рассказов местного классика, которые ей принес Матвей, ставила его в этом смысле чуть-чуть ниже Бунина. И немного выше Махорина. Матвей с ней спорил:

— Буниным здесь даже не пахнет!..

— Почему должно им пахнуть? — изумлялась она. — Он что, одеколон?

И тут им пришлось прервать дискуссию, потому, что они увидели в окно, как крошечный дворик — прямо по замерзшей клумбе — решительно пересекает Наташа.

— Это за тобой? — спросила Таня.

— Не выдавай меня! — взмолился Матвей. — Спрячь меня!

— Только в холодильник или ящик письменного стола, — улыбнулась глава эмиграционного агентства.

— Если я сейчас погибну, ты потеряешь клиента…

— Ну, хорошо, — внезапно согласилась она, — я спрячу тебя — в нашей квартире на втором этаже. Уговор — не открывать дверь, выходящую на балкон, хорошо?

И она быстро открыла небольшую дверцу, и он двинулся наверх по узкой крутой лестнице.

Он услышал, как внизу Таня сказала Наташе:

— Да, он время от времени бывает у нас.

— Он что, эмигрировать куда-то собирается? — спросила Наташа.

— Все-таки лучше об этом спросить у него, — ответила Таня, — но если вас интересует мое мнение, то мне кажется, он все-таки не исключает эмиграции.

— Да, — только и сказала Наташа.

— Я думаю, что ему хочется на берег моря, он почему-то считает, что все его неудачи оттого, что здешние ноябри такие длинные и ледяные…

— Что же, он без меня поедет? — расслышал еще Матвей, и дверка за ним закрылась. Он оказался в такой же коричневой комнате, что и на первом этаже — коричневые столы и стулья, коричневые шторы. В углу стояла широкая кровать, накрытая коричневым одеялом. В отличие от комнаты первого этажа, здесь царил глубокий порядок,

как будто в этих стенах никто не жил. А, может, тут и на самом деле никто не жил?

— Коричневое царство, — пробормотал Матвей. — Как будто они присягнули на верность коричневому…

Помимо воли Матвея, его взгляд поискал и нашел таинственную дверь на балкон. Дверь, как дверь, конечно же, выкрашена коричневой краской. Перед дверью на полу стояли сапоги с высокими голенищами, вокруг них белой, контрастно выделяющийся на фоне всего коричневого, краской был выведен круг. Странно. Или смешно.

Матвей, осторожно ступая, подошел у сапогам. Размера сорок третьего — сорок четвертого. Высокий, почти женский каблук, но сапоги явно не женские. В каблуки сапог вделано нечто наподобие шарниров или велосипедных педалей. Матвей потянул один сапог за голенище, каблуки металлически щелкнули и сделали шаг, но при этом остались на месте. «Ты только посмотри! — изумился он. — Ведь это приспособление для ходьбы на месте; хоть версту в них прошагай, а не стронешься с места. Кто-то тренируется…В пеший поход собирается?»

«Но что все-таки на балконе? — подумал он. — Что там?»

Он попытался разглядеть тесное пространство балкона через оконное стекло, но стекло это, должно быть, не мыли с февральской революции, и он ничего не рассмотрел — балкон как балкон; кажется в углу стоит швабра, рядом — полдюжины пустых и пыльных бутылок, и все. Почему нельзя открывать дверь?

Он поймал себя на том, что думает обо всех этих странностях с раздражением. «Ну, надо же, сапожищи с отворотами, наверняка Петр Первый носил». Он приглядался: сапоги были новехонькие.

Внизу хлопнула дверь, заскрипели ступени лестницы, и через минуту Таня оказалась в комнате.

— Наташа ушла, — сказала она. — Кажется, мне не удалось объяснить ей, зачем ты сюда ходишь. А в самом деле, зачем? Или все-таки ты надумал эмигрировать?..

Он подошел к ней и поцеловал в губы, сказал:

— Затем…

Она ответила на поцелуй так, как будто с ней всю предыдущую жизнь только и занимались тем, что целовались. Он поднял ее на руки и уложил на коричневую кровать.

Таня сбросила платье и оказалось, что и белье у нее коричневое.

Матвей не удержался, спросил:

— Почему у вас все коричневое?

— Это цвет нашей международной службы, а еще — оранжевый, но он реже применяется. Эти цвета антистатичны, коммулятивны, а кроме того доказано — они защищают от жесткого Д-излучения, — ответила она, но он все равно ничего не понял, но расспрашивать не стал, не тот был момент:

К этому разговору они вернулись не скоро, так все закрутилось, завертелось. Расставшись вечером с Таней, он начинал подгонять время, как в самолете — скорей бы долететь, а оно, время, как в самолете, никуда не спешило, даже наоборот — стрелки часов казались приклеенными к циферблату.

Он их возненавидел, часы, они теперь смотрели на него со всех сторон, куда ни глянь, а там циферблат; в них ему чудилась насмешка.

Таня радовалась их разгоревшейся вдруг ноябрьской любви, он же болел ею.

— Из какой ты страны? — в сотый раз спрашивал он у нее. — Это государственная тайна? Шепни мне по секрету, я никому не скажу…

Наташа приходила еще раз, он опять спрятался в комнате на втором этаже. Дверь на лестницу осталась открытой, и Матвей слышал, как Наташа говорила:

— Он совершенно беспомощный! Он привыкнет к вам, а вы его бросите; я даже не знаю что тогда будет.

— У меня и в мыслях нет такого, чтобы бросить его, — сказала Таня. — Давайте, лучше кофе выпьем, а что вы, собственно, хотите от меня?..

И тут Таня прикрыла дверь, ведущую на лестницу, и дальнейший разговор двух женщин остался ему неизвестен.

И тогда он увидел на столе тоненькую папку с бумагами. Что бы не говорили, но мужчины любопытнее женщин. Он заглянул в папку и увидел несколько пожелтевших газетных вырезок. Он прочитал: «…А какая гнусная, подлая, мерзкая защита империалистской войны, прикрытая слащавыми фразами! Жалкий мещанин, пленённый буржуазными предрассудками! Для таких господ 10 000 000 убитых на империалистской войне — дело, заслуживающее поддержки… а гибель сотен тысяч в справедливой гражданской войне против помещиков и капиталистов вызывает ахи, охи, вздохи, истерики. Нет. Таким „талантам“ не грех посидеть недельки в тюрьме, если это надо сделать для предупреждения заговоров (вроде Красной горки) и гибели десятков тысяч…» И стояла дата: 1919 год.

«О ком так зло написано?- подумал Матвей и тут же увидел во второй заметке — «Ленин о Короленко». В третьей вырезке также шла речь о Владимире Галактионовиче: «Ленин предложил Луначарскому встретиться с писателем и растолковать ему директивы партии и правительства. Луначарский был в Полтаве в июне 1920 года и виделся там с Короленко. Они договорились о переписке. Короленко станет отсылать Луначарскому письма, где берется излагать негативные явления политики Советской власти, а Луначарский якобы будет их публиковать. Ни на одно из писем Владимир Галактионович ответа не получил».

— Как ты убедился, Владимир Галактионович — не только милосердный, но и смелый человек, — бесшумно поднялась на второй этаж Таня. — Он бесстрашно ходил в ревтрибунал, стараясь спасти людей. Другие за версту обходили чрезвычайку, а он сам стучался к этим вурдалакам в дверь, рискуя оказаться в черных подвалах, о которых даже думали шепотом. Когда власти менялись — он ходил в контрразведку — все с той же целью. А власти, особенно революционные, очень не любят, когда появляются лиш-

ние свидетели, тем более писатели, да еще такие, как Короленко… Над его головой сгущаются тучи…

— Это было давно, — сказал Матвей, — Жалко, конечно, человека, но всегда есть кого пожалеть в настоящем.

— Не существует ни прошлого, ни будущего, — сказала Таня. — Все мы живем в одном подъезде. Только, может быть, лестничные площадки разные…Ты так и не прочитал наш буклет?

— Нет, руки не дошли, — признался Матвей.

— Тогда придется тебе кое-что объяснить, — сказала Таня, и крикнула:

— Натолий, можно тебя?

В коричневом офисе появился человек, тоже весь в коричневом. Матвей никогда прежде его не видел. Почему-то первого взгляда на него Матвей окрестил его фокусником: появился ниоткуда, поклонился, как на сцене, одет, как иллюзионист, выступающий в сельском клубе.

— Внимание на экран! — сказал фокусник, и в комнате возник не то телевизор, не то киноустановка.

«Ну надо же, — подумал Матвей, — точно маг. Сейчас начнет ленты разноцветные вытаскивать из карманов…»

— Для начала я должен сказать главное, — произнес он торжественно, — а именно то, что мы прибыли сюда…

Он сделал эффектную паузу.

— Даже не знаю, как сказать, чтобы вы поверили и поняли, — продолжил он.

— Валяй, как есть! — поддержал его Матвей, который терпеть не мог, когда на пустом месте нагоняют таинственность.

— Мы прибыли сюда из будущего! — закончил коричневый фразу.

Матвей улыбнулся: ну, точно иллюзионист. Такими серьезными бывают только иллюзионисты. Сейчас начнет приглашать подсадок из зала…

Коричневый фокусник перевел дух, продолжил:

— Конечно, нелегко вам в это поверить…

— Отчего же, верю, — сказал, улыбаясь, Матвей. — А скажите, астероид уже прилетал?.. Мимо прошел или

попал точно в парк культуры и отдыха?.. Прямо в пивную угодил?..

— Какой астероид вы имеете ввиду? — переспросил фокусник. — Тот, который едва не сжег Землю в 2098 году или Второй тунгусский метеорит 2108 года?.. Или падение межзвездного корабля пришельцев в 2222 году?

Коричневый говорил весомо, что поневоле Матвею пришлось оставить шутливый тон.

— Ну и как вам у нас? — он хотел спросить шутливо, но получилось почему-то серьезно. — Нравится? У нас в ноябре холодно и ветрено, но зато пиво холодное… А вообще, ребята, вы, видать, мастера розыгрыша. Только уже в душу въелись пришельцы, машины времени и звездные войны.

— Да, никто с первого раза этому поверить не может, — Таня прикоснулась ладонью к руке Матвея. — Но это чистая правда. Конечно, машины времени не существует, хотя ученые уже столько лет бьются… Но перемещаться по единой временной ткани вполне возможно — без всяких громоздких механизмов, достаточно глотка специальной микстуры, которую получают из яда гюрзы, который противодействует мраку забвения и естественному сопротивлению эпох. Тут, как и с гюрзинским крепким, важно не ошибиться с дозировкой…Кажется, в ваше время еще не разработана Теория Забвения и не открыт Закон Иллюзорности, не подскажешь?

Матвей смотрел на нее: засмеется или нет?

Она была непроницаемо серьезна.

— Так вот, — сказал коричневый, — объясняю даже не упрощенный смысл этих революционных открытий, а как бы легкий, мимолетный взгляд на них. Альберт Эйнштейн Третий доказал, что время, а значит и бытие иллюзорны, их как бы и нет совсем, и можно пешком ходить из эпохи в эпоху, и в то же время, конечно есть, — каждое утро вы боретесь с его адептами — будильниками… Время должно быть уже хотя бы для того, чтобы не проспать, когда придется по счетам платить.

Примирить иллюзорность бытия с его материалистической составляющей, пытались многие, и только Эйнштейну Третьему это удалось. Решение оказалось гениально просто.

— Да, плюньте вы на эту составляющую, — сказал гений. — Не берите ее во внимание, как будто ее вовсе нет — и легко перемещайтесь во времени.

Ученые схватились за головы: как же они до этого не додумались раньше?

И забежать на чашку чая к юному лорду Веллингтону, похлопать по плечу старину Цезаря, сфотографироваться на память с Шекспиром, стало удивительно просто, до той поры, пока лорду до тошноты не надоело внимание путешественников по времени, да и вообще, он пугался фотографических вспышек... Цезарь же от современной тоски и скуки обратился в нынешний парламент, чтобы ускорить мартовские иды… Шекспир потерял душевный покой, узнав, что бедный Йорик оказывается пережил принца Датского…

— Постой, постой! — сказал Матвей, — если то, о чем ты говоришь, правда, то у вас произошло смешение времен, получился ужасающий коктейль! В одном дворе живут Достоевский и Бокаччо, по пути в булочную можно встретить Павла Васильева, салютовать корсиканскому артиллеристу?.. Так, да?

— Не все так просто, — сказала Таня

— Есть, конечно, кое-какие заморочки, — встрял коричневый иллюзионист…

— О них я расскажу сама, — остановила Таня коричневого. Тот поклонился, сказал:- Как пожелаете, госпожа-руководительница!..

И он растворился в темном углу. Таня продолжила рассказ:

— Через несколько лет после открытия Закона Иллюзорности начался бум бесконтрольных путешествий по неразрывной ткани времен. Доступность гюрзинского элексира (нужна еще специальная обувь, создающая иллюзию движения, вспомните прибитые к полу сапоги, нужна небольшая бетонная площадка — идеально подходит бал-

кон) и природное любопытство жителей Земли привели к тому, что в истории не осталось тайн. Сначала посчитали, что это хорошо, но вскоре задумались. Вместе с утратой флера таинственности, очарования недосказанности, щекочущих нервы догадок, начал потихоньку пропадать интерес к истории подлинной. Не многие, оказывается, хотели знать, что Изольда была не такой уж красоткой, а Елена имела скверный характер — напрасно греки так долго воевали за нее. Не поразила никого информация о короле Ричарде, что он страшно боялся щекотки и от него дурно пахло.

С героев как бы слетела позолота: выяснилось, что один попал в плен и замучил родное правительство плаксивыми письмами с требованиями немедленного его выкупа, чего бы это не стоило; другой старался привозить водку после сражений, когда в полках резко сокращалось количество пьющих; у третьего было четверо (кроме него) братьев и когда пришло время делить наследство, он одного за другим всех этих братьев убил; четвертая старалась из-за сына — головы соперников так и катились в разные стороны…

Для женщин невыносимо стало узнать о том, что реальные костюмы ушедших поколений совершенно не похожи на их кинематографические версии…Мужчины, прежде мечтавшие попировать в средневековом замке с настоящими рыцарями, были шокированы чумазостью мессиров, грязными брабантскими кружевами, сворами собак, кормящихся у пиршественного стола. В средневековье наших современников поразили ежедневные кровавые казни, и виселицы с удавленными преступниками, стоявшие в самых неожиданных местах — на мостах, у крепостных стен, у таверн и кабаков. Люди охотно ходили на казни, не забывая прихватывать с собой и детишек. В ходу был юмор висельников, добрые соседи спрашивали друг друга по утрам:

— Франсуа, разве не тебя вчера четвертовали на площади Трех Мостов?

— А я слышал, что тебя сегодня собираются утопить у старой мельницы, где на прошлой неделе утопили и твою подружку — ведьму Лусию?

И мало кого лишал аппетита пепел Клааса, донкихоты с волчьей тоской в глазах доживали свои дни в богадельнях…Будущее тоже оказалось не то…

И поток туристов во времени стал иссякать, пока совсем не сошел на нет. Людям опротивело еще и еще раз убеждаться в том, что они иллюзорны и, быть может, их и вовсе нет, поэтому так легко они перемещаются из века в век, из тысячелетия в тысячелетие? Пустота в пустоте…

В довершение ко всему внезапно стали тысячами пропадать люди. Без следа, без записки, без намека, где их искать. Сначала грешили на неизвестный науке вирус, который будто бы растворяет человеческий организм, как кипяток растворяет кусок сахара. Но не подтвердилось. Потом думали, что, не дожидаясь всемирного потопа, зажиточные жители многих стран, построили свои собственные межзвездные корабли и отбыли на них, куда глаза глядят. Лишь бы подальше.

Но и это не сошлось. Кое-кто, конечно, улетел, утек, смотался, но ведь не тысячи! Тем более, выяснилось, что никто из пропавших не взял с собой никакого имущества. На наших людей не похоже. Остались брошенными дубовые комоды, в ящиках которых — под стопой черного нижнего белья — так хорошо было хранить пачечки читанных-перечитанных, запомненных до единой запятой, писем — переписку с мальчиком-студентиком, приезжавшим на практику в тридцать девятом году и так жарко — на самое ушко — вравший про Москву, Париж и Яицкий городок… Что это за городок такой, и есть ли он на этом свете?

Остались брошенными пузатые альбомы с фотографиями, в которых дружные семьи делали стойку на деревянный фотоаппарат, похожий на саратовскую гармошку. Надо же, собирали люди изображения степенных тетушек и дядюшек, внуков-проказников, сучек-снох, давних знакомых (вместе отдыхали в пятьдесят седьмом в санатории под Сухуми)и вдруг в одну минуту бросили эти фотографические сокровища! Некоторые исчезали в самых неожиданных местах и в самое неурочное время. Один пошел за пивом — через дорогу, — чтобы предаться у телевизора болельщицкой страсти, и не вернулся. Подали даже заявку на розыск в международную полицию, но безрезультатно. Бидон с остатками пива, правда, отыскали на третий год, но никаких следов на нем не оказалось, дожди смыли следы… Другой был с женой в краеведческом музее, и около скелета велоцираптора ему приспичило в туалет. «Счас, Граня, я только в уборную — и назад. Жди меня здесь.» И он исчез. Безутешная Граня предлагала даже проверить алиби у динозавра…

Так продолжалось до той поры, пока Львом Цахесом не был сформулирован Второй Закон Пространственной Компенсации. Согласно этому закону любой, отправившийся путешествовать во времени, если не принять специальных мер, вытесняет из временной лакуны как минимум одного индивидуума. Ведь получается, что странник занимает как бы две ниши в хроносфере, иногда больше, например, когда не удается избежать временных парадоксов, когда путешественники по времени разыскивают своих жен в молодости, своих родителей, самих себя. Или начинают скупать выигрышные лотерейные билеты. Тогда полотно времени испытывает страшное напряжение и случаются даже разрывы хроносферы. Правда, бывает это крайне редко и люди называют это временными разломами. Один такой разлом долгое время существовал в нашем городе на чердаке знаменитого дома Мизиновых…

— Так вот, представьте себе, вы отправились в будущее…С женами, детьми, собутыльниками…

— Представил, — сказал Матвей. Хотя ничего такого он и не представлял.

— Ваш переход, естественно, вызывает напряжение хроносферы, и той ничего не остается, кроме того, как разрядить ситуацию мощным энергетическим выбросом, который выталкивает из будущего столько индивидуумов, сколько их проникло из прошлого. Причем, эти пе-

реброски временной энергии не обладают никакой избирательностью, попадают под разделку чаще всего случайные люди…

— Короче говоря, — сказала Таня, — душа идет за душу. Но есть и обратная сторона медали: когда туристы времен возвращаются домой, в свое время, то те же неумолимые силы природы выталкивают из своих временных лакун уже других несчастных, ничего не подозревающих отцов семейств, ученых и мастеровых — и забрасывают их куда Макар точно коров не гонял…

— Короче говоря, путешествия во времени были запрещены, и осуществляются только по строгому разрешению правительства, — закончила рассказ Таня. Помолчала с минуту и продолжила:

— Только совсем недавно мы научились относительно, подчеркиваю — относительно — точно попадать в нужное время, а поначалу, собираясь во времена Киевской Руси, тебя вполне могло занести в Древний Рим… Кроме всего прочего, это означало, что один патриций будет вытолкнут из своего времени.

— Только патриций? — спросил Матвей.

— Нет, конечно, эта участь могла ждать любого раба.

— Как же вы здесь оказались? — спросил Матвей. — Значит, вместо вас троих в будущее закинуты трое наших?..

— Наши, ваши, — передразнила его Таня. — Все мы Богу принадлежим…А что касается «наших», то у нас все по закону и на добровольной основе…

— Не хочешь ли ты сказать, что есть среди вас люди, готовые поменяться судьбами с нами?..- удивился Матвей. — Современников я еще могу понять, охота им хоть одним глазом заглянуть в светлое будущее (при этом Матвей строго посмотрел на Таню: ведь оно точно светлое? Таня таинственно улыбнулась), а чтобы из двадцать третьего века вернуться в наши времена — такое в голове не укладывается…

— А между тем, добровольцы есть…Наша организация «Freedom Writer International» имеет грант на спасение гонимых в своих временах писателей. Причем, писатели получают гарантию, что их произведения будут издаваться в их родных временах, и представляться читателям, как недавно обнаруженные…Рукописи, известно, огонь не берет, их пожирает Хронос…Сейчас, как ты смог догадаться, мы собираемся перебросить в ваш двадцать первый век Короленко…

— И он согласился? — перебил Таню Матвей.

— Не буду от тебя скрывать, переговоры идут очень трудно…

— А почему вы выбрали наши края и наши времена?

— Владимир Галактионович, когда у него спросили, какие места он мог бы выбрать для обитания, назвал в числе прочих и этот город… Сказал, что ему полюбилось здешнее приволье — бескрайние степи, Урал-река, своеобразный народ, живущий на его берегах… «А песни, какие там поют песни!» — повторял он…

— А сейчас ты увидишь, как через два с лишним столетия будут выглядеть эти места, твой родной город… — продолжила она, — включите дальневидение!..

И тут же на экране возникла громада православного собора. «Старый собор», — узнал Матвей. В двух шагах от старинной церкви плескал желтой волной Урал, у берега была привязана одинокая будара, черное солнце отражалось в ее смоленых бортах.

— Все это можно и сегодня сфотографировать, — произнес Матвей, но тут же осекся: по Уралу, не касаясь его волн, шел белоснежный корабль, вдали виднелся второй такой же, а левее сияли золотые купола Петропавловской церкви.

— Так она же сгорела, разрушена, — сказал Матвей, — Пушкин видел ее развалины…

— Восстановлена, — коротко сказал фокусник в коричневом.

На экране разворачивалась городская перспектива — ровные ряды многоэтажных домов, аккуратных, белых, как шампиньоны.

— Дома-то какие, словно стерильные, — заметил Матвей.

— Ты почти угадал, — сказала Таня и в голосе ее прозвучала гордость, — это ЖПП — жилища повышенного порядка. Здесь объявляется тревога первой степени, с выездом специальных средств дезактивации, при обнаружении хотя бы одного окурка на всей территории города. Подлежат госпитализации все жители дома, где был обнаружен больной с температурой тела выше тридцати семи градусов по Цельсию…Чихающие и кашляющие граждане помещаются в глубокий карантин. Сначала на год, потом собирается консилиум и решает судьбу больного. Как правило, карантин продлевается на пять лет. С больными помещаются также их родные. Зато мы можем сказать, что практически побеждены бронхит, коклюш, ангина…

— Что же, у вас никто не курит? — спросил Матвей. — Тоска!.. Кажется, даже тошнее, чем у нас…

— Почему? Я сама заядлая курильщица, — сказала Таня. — Пожалуйста, покупайте лицензию и отправляйтесь на Курильные острова, и там можете выкуривать хоть по целой сигарете в день…Я два раза бывала там, и мне довелось попробовать даже дым, конечно законсервированный, гаванской сигары.

Экран дальновизора между тем показывал сиреневый садик. Матвей вспомнил, что в юные годы в этих сиреневых зарослях был сорван не один пылкий поцелуй, здесь он пережил первую безответную любовь: он, десятиклассник, влюбился в пятикурсницу из пединститута — он помнил даже, как ее звали — Оля — она говорила ему: «Не ходи за мной, как тень, иди учи геометрию…» И добавляла: «Не проходи за мной по лужицам по следу следа моего, я знаю, снова не получится из нашей встречи ничего…» Лужиц никаких не было, а стихов он, кроме своих, тогда ни одного не знал.

Что касается геометрии, как и тригонометрии, он не мог различить все эти тангенсы, катангенсы и даже синусы, но он все равно не раскрывал учебников, а в тетради

для алгебры рифмовал для нее «кровь», «любовь» и конечно «бровь».

По вечерам она отправлялась на свидание с Димой, красавцем со спортфака. Конечно же, свидания происходили в сиреневом садике. Здесь была городская территория любви.

Матвей тогда шел вместе с ней — от общежития, где она жила, до кинотеатра «Кызыл-тан», оттуда до кинотеатра «Крам», и мимо дома Карева — до самого садика. Она строго наказывала:

— Как только Димка появится, чтобы духу твоего не было, Ромео…

И смеялась. Смех у нее был с хрипотцой, негромкий. Но смех этот Матвей и до сих пор не забыл.

Про садик в городе говорили, что прежде на этом месте стояла большая и красивая церковь, но ее взорвали; кирпич пошел на строительство тротуаров, а всю территорию, которую занимал прежде храм, засадили сиренью и акацией — и получился сквер. Довольно странный сквер; в памятник Чапаеву, установленный в центре садика, два раза попадала молния, пытались здесь устроить театр, но он сгорел. А вот сирень прижилась, разрослась стеной на радость влюбленным.

Димка всегда приходил с опозданием, Оля нервничала, беспрестанно поглядывала на часы, и ругала Матвея:

— Иди уже домой, горе…Ухажер, ты от матери ремня не получишь?..

Она злилась на Матвея из-за того, что на Димку вешались девчонки со всех факультетов, и он беспечно принимал знаки внимания не только от Оли.

— Что ты ходишь за мной? — спрашивала она у Матвея. — Я тебе в матери гожусь!..

Но она никогда не прогоняла его насовсем. Случалось, что он обижался, уходил, день — другой (больше не выдерживал) не показывался, тогда она звонила ему и говорила в трубку: «Ну что ты, душа моя, разобиделся, ведь я только тебя по настоящему люблю. Приходи, без тебя скучно…»

Он приходил и она при нем собиралась на свидание с Димкой (а еще у нее были ухажеры запасные — Вовчик с механического завода и Гришка из Куреней), утюжила юбку, кофточку, нисколько не стесняясь Матвея, надевала чулки. Он сгорал тогда от ревности и любви.

Однажды она никак не могла справиться с какой-то застежкой, попросила Матвея помочь; он возился, как ему показалось, полчаса — и его бросало то в холод, то в жар. Кончилось тем, что она сама справилась с застежкой, сказала:

— Не печалься, душа моя, опыт по отмыканию этих запоров у тебя появится раньше, чем ты думаешь, красавчик.

И она обняла его и поцеловала в губы, и еще, и еще… Прошептала:

— Не торопись, я буду твоей…

И оттолкнула его.

Первый раз она потащила его за собой в сиреневый садик в качестве носильщика здоровенной картонной коробки. Какая-то далекая ее родственница, жившая как раз напротив садика, привезла Оле посылку откуда-то из села, и посылку надо было срочно забрать.

— Будь другом, — сказала она Матвею, — у меня с Димкой променад, а ты поднимись на третий этаж, скажи, что ты от меня, и получишь груз… Надеюсь, ты осилишь пару килограммов.

— Опять этот баловень судьбы? Любимец недалеких женщин — сказал Матвей и послушно отправился за посылкой. Оля вслед ему сказала:

—- Еще каких недалеких!..

Коробка оказалась неподъемной. Килограммов десять — пятнадцать. «Наверное, все золото ацтеков прислали, — подумал Матвей, принимая посылку».

С этим ящиком он обошел весь сиреневый садик, пока не нашел Олю и Димку.

— Для чего ты сюда принес коробку, — огорчилась Оля, — ты что не понял, что ее ко мне в общагу надо оттаранить?

— Может, пан спортсмен озаботится этим сундуком? — сказал Матвей. — Тем более, что судя по весу, пришло приданое?

Спортфаковец пробормотал что-то насчет растяжения какого-то важного сухожилия, и отвернулся.

— Вот так! — сказала Оля. — Теперь я вижу, как вы оба ко мне относитесь.

Матвей разозлился: что он ей, носильщик? Диме достанутся поцелуи под сиренью, а ему тащить этот контейнер в общагу?

— Давайте вместе прогуляемся до общаги, — предложил он способ преодоления кризиса, — занесем посылку и пойдем на танцы в Фурмачи (так в народе называли другой городской сад — имени Фурманова)?

Дима так и взвился:

— Между прочим, Оля пришла на свидание со мной!..

— И со мной тоже, — нашел он что сказать.

— А, может, в коробке есть съестное?- вовремя спросил Дима. Ради жрачки он готов был забыть разногласия.

Оля кивнула:

— Яблоки, конфеты, колбаса…

— Грех не попробовать! — облизнулся Дима. — Оля, как ты на это смотришь?.. Да и ящик станет легче…

Как бы она на это не смотрела, но коробку открыли. Сверху лежало письмо: «Дорогая Олюшка! Во первых строках нашего с отцом письма…».

Письмо он взяла, а также что-то черное, тонкое и шелковое, засунула на дно своей сумочки.

Сказала сердито:

— Чего таращитесь, отвернитесь!..

— Что, мы лифчиков не видели? — хохотнул Дима. — Третий размер, да?..

Они уселись неподалеку от памятника утонувшему начдиву и принялись хрустеть яблоками. Попробовали и шоколадные конфеты, сжевали круг колбасы — хороший аппетит был у них, несмотря на любовные терзания. Собственно, по настоящему терзался только Матвей…

Потом они, втроем же, отправились гулять по ночным улицам, и Матвей с Димой поочередно носили ящик, который и вправду стал легче.

На другой день Матвей пришел в садик к вечера, и не ошибся: вскоре показалась Оля, а чуть позже появился Дима.

— Что ты здесь делаешь? — спросила у Матвея Оля.

— Ну, точно не трамвая дожидаюсь, потому, что, как ты помнишь, в нашем городе вообще нет трамваев.

— Остроумие двоечника, — рассердилась она, но и в этот вечер они гуляли втроем.

На третий день Матвей опять пришел в сиреневый садик. Напрасно обошел все укромные уголки сквера, просидел два часа на скамейке около Чапаева — ни Оля, ни Дима не пришли сюда…

Он отправился к ней в общежитие, но там сказали, что она съехала на съемную квартиру, да не одна.

— Почему не одна? — принялся он произносить идиотские вопросы, в ответ услышал только усмешки:

— Потому…

Никто не узнал, а он сам поспешил забыть, как в один из тех дней, устав разыскивать Олю, он горько плакал, сидя на скамейке около изваянного начдива, и слезы лились ручьем, и в них утонула его любовь.

А потом он уехал в Алма-Ату, поступил в университет, деньки полетели быстрые, как пули, и как-то совершенно незаметно сбились в годы и десятилетия. Он виделся с Олей только раз, приехал на каникулы и встретил ее в магазине, увешанную сумками из которых торчали батоны, куриные ноги, бутылки с кефиром. Она шумно обрадовалась, или притворилась, что обрадовалась. Но ему было все равно:

— Привет! Рада видеть тебя! Повзрослел-то как! Мужчина настоящий!.. Я часто тебя вспоминаю… Как-то неправильно мы расстались, как говорят, — по-английски, не сказав даже «до свидания».

Она затащила его к себе в квартиру на двенадцатом этаже какого-то темного дома, с заколоченными ставнями. Лифт не работал, лампочки в подъезде не горели, и они забирались на двенадцатый этаж в кромешной темноте, где на лестничных площадках тлели огоньки папирос, выхватывая из кромешной темноты лики курильщиков.

Она потчевала его чаем, говорила без умолку:

— Я в школе работаю, веду младшие классы, зарплата кот наплакал, вот однокомнатную получила,- конечно, не жилье, а каморка, но некоторые девчонки, которые вместе со мной учились, до сих пор в общагах маются… Ты пей, чай хороший — со слониками… К нам надолго?..

Ему почудилась в ее голосе какая-то мольба, хотя она изо всех сил улыбалась, была шумной и многословной.

— Значит все хорошо? — не удержался он.

— Да, чудесно! — сказала она. — Виталик в продленке…Муж — Сергей — на футбол сегодня собирался. Вы же, мужики, даже если объявят атомную войну, пойдете на футбол или отправитесь на рыбалку!..

— Я не люблю футбол, — сказал Матвей, и заторопился:

— Мне вообще-то пора…

— Может, еще когда зайдешь? — спросила она. — Я Сергея предупрежу, он пива возьмет разливного, посидим? У нас есть что с тобой вспомнить…

Что она имела ввиду?

Он пообещал зайти на неделе. А предварительно позвонить, договориться… Но, конечно же, не позвонил, не договорился. И вообще, он не любил разливное пиво.

Давно это было и давно выболело. А сиреневый садик разгородили, вытоптали траву, убрали памятник Чапаеву, и как-то быстро забыли, что этот сквер был на этом месте, и когда-то его называли «территорией любви»… Но вот телевизор из будущего показывает живой, восстановленный садик. И Матвей поверил в дальновизор, в прошлое и будущее. И в то, что можно отправиться туда (а зачем?), зная формулу настойки гюрзинского яда.

Дальновизор еще показывал восстановленный железнодорожный вокзал, пристань с дебаркадером, Макарову мельницу, а Матвей уже прикидывал, можно ли в этом бу-

дущем издать его последний роман и потом перебросить весь тираж в прошлое, когда люди еще читали книги?

— В будущем литературы больше нет, — рассказывала Таня. — Все уже написано. Облачная литература, конечно никуда не делась, но к ней обращаются крайне редко. Писателей-профессионалов, конечно же, нет, да и для чего они — перепевать писанное-сто раз переписанное? А книжку написать за пару дней каждый может с помощью компьютерной программы «Классик литературы»…

— Ты прямо утешила меня, да что там меня — вся наша пишущая братия несказанно обрадуется, когда узнает перспективу своих творений… — усмехнулся Матвей. — Да, собственно, давно к этому шло…

— Теперь ты почти все знаешь обо мне, о нас…- сказала Таня, и было в ее интонации нечто такое , что заставило его насторожиться.

— Что? — спросил он ее взглядом.

Она ответила не сразу, как будто решалась на что-то. Наконец, молвила:

— Послушай… Ведь тебя здесь ничего не держит, правда? Я пришла к выводу, что тебе все равно в каком столетии жить…Вернее, в каком веке бояться жить?.. Ты ведь рассказывал мне однажды, что один твой друг добровольно замуровал себя в потайной комнате, а ты ведь, признайся, такой же — ваша родина — космос, вы нигде не свои, всюду вам не хватает тепла…В общем, «Freedom Writer International» официально предлагает тебе переезд на постоянное место жительства в самое начало двадцатого века…Так сказать, на место Короленко…

Она осеклась увидев его тяжелый взгляд.

— И многих вы уже переселили? — спросил он. — В основном классиков, или удостоили этой чести и представителей авангарда?..

Она не расслышала сарказма в его словах:

— Это секретная информация, скажу только, что ты был бы весьма удивлен, узнав какие столпы литературы согласились перебраться в будущее, а некоторые наоборот выбрали прошлое!.. Места в их временных лакунах добровольно заняли достойные люди…Поверь, не так плохо проснуться однажды, ощущая себя…

— …полным дерьмом, — подсказал он.

— Напрасно ты так, — устала она от этого разговора, — напрасно…Ничего обидного для тебя лично я не вижу в нашем предложении… Тебе в прошлом ничего не угрожает, наши сотрудники просканировали предполагаемые реальности будущего и рассмотрели в них немало приятных для тебя моментов. В случае перехода в двадцатый век тебя ожидает знакомство с Андреем Белым, Валерианом Правдухиным, Виталием Бианки… Твоя новая книга будет сочувственно встречена в литературных кругах той эпохи…

— Погоди, — прервал он ее. — Правильно ли я понял, что ваши сотрудники интересовались моей скромной персоной еще до моего первого прихода к вам?

Она улыбнулась:

— Ты забываешь, что мы можем перемещаться во времени, и заглянуть как в прошлое так и возможное будущее кандидата на эмиграцию…

— Выходит ты знала, что я приду сюда в тот промозглый ноябрьский вечер?

— Конечно, — сказала она. — Мы строго отбираем кандидатов на переброску во времени, мы не можем полагаться на случайных, не проверенных людей.

— Ну что ты сердишься? — сказала она ласково. К тому времени окончательно растворился в коричневом полумраке иллюзионист со своим дальновизором, и они остались одни.

Таня обняла его, он отстранился. Нужно было хоть что-то сказать, но слов подходящих не было, неподходящих тоже. «Ноябрь так и не кончился», — подумал Матвей.

Наверное, ситуация требовала, чтобы он обиженно нахлобучил шапку, бросился надевать пальто, не попадая в руками в рукава, и вылетел бы в самое сердце ноября? Но он никуда не ушел, и пальто осталось на вешалке, и его волчья шапка лежала на стуле, как забытая кем-то голова.

— Ну, чего ты так расстраиваешься? — сказала Таня. — Ведь тебя никто не неволит… Найдется другой кандидат…

Он не ответил. Действительно, к побегу у нас готовы едва ли не все. С подъемными, командировочными, с баулом накопленных ефимков, или совсем без копейки, мы охотно бросаем намоленные места, чтобы тосковать в новых своих городах, мечтая когда-нибудь бросить их тоже.

Наконец, он разомкнул уста:

— Нашу любовь ты тоже заказала?..А что, пять капель гюрзинского, и готово?

— Как ты мог даже подумать об этом?- возмутилась она. — Это произошло без помощи сканеров, змеиного яда и сапог для ходьбы на месте…Любовь не подгадаешь…

— Ты извини меня, — сказал Матвей. — Но я думаю, что и Короленко не захочет бросить свое время.

— Очень печально, — сказала она. — Особенно для меня…Если ты твердо отказываешься от нашего предложения, то моя миссия здесь завершается, и я должна отправиться домой.

Он не раз представлял себе разлуку с ней. Ему время от времени чудился — и во сне, и наяву — какой-то самолет, скорее даже самолетик — не то двухместный, не то вообще одноместной, и Таня в этом видении будто бы поднималась по узенькой металлической лесенке, забиралась в тесную кабину, махала рукой, и слезы текли у нее по щекам. А потом для чего-то она выбрасывала парашют, и тот падал на пожухлую аэродромную траву, и какие-то люди суетились около самолета, спотыкались о парашют, и в голову приходило сравнение с расстрелянным диверсантом — и почему диверсантом, и за что расстрелянном?

И самолетик запускает мотор, и тот тарахтит, и всем на аэродроме хочется перекричать тарахтение и сказать Тане, что зря она улетает, что зря пренебрегла парашютом, и вообще все было зря. И Матвей тоже кричит:

— Возвращайся!

Но она качает головой в прозрачном фонаре кабины, нет, она не вернется. Никогда. Потому, что очень велик список тех, кто хочет иммигрировать в двадцать третий век — лишь бы подальше от этих бесконечных ноябрей.

— Да, — сказал он, — вы у себя в двадцать третьем веке решили за всех нас: кому в каком веке спасаться, кому и где прятаться? А как с вашим знаменитым Законом Компенсации, о котором вы мне все уши прожужжали? Если вы смутите и по углам попрячете нестойкие души, то не окажется ли, что вы вместе с болью удалили дух? Какую компенсацию за это потребовать?..

Она ничего не ответила, отвернулась к окну, за которым догорал последний ноябрьский день.

— Ты вернешься когда-нибудь? — спросил он.

— Это невозможно, — сказала она, — разве только на свой страх и риск убежать из родного века, а это значит бросить всю свою жизнь…

— Прощай, — сказал он. — Может быть, ты и права: таланты надо защищать…

— Прощай, — сказала она.

Последний день ноября выдался на удивление теплым, наверное, к снегу и Матвей отправился домой пешком. Как будто в прочие дни его возил лимузин, за рулем которого сидел бородатый, больше похожий на кучера, чем на шофера, мужик.

Нет, он всегда ходил пешком, но уходя, придумывал: «Я поехал», «за мной машина пришла», «шофер устал сигналить»…

Он не очень любил машины, они ему не нравились, и он сам не знал почему. Ведь не потому, что у него с сегодняшнего дня начинается «гюрзинский» период, и он продлится не один день? И не потому, что в двадцать третьем веке живет женщина, которую он не сможет забыть, и от этого не спасает самый страшный змеиный яд? И уж, конечно, не потому он не любит машины, что они не уступают дороги. Он дошел до перекрестка, где огромным — на весь квартал — слоном стоял дом Карева. «Ну и строение!» — дивился он каждый раз, глядя на это старинное

здание шатровая крыша которого походила на дирижабль.

Светофор малиновым огнем остановил прохожих, и опять покатились машины. За стеклом одной из них мелькнуло знакомое лицо, бородатое, в бороде серебрилась седина. «Похож на Малыгина, — подумал Матвей, — но не такой неприбранный, как знаменитый художник. Есть сходство и с командиром городской пожарной дружины, но пожарник лыс, как биллиардный шар, а у этого шевелюра густа, как у… как у…

«Как у Короленко, — подсказал кто-то голосом Тани. — Как у Владимира Галактионовича…».

Матвей рванулся было за машиной, но, конечно же, не догнал, да и если бы даже догнал, то что мог бы спросить? «Простите, вы не писатель Короленко, прибывший к нам из прошлого? Нет, а кто вы? Наборщик местной типографии? Вы как раз готовите к выходу однотомник избранных произведений Владимира Галактионовича?.. Вот ведь как сошлось! Кто я, и по какому праву задаю вам эти вопросы? Можете считать, что — никто. Меня готовили к вам на замену в двадцатый век… Согласен, согласен, больше я похож на городского сумасшедшего…».

Зеленый глаз светофора опять открылся для пешеходов и Матвей, подчиняясь его диктату, пошел дальше. «А, может я зря отказался? — думал он. — Кто оценит эту мою голубиную верность своему времени? Хотя, в конце-концов: «Времена не выбирают…»

И он вспомнил еще несколько строчек: «В них живут и умирают, Большей пошлости на свете Нет, чем клянчить и пенять. Будто можно те на эти, Как на рынке, поменять…»

«Изумительные строчки, — размышлял он, — но сегодня как раз настала эпоха менял, и все им по плечу: большое — на поменьше, молодое на зрелое, вчерашний день — на грядущий. Да что там день — не приглянулся век — долой его, книги в огонь, летописцев к стенке, пастырей — в мученики…

В ноябре рано темнеет. Матвей замешкался с кодовым замком двери подъезда его дома, и в это время на немыслимой высоте холодным электрическим светом вспыхнуло бессонное окно. «Сегодня тот, кто обитает этом орлином гнезде, рано отгородился электричеством от черной пустоты за окном, — подумал Матвей. — Ночь становится все больше и больше…

И он оставил свой замок, и двинулся в подъезд под высотным электрическим окном.

На его удачу подъезд был открыт. В кромешной темноте подъезда светились кнопки лифта. Матвей прошел мимо, он почему-то знал, что в таинственную квартиру можно попасть, только поднимаясь по лестнице, сколько бы на это не потребовалось времени и сил.

На лестничной площадке третьего этажа из мрака выступили крепкие ребята.

— Мужик, табачком не богат? — спросили они.

— Нет, — ответил он. — А вообще я из ОРГБОРЧУДА, слыхали?

— Как же, слыхали, — подобрели почему-то голоса у ребят, — делом люди занимаются. Проходите, проходите… Только скажите, внизу штиль или?..

— Штиль, — сказал Матвей. Он не знал никакого ОРГБОРЧУДА, сказал первое подвернувшееся слово, когда-то он видел его, кажется, на театральной афише.

На восьмом этаже ядовитой желтизной навстречу плеснули кошачьи глаза. Кажется, черная пантера. А какие еще водятся во мраке лестничных пропастей? Пантера зашипела, но не угрожающе, потерлась боком об ногу Матвея, на пол с треском посыпались синие искры.

— Ну, я пошел, — попрощался он с пантерой. — Мне еще карабкаться и карабкаться.

В ответ кошка лизнула ему руку.

На двадцать первом этаже его встретили музыканты, он узнал «Smoke on the water».

— Привет, лабухи!

Гитарист протянул ему руку, представился: Ричи. Коротко и ясно.

Дальше и выше пошли пустынные пространства. На тридцать восьмом этаже он устроил большой привал. Пожалел, что не зашел домой и не взял палатку и спальный мешок. Не помешало бы и одеяло. Можно было бы и вздремнуть.

На сороковом этаже чуть теплилась тусклая лампочка, освещала на стене дюжину акварелей. Матвей догадался, что это исчезающая выставка Малыгина. Уже много лет за этими шедеврами охотятся ценители, но выставка появляется и исчезает в самых неожиданных местах, и никому не дается в руки. Сам Малыгин не может объяснить феномен. Его даже вызывали, куда следует, говорили, что несанкционированные выставки сродни несанкционированным митингам и прочим подозрительным сборищам людей, но Малыгин ничего вразумительного по существу дела сообщить не смог, тем более, что был выпивши.

Матвей посмотрел акварели, ничего особенного, а коллекционеры с ума сходят… Блеклые цветочки, тусклые, размытые улицы, радуга над лесом, корзинка с грибами — брось взгляд и проходи мимо. Мимо…

И вдруг ему пришло в голову, что на всех выставленных рисунках Малыгина, известного певца дождей, романтика сентябрей и октябрей, на этот раз запечатлено лето — июнь, июль, поплавки на утренней заре, девушки в купальниках. Странно.

Добравшись до пятидесятого этажа, он остановился перед деревянной некрашеной дверью. Никакой таблички, ни номера квартиры не было на ней. Не было и кнопки звонка — колоти в дверь, сезам и откроется.

Матвей постучал. Никто не откликнулся, но тут же стал поворачиваться ключ в замке.

Щелк. Один раз. Надежный запор, а незваный гость лучше званого.

Щелк. Второй раз. Так открывают казематы с государственными врагами.

Щелк. Третий раз. Не так ли взводят курок?

Дверь открылась. На пороге стояла женщина во всем коричневом, и окружало ее все коричневое.

— Только дверь не успела выкрасить, — сказала Таня. — Здравствуй, милый. Я же тебе говорила, что точность наших переходов во времени пока еще не очень высока, так что, когда я решилась на побег, то оказалась на три года раньше нашего знакомства… Так что, я давно тебя тут жду. Ты рад?

Он перешагнул порог, спросил:

— Может ли это быть правдой?

Она ответила:

— Поживем — узнаем…

— А как же с Короленко?

— А вот этого мы не узнаем никогда, я же больше не занимаюсь эмиграцией, — ответила она и счастливо засмеялась.

Астана, 2013

ТРИЛОГИЯ

Тайна
Шамбала Иванова
Блэк энд голд

ТАЙНА

Иванов слагал стихи:

Жизнь ампутирована,
светлой ночью нет ни слова правды,
Ночью зеленой нет ни слова любви,
Ночью мертвой нет ни единой слезы...
Убегает под землю река,
ну, пока!..
Вот легкая, без жестов, рука,
на века...
Колодец тем глубже, чем надежней секрет,
Проживет ли эпоха без бед на обед?..

Он сочинял и прозу, писал от первого лица. Ему казалось, что только так можно полно и мощно выразить то, что внутри него самого. Короткое местоимение "я" всегда представлялось только началом страстного, глубокого монолога, исповеди, сжигающей душу до дна. Писать же от третьего лица — предательство по отношению к самому себе. Грамматические формы второго лица — просто ложь, ничего иного. Нет объекта интереснее "я", уж конечно не "мы".

В рукописи Иванов никогда не ставил значка начала абзаца, ведь тогда заветное местоимение оказывалось бы позади этого безликого, пустого обозначения. Он начинал свои рассказы с описания погоды: "Я всегда забываю, что на улице сентябрь, дождь. Я так свыкся с тем, что нет

солнца, пыли..." Или: "Я люблю осень, холодный ветер, непроницаемую дождливую ночь... Мне кажется, что ветер обнажает не только печальные мокрые деревья и полощет выцветшие флаги над государственными домами, — осенний ветер открывает что-то и в моей памяти. Точно, точно, именно в сентябре я встретил Марию..."

По Иванову выходило, что никогда на земле не было ни лета, ни весны — только осень, ожидание зимы. Может потому, что в комнате, где сочинял он, не было окон. Этот узкий, высокий и холодный параллелепипед со скрипучим деревянным полом, был некогда частью коридора огромной старинной квартиры, ныне коммунальной. До революции в квартире жил не то инженер, не то врач, вскоре расстрелянный, и его жена — тоже расстрелянная ради социальной справедливости, и их дочь, успевшая сбежать, кажется в Китай. Во время революции и гражданской войны здесь был какой-то штаб; штабисты любили палить из наганов в высокий потолок, может от тоски, — следы пуль были заметны и теперь. Потом в квартире поселился начальник в сером кителе, с желтым портфелем, но и за ним как-то приехали. В скучные мирные времена сюда заселились четыре семьи — десяток баб в засаленных халатах, чуть меньше мужиков в пижамных штанах и растянутых майках, и не поддающееся счету количество детей — на трехколесных велосипедах, на горшках, в люльках. Мужики пили, бабы рожали, дети орали — квартирный кризис становился все острее. И тогда пришла в чью-то распорядительную голову счастливая мысль отгородить часть коридора — получится еще одна комната. И получилась. Площадь — десять с половиной метров, вполне подходящая для молодого пятидесятилетнего писателя, поэта осени, живописца дождей. Высота до потолка — три с половиной метра; тусклая лампочка, висящая на грязной скрученной косичке электропровода, едва освещает только потолок, а внизу всегда мрак, поэтому взгляд Иванова сам собою тянется кверху, к пыльному свету и эта постоянная задранность головы время от времени наводит на мысль о петле. Иванов пугается и успокаивает себя: "До этого по-

толка с веником-то — паутину обмахнуть — не доберешься, не то, что с веревкой!..” Но все равно страшно. Светлый потолок притягивает. Там смерть и жизнь, там, в засадах сидят пауки, там вращаются вокруг стеклянного светила поздние злые мухи, там кружатся головы у таинственных квартирных мотыльков.

Иванов, когда не сочинял рассказы и стихи, лежал на раскладушке, из темной глубины наблюдал за многообразными формами электрической жизни. Ему не дано было распоряжаться чередованием света и тьмы, потому, что его лампочка была только частью коридорного освещения и выключатель был расположен где-то у общей входной двери, и каждый коммунальный жилец, вернувшись с работы или из скобяного магазина, сняв печальные октябрьские галоши, мог по инерции щелкнуть выключателем, забыв, что, экономя коридорное электричество, он погружает в непроглядную ночь обиталище Иванова. Так жильцы и делали; Иванов смирился, утомившись бороться за свет, ведь, в конце концов, думал он, ни один человек не может продлить день или остановить ночь.

Он мог бы и вообще обойтись без электричества, но ему иногда нужно было заносить на бумагу то, что собиралось у него в голове из коротких раскладушечных снов, наблюдений за пауками, обрывков соседских разговоров, воспоминаний об осени.

Он не всегда знал, какой осенний месяц на дворе — май или февраль; двенадцать часов были равны полуночи и полудню. По частоте далеких утробных рычаний унитаза он догадывался: август, овощи, желудочные расстройства; по возбужденной коридорной беготне, перетаскиванию громыхающей кастрюльной утвари знал: апрель, дачное кочевье; январь был самым тихим, придавленным — даже дети орали глуше, даже пьяницы осторожнее звякали пустыми бутылками, собирая их в мешки для обмена на полные.

Иванов иногда покупал водку, но даже два-три глотка ее разрушали жизнь. Ему хотелось тогда покинуть раскладушку и присоединиться на кухне к мужикам, играющим в подкидного дурака без перерыва с пятого марта пятьдесят третьего года. Он так и поступал прежде, принося с собой бутылку, держа ее за горлышко как противопехотную гранату. Пижамная пехота поначалу принимала его в свои ряды, но на закуску он норовил притащить залитую дождями страничку экзистенциальной прозы или продрогший от ноябрьских сквозняков верлибр.

Шаг тяжелый неслышим. Не дышим,
не живем!..
Счет бездушный, послушный, ненужный
все ведем.
Вавилон не разрушен! Мир ветрами простужен,
мы идем и идем...
И вопросов не знаем, и ответов не ждем...
.....

Его прогнали от карточного стола, сказали “забери свою водяру кислую!” Он не стал надоедать, а когда изредка случалась водка, он заворачивал бутылку на американский манер в кулек и шел в сквер имени Чапаева, садился на полосатую садовую скамейку у самого памятника герою сражений и анекдотов, и не торопясь, пил прямо из горлышка и обязательно встречал здесь замечательных собеседников, Чаще всего это были старики, глухие тетери, выгуливающие собак и правнуков. И те, и другие охотно слушали Иванова.

Но это было редко.

Еще реже случался праздник. В прошлом году областная газета под рубрикой “Для чтения на досуге” напечатала его стихотворение “Над мертвой землей”, причем в заметке, рассказывающей об авторах рубрики, он был назван “нашим оригинальным писателем”. Иванов хотел подарить один номер газеты Марии, постучал в дверь под номером три, но она не открыла, сказала: “Оставь меня в покое, прошу тебя!..” Он еще постучал и тогда вышел Гри-

шак, оттеснил его от двери большим мягким животом: “катись ты к едрене фене со своими стишками!” Но газету взял, так что неизвестно прочитала ли Мария стихотворение с тайным ей посвящением. Но все равно хорошо публиковаться.

Мария переехала из комнаты Иванова в комнату номер три, к Гришаку, не так давно, осенью. Как раз на потолке расплылось огромное рыжее дождевое пятно, самое большое из всех, похожее на контуры Великобритании с островами. Тогда же сверху упал пласт штукатурки, разбил изумрудную, бутылочного стекла, цветочную вазу на комоде, мариину любимую. Она заплакала, сказала всхлипывая:

— Не могу больше терпеть, не могу...

Он не понял, бросился утешать:

— Ну, подумаешь, какая-то вазочка!..

— При чем тут вазочка?! — страшно закричала она.

— Тебе потолок жалко?

Она огляделась вокруг: облупленные стены, прикрытые двумя одинаковыми ковриками с изображенными на них мутными замками и оленями, тяжелый, кажется, гранитный, комод — приданое Марии, шаткая железная кровать на колесиках, больше похожая на могильную ограду, чем на ложе любви и сна, платяной шкаф — деревянная Пизанская башня, два табурета с отверстиями для их переноски с места на место и дубовое канцелярское кресло — самая надежная вещь в комнате. И все. Впрочем, на самой из ободранных стен висела еще картина в некрашенной багетной раме, подаренная некогда Иванову вечно пьяным художником Малыгиным. Картина была странная, на ней ничего не было, почти ничего. Малыгин на здоровенном холсте, на котором бы уместилась и Днепрогэс, изобразил голую желтую равнину — пустую, уходящую за далекий, едва угадывающийся горизонт. На переднем плане картины ветер рябил желтую воду мелкой лужи, около нее на мокрой глине отпечатан след босой ноги.

Малыгин, даря живописное произведение, заинтриговал Иванова:

— На картине я изобразил и тебя, милый... Смотри внимательнее и обнаружишь здесь свои растопыренные уши...

Теперь, когда Мария ушла к Гришаку и перетащила в комнату номер три комод, кровать, шкаф, табуреты и коврики, у Иванова остались только картина, раскладушка и кресло. А также много времени для того чтобы попытаться понять, что же все-таки Мария не смогла больше терпеть. Он часто смотрел на пустое желтое полотно и пытался найти себя, но ничего не получалось.

Он как-то опять постучал в дверь номер три.

— Кто там еще? — спросила она, не открывая двери.

— Я!..

— О Боже!..

— Маша, ты, почему ушла от меня?

Он услышал, как она всхлипнула за дверью.

— Мне неловко напоминать тебе, — продолжил он, — но мы с тобой в некотором смысле муж и жена... Наш брак зарегистрирован...

Она всхлипнула громче.

— Я люблю тебя, даже больше — я привык к тебе...

Она распахнула дверь, стала на пороге, уперев руки в бока, трефовая дама.

— Я четырнадцать лет на курорте не была! — сказала негромко, но ясно. — Почему?..

— Почему? — спросил он.

— Я девять лет ношу один плащ! Он надоел мне как хронический насморк!..

— Ты захворала?..

— Не издевайся! — закричала она и отмахнулась от возникшего было Гришака. — Я сто лет не была в театре, я никогда не пробовала черной икры, не пила “Мартини”, никогда мужик не помогал мне снимать чулки, я всю жизнь раздевалась сама...

— Неужели это так сложно? — успел вставить Иванов.

Она сверкнула глазами:

— У меня не осталось ни одной подруги! Почему? Вместо детей я считаю аборты...

К интересному разговору приоткрылись двери всех комнат.

— Я написал новый рассказ, посвятил его тебе, — сказал он.

Она хлопнула дверью и для него так и осталось тайной, почему она ушла от него. И почему оставила креслотрон, единственное из ее приданого, что не качалось, не скрипело, не кренилось?

“Я люблю смотреть в ночное окно, когда за стеклом не видно ничего — чернота, холод, — и не нужно отвлекаться от самого стекла: дождь каждую минуту меняет на нем свой рисунок; то несутся по нему реки, тонкие и скрученные, как узбекские косички, то медленной волной проплывает розовая лава, раскаленная моим взглядом... Хорошо, что так тихо, пусто... А вот целое чудо: по всей ледяной площади стекла, как по зеркалу, катится единственная капля. Дождь не кончится никогда, и капля растворится в целом море воды... Нужен ли человеку кто-то, чтобы раствориться в нем?..” — Иванов откладывал ручку, смотрел на освещенный потолок, на желтую картину: может этот след на мокрой глине оставила его нога? А сам он уже за горизонтом? Может его портрет должен составиться из каких-то отдельных линий, мазков, штрихов? Хитер, хоть и пьян всегда, художник Малыгин!.. Или портрет Иванова нужно собирать как мозаику из редких шаров перекати-поле, плоских унылых камней, желтой ряби на воде?..

Он не находил себя.

А неделю назад картина рухнула. Глиняной тяжести желтой равнины не выдержал ржавый гвоздь, разогнулся. И мир изменился. В одну секунду равнина стала отвесной скалой, лужа — водопадом, перекати-поле обернулись первыми глыбами начинающегося камнепада. Но и здесь Иванова не было.

Он попытался водрузить картину на место, но слабый от старости гвоздь тут же сломался. Иванов с трудом придвинул кресло к стене, взобрался на него, как на сторожевую вышку, попытался вытащить обломок гвоздя. Но ржавый металл упорно сопротивлялся. Иванов ободрал

до крови пальцы. Перепачкал вельветовую писательскую куртку красной кирпичной трухой, но гвоздь не поддался.

Иванов постучал в дверь номер три.

Гришак вышел, как Челубей на битву.

— Вася, дай плоскогубцы на минутку, — попросил Иванов.

Вася молча вернулся в свою комнату и принес плоскогубцы.

— И еще молоток, — дополнил Иванов, — и гвоздь побольше...

Гришак не отказал ни в молотке, ни в гвозде, вопросительно уставился на Иванова: что еще?

— Может тебе и бетономешалку подать? — закричала откуда-то из глубины комнаты номер три Мария.

— Пока не нужна, — сказал Иванов и вернулся в свою комнату, пятую.

Против плоскогубцев обезглавленный гвоздь не устоял, был вытащен как гнилой зуб, вместе с деревянной пробкой, в которой собственно и держался в стене.

И в это время (судьбу караулит случай) в очередной раз кто-то щелкнул выключателем у входной двери и комната погрузилась в кромешный мрак. И тут же черноту насквозь проколола светящаяся спица.

Иванов оторопел: откуда здесь взялся солнечный луч? Он потянулся к нему рукой и на ладони возник оранжевый кружок, золотая копеечка.

Он взгромоздился на кресло и убедился, что свет исходит из крошечного отверстия в стене, возникшего в результате операции по удалению гвоздя. Иванов приник к нему, как к окуляру, но ничего не рассмотрел, пучок света был горяч и ярок, слепил глаза.

Он снова отправился к двери номер три.

— Вася, дай, пожалуйста, отвертку, — спросил он у Гришака, — самую большую!..

— Может, ты гарнитур мебельный купил? — высунулась из-за спины Гришака голова Марии, вся в бигуди, похожая на голову той самой медузы.

Гришак подал ему отвертку и в гришаковских влажных глазах промелькнула тусклая искра: Вася уважал мастеровщину; люди с коловоротами, ломами, паяльниками, рулонами обоев были ему очень дороги, потому, что от них было много всякой пользы.

Иванов взял отвертку и вернулся в свою комнату.

Особых усилий не потребовалось. Наверное, торопливые каменщики в свое время переборщили в растворе с песком, а может вообще обошлись без цемента, потому, что едва он приступил к стене с отверткой, как посыпалась на пол строительная труха и первый кирпич оказался у него в руках. За ним второй, третий, четвертый...

В комнату номер пять вошли лето, солнце, зной: в проеме небрежно сложенной стены Иванов увидел небольшую комнатку — три метра на три, а может и меньше, но в комнатке этой было окно — совсем небольшое, под самым потолком, с занесенным пылью стеклом, но через стекло было видно голубое — без облаков, без туч, без дождя — небо.

Должно быть строители, выгораживая из обширного коммунального коридора келью номер пять, решили не возиться с подсобной комнаткой, просто заложили ее, как не было этих квадратных метров общей квартирной площади. А может здесь водилось вредное привидение и каменщики поставили на его пути кирпичную стену, ненадежную, однако.

Чуть не половину комнатки занимал узкий деревянный топчан, рядом с ним стоял исправный с виду велосипед. А на полу горбился пропыленный ворох журналов, газет, серых коленкоровых книг. Иванов напряг зрение и прочитал название одной из них: "Устав караульной службы". "Полезная книга, прямая и правдивая, — подумал он. — На велосипеде я тоже давно не катался..."

В углу комнаты желтела раковина умывальника, а над ней почерневший водопроводный кран, из которого равномерно срывались тяжелые капли воды. Рядом с раковиной над полом возвышался, как плаха, унитаз. "Тут что-то вроде бытовки было", — догадался Иванов.

И все-таки главным в комнате было окно. Когда успел кончиться дождь за ним? Откуда взялось солнце?

Иванов легко спрыгнул с кресла, вышел в коридор, осторожно притворил за собой дверь. Из комнаты номер четыре навстречу ему вышел суровый партийный алкоголик Иван Павлович, марксист, закаленный борец с троцкизмом и оппортунизмом.

— Завтра в десять! — сказал он, распространяя летучий аромат разливного азербайджанского вина. — Без опозданий!..

— Конечно! — Иванов не умел отказывать, но ему хотелось хотя бы намека на то, что произойдет завтра.

— Не забудь награды! — строго приказал Иван Павлович.

— У меня нет наград, только памятная медаль "30 лет освоения целины"...

— Очень хорошо! — похвалил старый партиец. — Медаль за бой, медаль за труд — из одного металла льют!..

— Из латуни, — подсказал Иванов.

Иван Павлович внимательно посмотрел на него, как бы издалека, вздохнул:

— Эх, молодежь!.. Ничего не знаете, но не ваша вина... Тебя Родина наградила, а ты говоришь "латунь". Эта латунь дороже золота!..

— Наверное, — сказал Иванов.

— Примешь немного? — спросил ветеран, таинственно улыбаясь.

— Водки? Вина?..

— Вино кончилось, оно всегда быстро кончается. Осталась пролетарская! За наш праздничек!

— А! — вспомнил Иванов. — Завтра и демонстрация будет?..

Про себя подумал: "Откуда солнце и зной в окне таинственной комнатки, на дворе-то оказывается ноябрь?"

— Будет, будет демонстрация! — сказал Иван Павлович и увлек писателя в свою, набитую добром, как сундук, комнату, усадил на пузатый диван под портрет Феликса Эдмундовича Дзержинского, налил по стаканчику проле-

тарской, вытащил из пожелтевшего от скуки холодильника полкруга засохшей колбасы, предложил:

— За партию, а? За Ленина, а?.. За Сталина, а? За товарища Кржижановского? А?..

— Иван Павлович, хотите купить мою комнату?..

— Купить?! — едва не подавился водкой партиец.

— Ну да...

— Шутишь?

— Я, может быть, уеду скоро...

— Вера! — зычно гаркнул марксист. — Вера! Нинка! Петька!..

Выкликнутые немедленно появились рядом с диваном. Иванов оторопел: где же были они секунду назад? Может, болтались на вешалках в необъятном шифоньере? Или лежали, как стопка белья, в похожем на пиратский галеон комоде? Или маялись невидимыми в глубине трельяжей, трюмо — десятке зеркал и зеркалец, развешанных в обиталище Ивана Павловича?

— А Колька где? — спросил он.

— За горохом поехал, забыл что ли? — ответила Вера, жена и соратница. Если бы она не была заключена в синий габардиновый сарафан с помидорной кофточкой, а в мужской костюм из этой же благородной материи, то отличить ее от мужа было бы невозможно. И лицом, и фигурой — всей крупной статью, сверкающим взором — она была точной копией Ивана Павловича. И запах азербайджанского портвейна был тот же.

Детишки — Нинка, девушка с веслом, Петька, неисправимый комсомолец, борец вольного стиля, интеллигент — тоже были срублены по тому же образцу.

— А Вовка?

— Гуляет он, известно...

— Вот гаденыш, пропивает денежки!.. Ну а Василий где болтается?

“Господи, сколько же их здесь живет?” — с ужасом подумал Иванов.

— Витька, котяра, у Зойки...

— Вот это хорошо! — одобрил Иван Павлович. — Может женится...

— Ага! — неопределенно сказала девушка с веслом.

— Молчи, бестолочь! — приказал отец. — В общем, дело такое: человек комнату уступить хочет... недорого...

— Какой человек? — спросил Петька.

— Вот человек, раскрой глаза! — Иван Павлович жестом пролетарского вождя указал на Иванова.

Удовлетворение и понимание легко прочитались в глазах дружной семьи. В самом деле, для чего одному малополезному члену общества занимать столько жилплощади? Хорошо, что он сам понял.

— Покидаешь нас? — спросила Вера.

— В некотором роде, — ответил Иванов.

— Да что там! — помог ему Иван Павлович. — Надоела ему наша коммунальная кислятина! Он человек молодой, умный, ему перемена мест полезна. А мы поможем... в меру сил и средств... Он, глядишь, чего-нибудь хорошее про нас в журнальчик тиснет. Тиснешь?..

— Само собой! — пообещал Иванов.

Иван Павлович махнул рукой на жену и детишек; те снова пропали в тяжелых пыльных коврах, высоких, как эшафоты, кроватях, пирамидах подушек, частоколе стульев и этажерок.

— Сколько ты хочешь? — спросил Иван Павлович. — Пятьсот американских зелененьких могу дать... И телевизор черно-белый, “Рекорд” называется...

— Не нужен мне телевизор.

— И литр столичной разопьем с моей закусью...

— Я подумаю до завтра, — сказал Иванов и стал выбираться из комнаты ветерана.

— Не передумаешь? — спросил вслед Иван Павлович.

— Вряд ли! — пообещал писатель осени.

Он вернулся в свою посветлевшую комнату, уселся в кресло, задумался. “Чем жив человек? — размышлял он. — Всем известно, что надеждами. Самый серый, самый маленький, самый больной — все вокруг чего-то ждут. Кто

телевизионной мексиканской любви, кто выдачи жалованья на родном кожевенном заводе, кто мечтает хоть раз в жизни выиграть в лотерее — цветастый китайский термос или лопоухий вентилятор... Надежда — лекарство для ходячих больных. А если нет мочи встать?..”

Он снова вышел в коридор и остановился у двери номер три.

— Мария! — позвал он.

Щелкнул замок, и дверь приоткрылась, придерживаемая стальной собачьей цепью.

— Ну! — сказала почти невидимая Мария.

— Я уехать собираюсь, Маша, — сказал Иванов.

— На северный полюс что ли?..

— Ближе...

— К брату в Сыктывкар?.. Нужен ты ему, как заноза в заднице...

— Я и здесь никому не нужен...

— Не скули!.. — чуть пошире приоткрыла дверь она. — Не разжалобишь! Найди себе бабу хорошую и живи как человек. Под ноги больше смотри, а не на потолок. На потолке пауки живут, а люди внизу, понял?..

— Да, — ответил он. — Хочешь, я тебе стихи последние прочитаю?

— Вот этого не надо, без стихов тошно...

— Согласен, что без стихов тошно, — сказал он и добавил:

— Ну ладно. Пока!

— Пока! — ответила она и прикрыла дверь.

Ночью он начал новый рассказ, скорее даже эссе об осеннем одиночестве, неприкаянности человека, необъяснимости жизни и бесконечности холодного равнодушного времени. Он написал несколько страниц, перечитал: недлинно, ясно, по-русски — что еще нужно для приличной прозы? Рассказ начинался словами: “Я думал, что дождь — навсегда...”

Наутро он не стал даже бриться, зачем, если все равно бороду отращивать? — и отправился по магазинам. Товар выбирал скромный — по деньгам, — но питательный: вермишелевые супы в пакетах, бульонные кубики, консервированные кильки в томате, рожки и простую серую вермишель. Купил сухого молока, тушенки, консервированных субпродуктов — еле дотащил до дома.

Постучался к Ивану Павловичу:

— Гони пятьсот долларов!

— Хитер, бродяга! — засмеялся борец за светлое коммунистическое будущее. — Сначала бумаги надо оформить!

Иванов ужаснулся:

— Это же на годы растянется!

— Плохо ты знаешь нас, ветеранов!

И действительно, пришлось всего полдня мотаться по конторам и кабинетам, стучаться в двери и скрестись в окошечки. К вечеру были поставлены все печати, штампы и подписи на ворохе разноцветных бумажек. Иван Павлович протянул писателю, ставшему бездомным, четыре стодолларовых купюры.

— Где еще сотня? — спросил обескураженный Иванов.

— Ты думаешь, документы задарма оформляются? — ответил Иван Павлович.

— А телевизор как же? А литр водки?

— Это будет.

— Телевизор можете себе оставить. За это у меня одна просьба. Когда я уеду, повесьте на прежнее место картину... На той картине где-то есть я... Где, не знаю, художник не сказал.

— Картина не помешает, — сказал новый хозяин комнаты номер пять, — пусть стены ободранные пока прикрывает...

На следующий день Иванов купил еще тушенки, вермишели, бульонных кубиков. И целый куль развесного грузинского чая. Обзавелся электроплиткой, кастрюлей, чайником. В писчебумажном магазине купил три сотни школьных тетрадей — чуть не полпуда. Дождался вечера и отправился на прогулку. Как всегда моросил дождь, на

улицах было безлюдно, темно, тревожно. Светофоры на пустынных перекрестках не давали забыть о покинутости и обреченности города. Редкие машины проносились на огромной скорости, спасаясь от одиночества.

"Вряд ли я вернусь когда-нибудь сюда", — без грусти подумал Иванов. Он давно не любил этот город — с той же силой, что прежде любил. Он ненавидел натянутые струны троллейбусных проводов — они казались проволокой, вдоль которой бегают на цепи собаки и люди. Он ненавидел вагоновожатых, которые всю жизнь притворяются, что управляют трамваями, а трамваи послушны только судьбе, которая называется у них рельсами. Он содрогался при виде памятников — конные и пешие, неулыбчивые, затекшие в напряженных позах, они строго следили бронзовыми глазами за оставшимися в живых, как стервятники. Он не мог смотреть на горящие, как камины, витрины магазинов; особенно пугали его манекены, нарядные глиняные вампиры — они давно уже высосали всю кровь из блудливых продавщиц и прикованных к кассовым аппаратам кассирш и уже подбирались к редким прохожим, тянули к улицам холодные, жесткие руки. Он не любил почтамты и телеграфы — там было больше вранья, чем в газетах, а в телефонных будках висели черные тяжелые трубки, норовившие вцепиться пластмассовыми зубами прямо в сердце. Однажды, когда у Иванова случился небольшой гонорар, он пришел к междугородному телефону и сам не зная, почему позвонил по давнишнему номеру в далекий город, прилепившийся сейсмоустойчивыми фундаментами к отрогам Тянь-Шаня и ему ответил молодой, как тридцать лет назад, голос Марии.

— Але, але! — закричал Иванов.

— Да! Да! — ответил голос.

— Это я! — сошел с ума Иванов.

— Слышу, я слышу!.. Почему так долго не звонил?..

— Не мог, — пробормотал он. — Жизнь заела...

Она засмеялась звонко, весело:

— Что заело?..

Давным-давно он увез Марию из этого города, они никогда больше туда не возвращались, но голос ее, оказывается, остался там. А может быть не только голос?

— Мария? — спросил он по телефону.

— Ну а кто же еще? — откликнулась она. — Ты какой-то странный...

— Какое сегодня число? — спросил он.

— Конечно же, тридцатое, вот чудак!

Он взглянул на календарик наручных часов, он показывал двадцать девятое февраля.

— А год какой?

Она помолчала немного, произнесла негромко:

— Это точно ты?.. Впрочем, кому еще придет в голову использовать междугородную связь для идиотских вопросов?.. Скоро приедешь?..

— Скоро, совсем скоро! — пообещал он и повесил трубку.

Месяца через два он снова набрал знакомый номер. Мария ответила:

— Слушаю! Это снова ты?..

Он долго молчал, слушал ее голос:

— Говори же, говори!.. Пожалуйста, не молчи... Что случилось у тебя, что?..

Он больше не звонил туда, размышлял: может осталась в том городе у Марии племянница или младшая сестра? Или дальняя родственница? А может... Все может быть...

Иванов не любил театр. Там все было похоже на правду, но не было правдой: парики, грим, закулисный сумрак, притворство, быстрая и легкая с виду любовь, бутафорские пистолеты и пузырек валерьянки рядом с тюбиком вазелина...

Он давно не мог заставить себя пойти в кино. Он не хотел смириться с тем, что как ни крути, ни верти, а на экране все плоско.

Он боялся милиционеров. Ему мнилось, что вместе с пистолетами они получают путевки на отстрел двух-трех неудачников.

Он презирал дворников, своими жесткими метлами они сдирали с асфальта вчерашний день и загружали его в мусоровозы.

Он опасался ночи, темноты, не доверял дневному свету.

Иванов не любил в этом городе все.

На центральной площади города затеяно было строительство очередного фонтана, символизирующего безграничную власть народных вождей над стихией, когда любая струя бьет только в указанном направлении. Днем у фонтана возились зодчие в оранжевых касках, вели наступленье, а по вечерам над пустынным объектом болталась слабосильная лампочка и каждый мог подойти ближе, проникнуться величием замысла. Иванов подошел, извлек из кармана целлофановый пакет, осмотрелся, обнаружил металлический короб с цементом и насыпал в пакет тяжелого серого порошка. Туда же набросал пригоршнями песка. Сверху куча песка была влажна, холодна, но стоило копнуть немного и песок внутри оказался почти горячим, как в Сахаре.

Иванов вернулся в свою комнату, стал укладывать вещи. Набралось почти две сумки: рукописи, теплая и выходная рубахи, костюм-тройка с атласным жилетом, зимние ботинки, одеяло, домашние тапочки, немного белья, самопишущие ручки с пузырьками фиолетовых чернил, аспирин, валерьянка...

Он вытащил из стены еще несколько кирпичей и легко перелез в таинственную, забытую всеми комнатку. Перенес туда сумки с вещами, коробки с провизией, посуду, стопки тетрадей, пакет с цементом и песком, вынутые из стены кирпичи.

Он смахнул с топчана пыльное барахло, расстелил одеяло и лег, закрыл глаза. “ Вот так, — подумал он, — я еще жив... впрочем временно...” И вдруг ему вспомнилась давнишняя детская считалка. Много лет назад он стоял лицом к стене дровяного сарая и произносил ее слова пока его голоногие друзья — Колька, Вадька, Наташка и Серега прятались от него в тайные местечки огромного, захламленного городского двора. Никому не хотелось водить в этой игре, всем хотелось прятаться — чтоб тебя искали. А считалка была странная: “Раз, два, три, четыре... десять — царь велел меня повесить. Я висел, висел, висел, ветер дунул — я слетел. Раз, два, три, четыре, пять — я иду искать! Кто не спрятался — я не виноват!..”

Не все успевали укрыться от зорких глаз водящего — и он не был виноват перед ними, кричал, что было сил: “Вижу! Вижу! Выходи! Я тебя застукал!..”

Иванов усмехнулся и произнес негромко:

— Ну что, кто тут еще не спрятался?..

Никто ему не ответил.

Строгий марксист Иван Павлович два дня и две ночи с нетерпением ожидал, когда же придет прощаться и передавать ключи от комнаты номер пять мелкотравчатый писатель Иванов, но напрасно.

Утром третьего дня Иван Павлович решительно постучал в дверь напротив. В ответ ни звука. Он постучал еще решительней, и дверь отворилась. В комнате с ободранными, грязными стенами никого не было. Провисшая унылая раскладушка, засыпанное штукатуркой, заляпанное цементным раствором кресло и непонятная картина с желтой страшной пустыней — вот и все, что здесь было. Мерзость, беспорядок, неодушевленность.

— Вера! Нинка! Петька!.. — позвал Иван Павлович, и дружная семья выросла у него за спиной.

— Всю эту дрянь, — обвел он рукой комнату, — на свалку! Хотя картину можно оставить, вдруг дорогая? И сегодня же начнем штукатурить, белить, красить!.. Тут работы на год, сделаем не комнату — конфетку!..

Но Иван Павлович ошибся, ремонт был закончен в считанные дни. Сказались пролетарские навыки, дисциплина и целеустремленность. Комната засияла чистотой и уютом. Из нее исчезли мохнатые пауки, бледные электрические бабочки, раздраженные осенние мухи, — в комнату вместе с диваном, телевизором, торшером, журнальным столиком, трельяжем и вазой с восковыми цветами пришло лето.

Иван Павлович был доволен, еще бы! Но иногда он смотрел на пустыню, заключенную в багет, и странное тревожное чувство посещало его, как будто на самом деле где-то на картине находился писатель Иванов и прекрасно знал, что происходит в комнате номер пять.

Иван Павлович отгонял наваждение стаканом портвейна; портвейн и от других болезней помогал.

А Мария об Иванове не вспомнила ни разу.

ШАМБАЛА ИВАНОВА

Жизнь быстро проходит, думал Толик. Добываешь деньги, бьешься за существование, время от времени обжимаешь девочку, пьешь пиво, опять добываешь деньги, а она знай себе проходит. Просто обрушивается, обваливается, утекает. Иногда кажется, что сорвался с верхней перекладины приставной лестницы, летишь вниз, лихорадочно пытаясь ухватиться за другие перекладины, а они оказываются трухлявыми, разлетаются в сухие корябистые щепки при одном к ним прикосновении, и ты несешься к земле, круша все перекладины, задохнувшись от ужаса — этакий ксилофонный молоточек, выбивающий гаммы. В самом деле, вчера только было семнадцать, выпускной вечер, пароход до утра, таинственный свет в темной воде Урала, а сегодня уже двадцать девять — из училища, где он пытался превратиться в ученого сантехника, давно выгнали за какую-то мелочь, жена вышла как-то вечером в хлебный кисок за углом и не вернулась, деньги, вырученные от продажи квартиры деда, несгибаемого партийца Ивана Павловича, кончились пару лет назад, а такое ощущение, что и не начинались.

Он примерился, было, продать оставшуюся комнату — темную, без единого окошка, с тусклой лампочкой под потолком, но в родной стране разразился очередной кризис, интерес к покупке жилья у населения понизился; прибегал какой-то тип в кожаном пальто, в кожаной фу-

ражке — смотрел, нельзя ли комнату перестроить в общественный сортир, уж очень теперь прибылен сортирный бизнес. В принципе ему помещение понравилось — и этаж невысокий, и потолки выше трех метров, и площадь подходящая — народ бы косяком пошел справлять нужду, но мужик предложил смехотворные деньги, можно сказать, оскорбительные. В свое время дед Иван Павлович, занозистый и ухватливый старик, ничего, что редко трезвый, выкупил эту комнату у одного дурика, кажется, его фамилия была Иванов, за четыреста баксов. По тем временам деньги были немалые, ящиков двадцать бормотухи можно было взять, но даже тогда не каждый день комнаты обменивались на портвешок. Хотя в те поры и «Агдам», и «Талас», и славные номерные портвейны — двенадцатый, пятьдесят второй, знаменитые «три семерки» были чисты, крепки, ароматны, как молодость, но все же не многие решались, хотя, конечно, были герои, отдать квартиру за двадцать ящиков. Даже за двадцать пять.

Так этот в кожаном пальто предложил три тыщи. По нынешним временам — мизер, но соблазн все-таки был большой. Он даже позвонил Алику, тот подпольно жил в общаге мясокомбината, поинтересовался — нельзя ли и ему перейти там на подпольное положение, а три тысячи прогулять — надолго хватит, года на полтора, ну не меньше, чем недели на две, если экономить; а там война план покажет. Но Алик закричал, что за ним самим давно уже охотится комендант — не только из-за того, что он не прописан в общаге, а потому, что, якобы, украл две сковородки у этой выдры Лельки из шестьдесят восьмой комнаты, у которой и ночевал прежде, прячась в женском туалете от облав. Теперь Алик обитает в прачечной в полуподвальном этаже, там сныкаться негде, и думает, что со дня на день его вышибут на улицу, а на дворе октябрь. Придется зимой морозить жопу где-нибудь в теплотрассе, как бомж поганый. И еще хорошо, если на улице окажешься, а то заметут в миграционку, паспортов-то, само собой, на всех не хватает, и вывезут в какое-нибудь дружеское

государство, где и самим жрать нечего. С Вадиком Мохнатым так и вышло: вычислили его ментозавры на подловке, где он жил в тепле у отопительной трубы — горя не знал. Скрутили его, спрашивают документы, а откуда они у него, от сырости? Кто таков, откуда и зачем? — спросили у него, а он возьми и брякни:

— Из Гондураса я…

Или какую-то похожую страну назвал, не в этом дело. А в том, что погрузили его сначала в машину, а потом в самолет и отправили куда-то очень далеко. Мохнатый, конечно, вернется, плохо его ловилы знают. Мохнатого, как лосося, на место рождения тянет, но времени ему понадобится немало, все-таки Америка она где? Не каждый и знает где. Если Гондурас, конечно, в Америке, а не еще дальше — может, в Антарктиде? Говорят, там потеплело и земля антарктическая дорожает, может, поэтому и мотанул туда любознательный Мохнатый?

— Так что, до лета потерпи, — сказал Алик Толику, — а там продадим твой склеп, еще и цены вырастут, сами палатку китайскую купим, закатимся куда-нибудь на Урал, бухать будем, как белые люди.

— А сейчас мы что ли, черные?..

— А то какие же? Кости, может, и белые, но их пока не видно… А все остальное у нас черное… Даже под ногтями…

— Да ладно тебе чернить все… Если бабла нет, то это не значит, что у меня под ногтями черно…

Алик захохотал в трубку и спросил:

— А что — чисто что ли? Только не ври!..

Толик посмотрел на черный окоем ногтей и не соврал:

— Да уж почище, чем у тебя…

Известно было, что Алик три года не умывался, может, два. А уж ногти…

В общем, комнату он свою пока не продал, но надеялся, что кожаный еще передумает — даст хорошую цену, не поскупится ради прибыльного сортира.

Но это были перспективы, а пить и даже есть хотелось сейчас. Почти всегда.

В комнате его на стене висела странная картина, на которой простиралась вдаль желтая мокрая равнина, а на самом переднем плане отпечаток босой ноги, может мужской, а, может, женской, а, может, чем черт не шутит, обезьяньей. Но откуда в наших краях обезьяны? Хотя как посмотреть… Вон в третьем подъезде живет образина, чистый орангутанг, хотя и зовут по человечески — Евлампий…

Внизу картины подпись — Малыгин. Это художника фамилия, а того дурика — Иванов, точно. Он и картину эту впридачу к комнате оставил, а сам пропал куда-то. Дед Иван Павлович рассказывал, что Иванов спрятан где-то на этой картине, не сам, конечно, а его изображение — и так секретно замаскирован, что с первого взгляда не обнаружишь его. Во всяком случае, сам дурик так говорил, дескать, гадом буду, если вру — ищите меня здесь.

Толик много времени провел, разглядывая равнину, как будто ему было мало бесконечной желтой степи, взявшей город в осаду, но ничего не обнаружил. Но он верил, что Иванов каким-то хитроумным способом спрятан именно здесь; ему часто казалось, что с картины за ним следят внимательные глаза, но только где они?

Дед Иван Павлович уверял, что картина может стоить больших денег, потому, что она — самая настоящая абстракция, а абстракция сейчас в цене. Дело все в том, что люди рисовать разучились давно, но изо всех сил скрывают это — и те, кто мажет эти полотна, и особенно те, кто покупает, ведь они денежки свои вкладывают, думают, как в советскую сберкассу, что столько лет прожила без кризисов. А чтобы все понятно и узнаваемо было — домик под красной, как закат, черепицей, синее-синее озеро, в которое смотрятся лебеди, пестрая акварельная красавица с веером — так уже не умеют, искусство высокое умерло. Поэтому, может, и вправду за картину денежки-то немалые положат? Толик, само собой, не очень верил поддатому пращуру, но сейчас, когда особенно приперло, задумался серьезно. Еще раз посмотрел на желтую пустыню — тоска, похмелье, скоро зима… Продать, конеч-

но, продать вместе с нерасшифрованным Ивановым, дуриком жизни!

Толик примерился, картина большая, веса в ней немало, килограммов десять потянет, но ради высокой цели можно поднатужиться. Он забрался на стул, приподнял картину — тяжеленная, правда! — попытался снять ее со стены. Но не тут-то было. Тараканы, отдыхавшие под живописной сенью, недовольно разбежались, а картина не поддалась, висела на здоровенном ржавом гвозде, как ни в чем не бывало. Но Толик умел добиваться своего, особенно когда дело касалось выпить-и-закусить. Он рванул сильнее — и гвоздь вылетел из стены, долгожданная картина оказалась в руках.

А, вдруг, ей цена мильен? Или хотя бы сто тыщ? На крайний случай — тыща?

Он завернул драгоценность в газеты, укутал в холщовый мешок — все-таки в осеннем, дождливом городе выпало проживать — и отправился на улицу имени Зузанова, где прикрывшись от дождей полосатыми пляжными зонтами, свили себе гнезда художники-побирушки, пристающие к прохожим: «Барышня, за пятнадцать минут высокохудожественный портрет!.. Мужчина, купите пейзаж!.. Женщина, проходите, на загораживайте клиента!»

Толик подошел к первому, дремлющему под капюшоном выцветшего брезентового плаща. Все на нем было старое, седое, обтрепанное, даже огромная неопрятная бородища. Тот, не открывая глаз, сказал:

— Мужчина, купите пейзаж!..

Потом открыл глаза, произнес:

— Проваливай!..

— Картину продаю, — сказал Толик.

— Какую? — равнодушно спросил художник.

— Хорошую! — честно сказал Толик. — Абстракция… Дорогая, но за пару сотен отдам…

— Покажи, — едва-едва проявил интерес художник. К нему подтянулись и остальные обитатели полосатых зонтов.

Толик развернул мешковину, содрал газеты:

— Налетай!..

Страшный хохот потряс улицу имени Зузанова. Громче всех ржал бородатый.

— Ой, не могу! — ревел он. — Щас помру, абстракция!..

Толик сумел все-таки вставить слово:

— Ладно, сто пятьдесят!.. Сто…

Бородатый пересилил хохот:

— Чудо в перьях! Видишь здесь подпись — «Мылыгин»? Так вот, будем знакомы, Малыгин — это я…Мне же впариваешь мою картину…И ваще, нашел кому продавать картины — художникам, они сами не знают, куда их девать…

— Пятьдесят! — не растерялся Толик.

— Уговорил, — вдруг согласился Малыгин. — На бутылку я тебе дам…

Художник повернул к себе картину, погрустнел:

— Сколько лет прошло, однако? Годищев пролетело немерено… Сто лет назад эту картину я подарил другу — Иванову…Он вскорости после этого и пропал. У тебя она откуда?

— Мой дед ее купил у вашего Иванова вместе с комнатой…

— Не слышно о нем ничего? Может, весточку какую прислал?..

— Не знаю, как будто не присылал… Да и кому? Народ в квартире поменялся давно, теперь это не коммуналка, а типа общежитие… Жена его бывшая — Мария со своим новым мужиком — Гришаком — подались в хохляндию, дом там срубили, живут толсто и тепло.

— Странно…Пропадают люди. То ли их инопланетяне крадут, то ли сами от жизни убегают. А куда? — вот вопрос. Куда можно убежать из этого города в песках, от этого дождя, от этих картин? Можешь сказать?..

— Не знаю, — сказал Толик. — Зачем убегать?..

— Ты про царство Беловодское слышал? — спросил Малыгин.

— Алик, кажется, про чего-то такое говорил, — соврал на всякий случай Толик. — Да и сам я вроде читал — в «Комсомольской правде»… Оттуда тоже бегут?..

— Туда бегут, читатель… Говорят, там самое счастливое место на всей Земле…Все надорвавшиеся души туда стремятся…

— Аааа… Понятно… А чего, там демократия тоже? Или царизм?..

— Мало кто из Беловодии возвращается, еще меньше рассказывают. Но, должно быть, царизм, если царством зовется… Время от времени объявляются люди, как будто оттуда, но путано рассказывают, может, подписку при выезде давали?..

— Ты про Шамбалу говоришь? — встрял один из художников. — Она в Гималаях находится, всем известно. Вот мой дедушка в двадцать первом году был там в составе дружеской делегации, ему не понравилось, воздух там сильно разряженный… И питание неважное, мучного мало…

— Он твою бабушку с собой брал? — спросил Малыгин встрявшего.

— Зачем? — удивился тот. — Там же чистый экстрим в горах, камнепады, медведи и наскальные козлы…Бабушка бы не прошла…

— Вот поэтому ему и не понравилось, что бабушка не прошла. А прошла бы, то пекла бы ему пироги с мясом наскальных козлов… И ему бы понравилось…

— Место это называется Белый Остров и находится оно в пустыне Гоби, — встрял другой. — Уверяют, что это город Богов… Но его увидеть нельзя, потому, что он существует только в эфирной материи, и когда род людской на Земле разовьет эфирное зрение, город счастья будет найден. К слову сказать, эфирное зрение уже развито кое у кого из людей… Вот взять тех, кто смотрит на мои картины…

— Послушай, Анвар, к тебе клиентка — хочет в анфас портрет, — позвали художника к станку, и Толику с Малыгиным не удалось дослушать, что же случается с теми, кто смотрит на его картины.

— Эх, нет заказов, — сокрушился Малыгин, и предложил:

— Может, вместе скрасим этот осенний денек?

— У меня денег нет, — быстро сказал Толик.

— Да это я давно понял… Пойдем, посидим где-нибудь.

— В кабак? Чего деньги тратить зря! Знаю я эти обжираловки-надираловки — не накормят досыта, не напоят допьяна, а обдерут, как липку!.. Может, ко мне закатимся, у меня комната, в ней как раз и жил раньше ваш Иванов?..

— Твое бескорыстное предложение я принимаю, — сказал Малыгин, — потому, что некогда мы с Ивановым славно выпивали под его тусклой лампочкой, и это было чудесно, он прочитал мне тогда только что завершенное свое стихотворение. Помнишь, «Осенняя жизнь, любовь в октябре…»? Не помнишь?.. Ну да, что вы, молодые, помните?.. Хорошо, хорошо, пойдем!.. Хотя, признаться, я не очень люблю закатываться пить в берлоги, потому, что они засасывают надолго. Путь в берлогу — это кратчайший путь к запою. Кстати, феномен, не объясненный современной наукой. Однажды в одной уютной кочегарке мне удалось переждать зиму; я в конце листопада, зашел туда с бутылочкой к одному хорошему другу, он, кстати, гроссмейстер по шахматам, а удалось выбраться только в славную пору цветения акаций. Так что, в прожитых мною годах одной зимы не хватает. Но какие мы вели там споры! Какие идеи рождались! Что может быть плодотворнее многомесячных дискуссий, перемежаемых чарой доброго вина и здоровым, беззаботным сном?..

Они пришли в обиталище Толика, не забыв перед этим заглянуть в магазин, где на вынос и на розлив торговали утешением. Было бы желание утешаться.

Малыгин оглядел комнату, сказал:

— Ничего не изменилось…

— Мы ремонт делали, побелку, — обиделся Толик.

— Да я не это имею в виду, атмосфера как будто та же…

— А что с ней, атмосферой, сделается? Она всегда одинаковая: денег не хватает, зато говна выше крыши…

— Тогда наливай! — скомандовал художник новому другу.

Выпили, потом еще. Поговорили о жизни, как-то все в ней не клеится. Выпили еще. Во весь рост поднялись творческие проблемы. Васька Подорожный, собака, перехватил клиента, а заказ был — мечта — художественно облагородить один банчик, короче, написать десяток портретов ихних воротил: кого с книжкой в руке, кого на коне, кого с тростью, чтобы личину бандитскую прикрыть; заплатить обещали сказочно.

Выпили еще. Вспомнили жен.

— Ты женат? — спросил Малыгин.

— Ага, — ответил Толик. — Кажется…

— Она не заявится? — встревожился художник. — Кайф не обломает?

— Не должна вообще. Два года не заявлялась, а чего ей сегодня нарисоваться?

— Резонно, — похвалил его за сообразительность Малыгин. — А я не женат больше… Раньше раза три был, но не вынес… Мы художники — свободу превыше всего ценим…

Выпили, чуток закусили. Задумались надолго. Стало как будто смеркаться. Малыгин прервал молчание:

— Хотел бы ты попасть в Беловодье? В Шамбалу?..

Видимо, не давал покоя ему этот вопрос, бередил душу.

— Чего я там забыл? — чистосердечно признался Толик. — Были бы деньги, так я дальше гастронома вообще не ходил бы…

— Мракобес ты, — беззлобно сказал художник. — А я хотел бы… Там происходит накопление и объединение энергий искупления. Там все греховодники помилованы будут. Вот что написано про нее…

Он достал из кармана старую, истрепанную вырезку из газеты, прочитал: «Это таинственная страна, жители

которой знают законы управления природой и человечеством…»

— Зачем управлять-то тебе человечеством и природой?.. Живи, рисуй… И зачем тебе помилование, ты что ль убил кого-то?

— Убил… Еще как больно угробил!..

— Жену? Тещу? Человека какого?

— Человека. Себя…

— Шутишь, шутник, — сказал Толик и потянулся за стаканом. — Давай лучше за друга твоего выпьем, Иванова. Кстати, на этой стене висела твоя картина, вон гвоздь из стены вылетел.

— Оттуда как будто свет идет, — заметил Малыгин, — смотри, лучик закатный пробивается сквозь стену. Там что, квартира соседская?..

— Нет там никакой квартиры! Да и никакой лучик не пробивается. Тебе показалось. Лучше вздрогнем.

— Это мы успеем. Все-таки пробивается!..

Малыгин подошел к стене, поднял ладонь к тому месту, откуда вылетел гвоздь. И на нее лег крошечный световой зайчик. Художник подтащил стул, поднялся на него и прильнул глазом к отверстию в стене.

— Ничего не разглядишь, но какое-то помещение там определенно есть. Давай дырочку расковыряем побольше, может, там клад какой… Здание-то еще какого века, все может статься!..

— Давай, — нехотя согласился Толик, он не верил в клады, Шамбалу и даже в снижение цен на водку, о которой ему не уставал твердить Алик, дескать, государство богатеет и должно пойти навстречу народу, снизить цены на товары массового спроса.

Малыгин принялся столовым ножом расковыривать дырку в стене, посыпались штукатурка, кирпичное крошево, цементная пыль. Он снова заглянул в расширившееся отверстие и тут же отпрянул:

— Боже!..

— Что там? — спросил Толик. — Деньги?..

— Посмотри сам!

Толик с опаской заглянул в отверстие. И едва удержался, чтобы не закричать. В крошечной комнате на узеньком топчане лежал мужчина в костюме-тройке, атласном жилете. Рядом, склонившись над ним, сидела женщина, ее рыжие осенние волосы были рассыпаны на груди мужчины. Толик хотел окликнуть их, но присмотрелся, и слова застряли в глотке: и мужчина, и женщина были мертвы.

— Мертвецы? — шепотом спросил он художника.

— На живых не похожи… Но и на мертвых не очень… Как будто спят, но не дышат…

— Э-э-э-й-й! — едва слышно все-таки подал голос Толик.

Никто не откликнулся, кроме художника.

— Вот это клад! — сказал на глазах трезвеющий Малыгин. — Что делать-то будем?..

— По ментам теперь затаскают, по судам и комиссиям, — сориентировался Толик. — Замуровать опять все надо, и дело с концом…

— Замуровать-то просто… А как потом ты жить здесь будешь?..

— Нет, нет, страшно, боже! — Толик вспомнил, что крещен, перекрестился.

— Надо все равно посмотреть, что там к чему, — сказал художник. — Кто знает, что там найти можно…

Толик боялся мертвецов, но еще больше боялся, что чего-нибудь найдут без него.

— Давай, — сказал он не без внутреннего содрогания, — залезем…

Кроме кухонного ножа, в хозяйстве Толика нашлось не то долото, не то стамеска, они оба с художником не знали, чем эти благородные инструменты могут отличаться друг от друга. Но как бы не называлась эта полоска стали, она помогла друзьям справиться с кирпичной кладкой; не прошло и часа, как они стояли у проема в стене, размер которого вполне позволял им обоим попасть в таинственную комнату. Но они не торопились, потрясенные открывшейся картиной.

Мужчина и женщина в комнатушке как будто играли в «замри», да так искусно, что ни дыхания, ни малейшего движения не было заметно. Но вот сейчас они поднимут головы, улыбнутся, скажут: «Вот как мы вас разыграли!..» Но они были недвижимы… Малыгину даже показалось, что они попали в музей восковых фигур — где еще такое можно увидеть? Через минуту войдет снулая служительница и потребует предъявить билеты. Но служительница не вошла.

Так нереально было нечаянное открытие, что друзья все не решались перебраться в комнату.

— Как же они сюда попали? — прошептал Малыгин. — Загадка…

— Может, они еще с позапрошлого века тут сидят? — предположил Толик — От революции спрятались?..

— Думай, когда говоришь, посмотри, как они выглядят… одеты современно…А тут ведь даже дверей нет… Сюда ни зайти нельзя, ни выйти…Они замурованы, понимаешь?!.. Жуть!

— А, вдруг, здесь вход в другой мир? — выказал Толик знакомство с фантастикой.- Вон посмотри, в оконце солнечный свет пробивается, а мы сюда шли — дождь шпандырил?.. Да и вечер уже…

— Дожди приходят и уходят, — ответил художник. — Давай все-таки заберемся в эту комнату — и быстро перелез через проем в стене. Толик с опаской последовал за ним.

Малыгин осторожно подошел к мертвецу, присмотрелся, ахнул:

— Так это Иванов!.. Точно он! Бедняга!.. Что же здесь произошло?.. Они просто живые… Может летаргия?.. Да нет, не дышат…

Друзья огляделись. Несколько книг, бумага, ручки, карандаши, велосипед, пакеты с супами быстрого приготовления, консервные банки, ложка и нож, — и больше ничего. И разбросанные по комнате школьные тетрадки; они валялись на полу, лежали на топчане, даже в раковине — распухшие от влаги, даже на подоконнике крошечного окошка.

— Не могли же они жить здесь, — сказал Толик. — В пустоте такой…

— Ты сам-то почти в такой обитаешь…человек привыкает…

— Так у меня дверь есть, могу встать и уйти…

— Легко уйти, — раздумчиво произнес художник. — А вот ты попробуй не уходить…

— Чего ради? — ответил Толик. — Человек — существо передвижное, и даже придумал для убыстрения своего движения паровозы, самолеты и пароходы, вон велосипед — тоже для убыстрения, — и зачем человеку сидеть в четырех стенах?.. Если, конечно, тебя не заперли…

— Наверное, в детстве тебя в чулане не раз закрывали, признайся!.. Наверное, пракудил немало?.. Закрывали?..

— Нет! Никогда, — соврал Толик и покраснел, вспомнил, как суровый дедушка Иван Павлович застал его однажды за одним не очень приличным занятием, и за ухо потащил в кладовку, приговаривая:

— Не рукоблудствуй, мал еще! Не балуй! Вот посиди теперь на губе…

Толику было стыдно и обидно. Обидно потому, что он знал, что и дедушка нет-нет, да достает тайком, спрятанную под матрацем кровати, на которой он спал, секретную книгу «Акушерство», и тогда было слышно через тонкую стенку квартиры, как кряхтит и вздыхает старый партиец.

— Говоришь, продал он свою комнату вам? — прервал его воспоминания о золотом детстве Малыгин. — А сам уехал?..

— Продал…

— Да никуда он не уезжал, — сказал Малыгин, — просто переселился сюда…

— Сам себя замуровал?.. Вместе с бабой?..

— Боже праведный, как должно было все здесь осточертеть! — ошарашено сказал художник. — Чтобы добровольно заточить себя!.. Как нужно, чтобы все опротивело, набило оскомину, приелось до тошноты, до блевотины!.. Я многое могу понять, но представить такую степень тоски, чтобы живым залезть в склеп, выше моих сил!..

— Может, они испугались чего-нибудь? — предположил Толик. — Некоторые от долгов прячутся…

— Может, и испугались, — согласился Малыгин. — Мне самому иногда страшно просыпаться… Жутко на улицу выходить… У меня друг был, тоже поэт, так тот мечтал за границу уехать, говорил, что там свобода творчества, там охраняются права человека… Просто бредил заграницей, язык учил, документы подавал — ему отказывали, а он снова подавал. Наконец, его отпустили, он вырвался и помчался, как с горы на лыжах. Так года не прошло, как стал канючить, дескать, попал он в общество бездуховное, потребительское, равнодушное к маленькому человеку. Страшно там ему. Теперь просится назад, тоскливые стихи пишет. А приедет, и здесь ему неуютно будет. Впору замуроваться где-нибудь в подвале…

— Человеку не угодишь, — отозвался Толик.

— Человек сам себе угодить не может, — заметил художник.

Толик взял одну из тетрадок, перелистал. Мелким, неразборчивым, почерком были исписаны ее страницы. Толик поднял другую тетрадь — те же неровные строчки. Третья, четвертая тетрадь, и еще с десяток, были покрыты этими записями.

— Роман они, что ли, писали? — сказал Толик и попытался прочитать написанное в одной из тетрадей: «… сплошная суббота, когда не надо, проснувшись до света, тревожно ожидать звонка будильника и потом тащиться на остановку автобуса, где уже поджидают тебя две сотни локтей, изготовившихся для атаки. Отгул навсегда, отпуск без границ, жизнь без обязательств…и в общем, без обстоятельств… Триумф воли… Или безволия? Впрочем, сейчас для меня это одно и то же…»

— Это не роман, — сказал художник. — Это высший из жанров — голая правда… Дай-ка мне тетрадку…

И он продолжил читать: «…понял не сразу, что бумага и перо — не для пересказа придуманных или приукрашенных историй; не для этого изобретены эти инструменты познания. Может, для того, чтобы объяснить себя

себе?.. Я уверен был, что здесь стихи будут рождаться во мне какие-то особенно неистовые, сокровенные, но в первые дни после переселения сюда сумел написать только несколько вялых строк… И все. Я не сразу понял, в чем тут дело. Думал, что нужно еще привыкнуть к тишине, пустоте, свободе, словом, ко всему тому, что дает полное одиночество. Надеялся, что вот однажды рухнет плотина прошлой жизни, растворятся воспоминания и надежды, и мне только придется успевать записывать строчки на бумаге, но этого не произошло. И не потому, что утрачена чисто декоративная сторона версификации — никто не услышит и не прочитает эти строки, не потому… Я долго размышлял над этим, благо времени было достаточно, или его не было совсем, ведь я не считал больше его, не вел ему учет — и пришел к выводу, не сразу, а, точнее сказать, просто почувствовал однажды это: теперь я сам стихотворение, не больше и не меньше. Все во мне — и ритм, и рифма, и настроение…Так отчетливо все слышно… Сегодня ночью опять снилась Мария…»

— Постой, постой, — прервал чтение Малыгин,- он пишет только о себе — о полной тишине, пустоте, свободе, нет даже намека на то, что их здесь двое…

— Точно! — подтвердил Толик. — Я и смотрю, что топчапнчик здесь такой, что не уляжешься вдвоем. Может, они по очереди спали?..

— Да, тайна…Читаем дальше.

«…почему-то вспоминается давно прошедшее, а не то, что было не так давно. Странно и то, что люди как бы раздвоились в сознании, я никак не могу соединить тех давнишних с теперешними — они не просто изменились — постарели, поседели, похудели или стали тучнее. Это другие люди. Другие, вот в чем дело. Те, прежние, живут где-то своей тогдашней, не изменившейся жизнью, и, наверное, среди них есть и я, тот самый, которого так любила одна девочка из города Чимкента, и который так и не понял этого; там люди никогда не изменяют, не изменяются, и им никто не изменяет. В этих местах всегда тепло и солнечно, на речках сумасшедший клев, дни бесконечны, ночи обжигающе коротки… В новой жизни все иначе: солнце только иногда показывается в просветах октябрьских туч, в мутных реках давно нет рыбы, дни проносятся, как стрижи над водой, ночи никогда не кончаются… Мне кажется, что прежние, они тоже стареют, их одолевают хвори, с ними приключаются неприятности, а изредка выпадают и счастливые деньки, но они, как тридцать лет назад, как двадцать, как всегда, готовы выбежать из дома к вам навстречу, отправиться куда угодно, не задавая дурацких вопросов и не поглядывая беспрестанно на часы, они все так же не обращают внимание на ваши истрепанные брюки, не спрашивают, есть ли у вас деньги, они ржут до упада над анекдотами, которые вы им рассказываете в десятый раз, они через пламя костра смотрят на вас глазами, в которых пляшут язычки огня, и им три ваших минорных аккорда на расстроенной гитаре заменяют оркестр, и они подпевают: «Надоело говорить и спорить, и любить усталые глаза…» Но им, конечно, не надоело любить эти глаза; они всегда и безнадежно влюблены, и рифмованной грустью полны их сердца…»

— Пока не очень понятно, — прервался на минуту Малыгин, хлебнул винца, продолжил: «Как-то очень давно проходил я мимо междугородного телефона, и меня, вдруг, как будто ударило: «Позвони, позвони, там ждут…» А куда «позвони» и где «ждут»? Но рука сама собой набрала телефон Марии, тот самый, давнишний, когда мы вместе жили в Алма-Ате на улице имени Фурманова, и по вечерам, и она звонила матери и говорила, что нужно выгулять собаку, брала свою неугомонную колли, как же звали ее? — и выгуливала по ночному городу и меня тоже, а как раз начиналась осень — сентябрило — и брызги фонтанов казались дождем, а желтой листвы почти еще не было… С тех пор прошло тридцать лет, и я позвонил. Почему-то я был уверен, что мне ответят, хотя и дом тот давно снесен, и номера телефонов стали семизначными… И она ответила, спросила, почему я так долго не звонил.

— Не мог раньше, — ответил я, — дела по рукам и ногам повязали…

Она рассмеялась молодо, звонко, как раньше.

Я переспросил:

— Мария, это ты?..

— Конечно, кто же еще? — откликнулась она. — Ты какой-то странный...

Да, я был странный, потому, что не поверил этому юному голосу Марии. Не могло быть, чтобы она разговаривала со мной сквозь бетонную толщину тридцати лет, не может быть, чтобы ее смех жил отдельно от нее, чтобы она прежняя существовала отдельно от нынешней, живущей с работящим, надежным Гришаком. Не могло быть, но было.

Целых два месяца прошло, пока я опять решился набрать номер. И Мария снова ответила мне.

— Что случилось у тебя? — спросила она. — Что?..

Я положил трубку и больше никогда не звонил, потому, что поверил. Но как ей объяснить, что же случилось со мной?.. Что случилось и случается со всеми нами?..

Но сегодня я мог бы позвонить… Очень отчетливо представляю Марию. Вот ее тонкая рука, на безымянном пальце которой тускло посверкивает скромное колечко со знаками зодиака, мы его вместе покупали — это было тоже в начале осени. Когда она примерила колечко, то сказала «какое холодное!», но потом оно прижилось, стало теплым, как ее ладонь. Этой рукой она подпирает щеку, когда читает книгу, и виден ее знак зодиака — скорпион… Другой рукой она часто поправляет осенние свои волосы…

Каждую ночь снится Мария, наверное, это от свалившейся тишины…»

— Погоди, погоди! — художник отложил тетрадку и присмотрелся к таинственной женщине, застывшей в скорбной позе над трупом. — Точно, посмотри!.. Кольцо на пальце…

Толик осторожно подошел к женщине и тоже рассмотрел на ее руке колечко со знаками зодиака:

— Это она…она… О которой он пишет. Что же это, а?..

— Не знаю… Читаем дальше.

«Однажды меня, и еще тысячу студентов, отправили на помощь тем, кто выращивает хлеб, и мы оказались в далеком степном селе… А перед этим мы двое с лишним суток ехали на поезде, орали песни, терзали гитару, пили самое дешевое красное вино. А перед этим на вокзале я увидел ее… И влюбился навсегда.

Меня провожала в путь та самая девочка из Чимкента.

Марию тоже кто-то провожал.

Наши места оказались в одном купе, и я пел: «…к ненаглядным своим горам, не пора ли нам возвращаться?» Она только изредка поглядывала на меня, занятая интересным разговором о квантовой механике или физике с третьекурсником какого-то механического или физического института, также посланного бороться за урожай. Третьекурсник был рослый, бородатый, красивый, и мои песни пропадали зря. Вечером, когда песенная атака достигла плотности артиллерийской подготовки, Мария попросила у третьекурсника сигарету и вышла из купе, он за ней. Гитара потеряла голос, когда стало понятно, что скоро эта парочка из тамбура не вернется. Я пытался прибавить громкости: «…и лотошник на углу продает апельсины цвета беж…», но Мария и физик явно меня не расслышали, а не поняли — это уж точно. Колеса стучали, за окном вагона пролетали синие огоньки, иногда в темноте вскрикивал неугомонный тепловоз, а ребята, набившиеся в наше купе, принялись разговаривать со мной, как с тяжело раненым: «Ничего, старик, не унывай, старик, давай выпьем, старик!..» Я улыбался, выпивал, даже закусывал какими-то невероятно огромными зелеными помидорами, которые брызгали во все стороны огородной зеленью, но был я не в купе, нет, не в купе… А где же я был?..

— Сигареты есть? — спросил я у кого-то, и тут же ко мне протянулись руки с пачками, я взял одну и вышел в коридор, и двинулся дальше к тамбуру. Вслед кто-то удивленно сказал:

— Так ведь он не курит…

Я открыл дверь в тамбур. Третьекурсник целовал Марию, она отвечала ему, закрыв глаза. Одна рука физика

была где-то в вырезе халата Марии, вторая обнимала за талию.

— Вот вы где! — сказал я остроумно.

Они не прекратили целоваться, даже когда увидели меня. Третьекурсник просто повернулся ко мне спиной, загородил ее от меня.

Мне ничего не оставалось, как закурить. Это была моя первая сигарета в жизни. Давясь дымом и кашлем, стоял я в тамбуре, где двое никак не могли разомкнуть объятий. Наконец, они разлепились.

— А, это ты… — произнесла она. — Хорошо поешь. Твои песни?

— Нет, не мои…

— Я так и подумала, — сказала она и обернулась к физику:

— Пойдем, Жора.

Я честно выкурил сигарету и, не торопясь, вернулся в купе. Марии с третьекурсником там не было. Я залез на верхнюю полку и укрылся одеялом с головой, колеса все тарахтели и тарахтели. Откуда-то пришла в голову шальная мысль, что вот начинается новая жизнь — с Марией... Почему так подумалось?.. Почему?

Утром оказалось, что физический институт выгрузился несколько часов назад на каком-то неведомом полустанке, наверное, там выросло особенно много хлеба. Мария спала на своей полке, на столике перед ней лежал букетик каких-то пыльных степных цветов.

Нашему университету предстояло еще сутки добираться до места назначения — так далеко теперь мы будем от бородатого третьекурсника! С надеждой опять звенела гитара, такое время тогда было — гитарное, без гитары, казалось, жизнь совсем скучная пойдет. В дальнейшем это подтвердилось…

— Вообще-то я и свои песни пишу… — сказал я ей, когда она проснулась.

— Правда?.. Надеюсь, ты не с самого утра примешься их петь?..

— Не с самого…

— Не обижайся только… Я не со зла, просто голова тяжелая, вчера перегруз был. Люди хорошие попались, пришлось чуток злоупотребить за кампанию…

— Видел я вчера этих хороших людей, — сказал я.

Она посмотрела на меня внимательно, в глазах мелькнуло подобие усмешки.

— Понятно… — протянула она, — понятно…

Неужели уже тогда ей все было понятно?

Вечером она попросила:

— Спой… Что-нибудь свое…

Я тронул струны:

— Не медь, не золото, не ржавчину принес октябрь… — мне казалось, что про осень сказано еще не все.

— Ты — почти Фет, — улыбнулась она, но больше не перебивала. Не помню, чтобы когда-нибудь потом она дослушивала до конца мои стихи. И не только мои. В ней было всегда очень много земного; рифмы почему-то пробуждали иронию. «Если ты добиваешься благосклонности дамы, то при чем здесь птички, ландыши и облака? — говорила она иногда. — Можно сказать об этом проще и яснее, разве не так?»

Вечером она позвала меня в тамбур.

— Смотри, как интересно, — сказала она. — На всю степь одна лампочка…

За окном было черным-черно, и только в самом центре этой непроглядной темноты мерцал крошечный огонек, причем он не смещался, как будто поезд стоял на месте, или двигался по кругу вокруг этой степной звездочки.

— Вот так всегда, — сказала она. — Мнится, как будто что-то есть в центре, и этот центр невольно притягивает. А, может, там ничего нет? Пустота? Стоит какой-нибудь столб у заброшенного и разрушенного склада, а на столбе эта лампочка — неизвестно зачем и кому светит?.. А мы пялимся на нее, думаем, что кто-то живет здесь, растопил печь, варит еду, ждет кого-то… А на самом деле ничего…ничего нет…

Она и позднее жизнь воспринимала, как несбывшееся ожидание.

— Ты ведь влюбился в меня? — спросила она.

— Да что ты! — растерялся я. — С чего ты взяла?..

— Не ври, ни к чему, — не поверила она. — Наверное, ты лучше всех вокруг на тысячу километров, на пятьсот во всяком случае…

— Так далеко мы, наверное, еще не отъехали, — вспомнил я третьекурсника.

Она не услышала:

— Но что мне делать с этим?.. Ты так и будешь всю жизнь рифмовать «луна-волна-не верна»… А гвозди кто забивать будет?

— Какие гвозди? — удивился я.

— Обыкновенные. Ржавые и не очень, на которые ты будешь вешать свои кепки, куртки и пиджаки, потому что, хорошего шкафа для одежды у тебя долго не будет…

— Ты просто Кассандра…

— Да, к сожалению, — ответила она. И поцеловала меня в щеку. А потом в губы. Нет, не пропали даром мои песни…

В селе, куда мы приехали, нас разместили в только что построенном доме. Временно было отложено новоселье, которого с нетерпением ожидали несколько сельских семей. Они все время приходили посмотреть на свое будущее жилище, фантазировали куда поставят сундуки и комоды, строго предупреждали нас «не свиничать, не писать на стенах матерщинных слов».

Мария отвоевала отдельное помещение — кухню. Мы затащили туда два матраса, две подушки, одеяло нам досталось одно, да нам и не нужно было два. Мы и одним не пользовались — дни стояли теплые, солнечные, а ночью нам тоже не было зябко. На двери кухни какой-то остряк написал «Киргуду — королевство на двоих, остальным вход запрещен», и мы с Марией поселились в этом королевстве. Запрет на вход никто не соблюдал, и по вечерам на этой кухне было тесно, и струны на гитаре рвались на самом интересном месте: «А если есть кто с тобою рядом, не стану долго мучиться, люблю тебя я до поворота, а дальше как получится…» А потом ребята уходили, уносили покалеченную гитару, а я целовал Марию; она откидывалась на подушку, но никогда не закрывала глаз, смотрела не то удивленно, не то настороженно, и тогда я целовал ее глаза, и она, наконец, закрывала их… Шептала при этом: «Люби крепко…» Этот шепот я не забыл… Но не могу вспомнить, чтобы она хоть когда-нибудь сказала мне «люблю тебя». Но время от времени она говорила: «Ты думаешь, любовь без боли бывает?..» И непонятно было: уверена ли она в этом? Но иногда она добавляла: «Если без боли, то какая должна быть сумасшедшая анестезия!»

— Тут просто исповедь какая-то, каждая секунда жизни что ли описана? — сказал Толик. — Но откуда все-таки взялась здесь эта рыжая?..

— Посмотри внимательнее, — предложил Малыгин, — ты ведь в одной квартире с ней жил. Похожа она на Марию?

— Какую? Гришаковскую?..

Толик уже менее опасливо взглянул на склонившуюся над Ивановым женщину, отступил на шаг, прищурился:

— Нет, это не она… Та не такая была, ниже ростом, круглее…Да и старше намного. И лицо у той другое… Хотя, хотя…сходство есть…

— Ты обратил внимание, что у этой глаза открытые? — спросил художник.

— Ага… Он же пишет, что она глаза не закрывала… Читай, чего там дальше?..

«Мы вернулись в Алма-Ату в удивительный сентябрьский день. Утром в скверике около главпочтамта появилась желтая цистерна с пивом и около нее тут же образовалась очередь томимых жаждой; было жарко и удивительно тихо, как перед землетрясением, на цветочном базарчике возле стен консерватории горели на солнце букеты роскошных георгинов. Землетрясения в этот день, слава Богу, не произошло, но, вдруг, пошел снег. Огромные белые хлопья внезапно засыпали весь город — еще цветущие клумбы, бьющие фонтаны, яблоневые сады. Лебедь, плавающий в бассейне кафе «Акку», стал казать-

ся слепленным из снега. Портвейн двенадцатый номер в кафе обрел еще большую свежесть, а снег все валил и валил. Из бара «Каламгер», что свил себе гнездышко в союзе писателей, вышли поэты и прозаики, даже некоторые драматурги, и удивленно смотрели на стихию, троллейбусы застыли у обочин, девушка в летних туфельках стояла на остановке у «Детского мира», прикрываясь газетой «Дружные ребята» и какой-то мужчина предлагал ей свои огромные ботинки — и она, кажется, была готова принять его щедрый дар. Но тут вышло солнце. И снег на глазах стал исчезать. И девушка отказалась от ботинок, и писатели вернулись в бар, и троллейбусы, зябко подрожав корпусами, тронулись в путь… Через час как будто и не засыпало город огромными белыми хлопьями, и к вечеру метеорологический курьез забылся. Но мы с Марией почему-то надолго запомнили этот сентябрьский снегопад… Может, она потом и позабыла, но я помню…В этот день, в этот вечер, в эту ночь мы пили шампанское, а потом коньяк, и опьянели, и беспрерывно целовались — в кафе, на улице, в подземном переходе, и надо было идти домой, в крошечную комнатку, которую мы сняли на Малой Станице — там целоваться было удобнее, но мы не торопились, сидели в холодном сквере у Дома Правительства — и целовались в двух шагах от хмурых охранников. Потом все-таки мы отправились домой, и Мария достала из чемодана бумажку с надписью «Киргуду — королевство на двоих» и прикрепила ее на стене, и мы стали жить в этой комнате...

Иногда наваливается странная слабость; не слабость — болезнь, а слабость- усталость… И опять снилась она. Может быть, мы теперь нерасторжимы с ней?

…На левом колене у нее был едва заметный шрамик, но я рассмотрел его. «На байдарке перевернулась во время похода по Сакмаре», — рассказала она, и так я узнал, что она была на сплаве в Южном Урале; там шли тем летом затяжные дожди, речки вспухли, кипели водоворотами, стремительно несущаяся вода почернела, как будто впитала в себя весь страх, притаившийся в непролазных

лесах и осыпающихся ярах этих мест, впору было отказаться от сплава, но ребята в команде подобрались серьезные, не привыкшие отказываться от задуманного, и они пошли. И на первом же пороге у большого серого камня она перевернулась. «Спасибо Сереге, спас. — сказала Мария, — Если бы не он… А так только колено разбила…» Так я узнал и о Сереге, который не дал ей утонуть, а потом нес ее на руках в сельский медпункт, и потом вернулся с ней в город, оставив команду — так дорога она ему была. Но они расстались… Любовь не бывает без боли?..

В последние дни у меня в глазах словно двоится, фокус не наводится. Особенно на расстоянии свыше метра. Но на бумаге буквы не двоятся. Наверное, что-то со зрением. Сегодня впервые не стал готовить горячую еду, обошелся килькой в томате…»

— Вот где он нашел свою Шамбалу, — сказал художник, оторвавшись от тетради.

— Здесь что ли, в комнатушке этой? — спросил Толик.

— Можно, наверное, и так сказать, — ответил Малыгин.- В этой комнате, в этой женщине…

— Так откуда она взялась?

— Думаю, что… Нет, давай читать дальше.

«Сегодня обошелся скумбрией в масле, хорошая, все-таки, еда: даже голодный из осажденной крепости не съест за один присест больше половины содержимого банки. Наверное, ученые специально разрабатывали вкус этого продукта, чтобы его нельзя было много съесть. И вместе с тем, чтобы создавался эффект насыщения. Вот я совершенно не голоден… Мария говорит, что нужно больше есть, но я посмотрел — она и сама ничего не ест… Странно… Прежде она очень любила жареную утку. Иногда мы в «Центральном гастрономе» — ЦеГе — покупали утку, и Мария жарила ее целиком. К утке я покупал бутылку портвейна, собственно в магазинах Алма-Аты тогда ничего другого не было — вино и замороженные утки. Ах, да, еще пакетики с лавровым листом, которые продавцы настойчиво рекомендовали в «нагрузку» к уткам. Мы покупали и эти пакетики, Мария смеялась: «Если так дело пойдет, то скоро со-

берем на лавровый венок!» Но денег у нас часто не было совсем, поэтому мы так и не собрали на венок.

Время от времени Мария ходила занимать деньги к какой-то своей дальней родственнице, которая часто — уж не помню по какой надобности — бывала в Венеции. Деньги — пять, а то и десять рублей — она почти всегда давала, но при этом нужно было смотреть альбомы с венецианскими фотографиями, на которых была сама Венеция, а на ее фоне родственница. Обычно я ждал Марию на скамеечке неподалеку от кинотеатра «Алатау», потому, что когда мы приходили вдвоем, то к фотографиям прибавлялись воспоминания о каналах, карнавалах и гондольерах.

Заняв деньги, мы мчались к ЦеГе — утка, портвейн и лаврушка, Мария хохотала и говорила: «У меня была хорошая фигура, но есть риск, что она станет идеальной в день моей голодной смерти». И еще она тогда шутила, что в жизни, как в космической орбите, есть апогей и перигей. Перигей — это совсем невысокий полет, и важно не пропустить, когда начнется апогей…Она смеялась: «Надо вырваться из притяжения земли…». «Как же совсем без земли?» — спрашивал я, а она только махала рукой.

В то время я намеревался приняться за большой исповедальный роман о молодежи, по сути дела весь роман — его герои, коллизии, фабула — был у меня в голове. Нужно было просто сесть и записать его на бумагу. Иначе говоря, требовалась чисто механическая работа, потому, что творческая была завершена в голове. Название роману я придумал вполне в духе времени — «Октябрьская канонада». Первая строчка задавала настроение всей вещи: «Я живу осенью, я прописан в осенней стране…». Несколько раз я принимался за работу. Ломались карандаши, из ручки вытекали чернила и заливали бумагу, сосед за стеной включал электродрель, едва я садился за стол, и дальше первой строчки не шло. Не сразу я понял, что совершенно не подхожу для механической работы. Мария предложила, чтобы я диктовал ей, но я отказался. Она и так сильно уставала, тем более, что устроилась ночным сторожем в детском садике через дорогу…У нее даже было ружье с одним патроном. Я иногда приходил к ней ночью, и мы занимались любовью на диване в директорском кабинете, повесив ружье на вешалку. Однажды ружье упало и выстрелило, и заряд попал в плащ, оставленный на вешалке директором. Мне пришлось уносить ноги, потому, что посторонним на охраняемый объект вход был строжайше запрещен. Приехала милиция, и Марию заставили писать объяснительную, а потом обязали выплатить директору за нанесенный ущерб…

…Мария прочитала до этого места и рассмеялась, так много я напутал. Во-первых не плащ, а пальто было поражено той давней ночью, во-вторых, любовью мы занимались не только на директорском диване, но и в спортивном зале, где на полу лежали гимнастические маты… Где только не любили мы друг друга!.. Однажды…»

— Он пишет, что Мария читает его писанину, а откуда она появилась здесь, эта Мария? — в очередной раз спросил Толик.

— Да, странно, — согласился Малыгин. Он поднял с пола еще несколько тетрадок, полистал: «…чувствую себя неплохо, только со зрением что-то непонятное происходит; хорошо, что Мария здесь… В Алма-Ате мы снимали углы в чужих квартирах, жили за занавесками, ширмами, однажды хозяйка, пустившая нас пожить в большом доме в Тастаке, предложила нам спать на огромной русской печке. На этой печке мы прожили недели две. Мария хохотала: «Илья-Муромец и Баба Яга — странная парочка на печке…» Мне казалось, что она любила меня. Во всяком случае, во время наших полетов на печи… Денег не было даже заплатить за это обиталище, и пришлось перебираться в другое жилье. Потом мы жили в полуподвале старинного дома, из крошечного и мутного оконца которого была видна только обувь проходящих мимо людей, и мы по обуви, даже самой поступи, учились угадывать характеры прохожих, как они выглядят. Для того, чтобы убе-

диться в правильности наших предположений мы иногда выбегали на улицу по осклизлым ступенькам каменной лестницы. Это развлекало нас, тем более, что угадывали мы часто, и чем дальше, тем больше. Мы научились — не могу объяснить по каким признакам — почти не ошибаться. Появлялись перед оконцем светлые туфельки — «лодочки», и я говорил: «Студентка, двадцать лет…». Мария добавляла: «Цветастая поплиновая юбочка, трикотажный свитерок…» Я продолжал: «Марина, очки…» Мария хохотала: «Короткая стрижка, шатенка…» Сломя голову, я мчался наверх по лестнице, догонял «туфельки» и убеждался, что мы не ошиблись. Иной раз, под разными дурацкими поводами, я выспрашивал имена прохожих, выведывал их занятия, и почти никогда мы не ошибались. Однажды мимо оконца проследовали черные остроносые туфли с металлическими набойками. «Борис, замдиректора, тридцать четыре года, брюнет…» Я подхватил: «Пижон, бабник, кандидат наук, обручальное кольцо…». Мы как будто не угадывали, а заказывали… Она выбежала убедиться, что в очередной раз мы не промахнулись, и пропала больше, чем на месяц. Впрочем, часа через два позвонила хозяину дома, просила передать мне, что задерживается, скоро приедет и все объяснит, но еще через два часа опять позвонила хозяину и он, злой, как барсук (вовремя не платят, еще и звонят бесконечно), притащился из своего надземелья и хмуро сообщил, что она умоляет не беспокоиться, что все нормально — утром она будет «в нашем смешном полуподвале», не нужно думать ничего худого. Утром она не появилась, и следующим утром тоже… Ничего худого я не думал, я знал, что она жива и здорова, и даже весела, и что любви без боли не бывает. Я ждал, когда ее сапожки прошагают перед оконцем: «Мария, двадцать четыре, рыжеволосая…» В тот год хорошо писалось, я закончил несколько осенних рассказов, как мне показалось — неплохих. Октябрьская грусть удавалась мне всегда, теперь — особенно. Я думал: «Мария, ну почему все так выходит?» и писал: «Мария везде, где осень, а осень повсюду…Не бывает Марии без боли…»

Когда ей исполнилось двадцать пять, она вернулась в полуподвал. Сказала:

— Это я…

— Здравствуй, — поздоровался я.

— Прости…так вышло…

— Да…

— Мир?.. Точно?..

Она выглядела растерянной, удрученной. Может быть, потому, что не получилось вырваться из притяжения земли?

У нее нашлось пять рублей, и я сбегал в ЦеГе за уткой, портвейном и лаврушкой. Выпили, и она сказала:

— Мы с тобой тогда угадали, на самом деле кандидат наук, пижон и обручальное кольцо… И он — Борис…

— А то, что брюнет — угадали?..

— Нет, — ответила она. — Обещай, что больше никогда не спросишь меня о нем… И не попрекнешь… Иначе смысла оставаться здесь у меня нет…

Она осталась, повторила давние свои слова:

— Наверное, ты и на самом деле самый лучший вокруг на тысячу километров…

— Неужели брюнет так теперь далеко? — не удержался я.

Она нахмурилась, и больше никогда об этом мы не говорили. Бывает ли без боли молчание?

Из полуподвала мы переехали на чердак дома, стоявшего в черешневом саду. Говорят, что по весне там бывало чудесно — люди вообще любят, когда цветут сады, летают бабочки и гудят шмели, но осенью среди голых деревьев было особенно грустно; крошечный холодный ручеек петлял среди стволов и как будто распределял опавшие листья по всей территории сада; Мария иногда гуляла по саду, перепрыгивала через ручеек, но я видел — она тосковала по весне. Она не любила осень. Поэтому мы опять перебрались на новое место.

Когда в очередной раз мы собирали свои пожитки, она сказала: «Я поняла, почему происходит это постоянное кочевье. Ты — потомок Чингис-хана. У тебя ведь в роду

были татары, были? Ты наследник номадов, в тебе есть неистребимый кочевой ген. Тебе, в общем-то, не нужен дом, ты будешь вечно бездомным…» Она ошиблась, дом для меня нашелся… И для нее тоже… Так реально, как сегодня, она мне не снилась никогда…»

— Кажется, я понимаю, что произошло, — сказал художник. — В это невозможно поверить… Вот читай дальше: «Это просто наваждение. Я думаю только о ней, я пишу о ней, она снится мне каждую ночь… Я готов не просыпаться, чтобы оставаться с ней…пусть этот сон длится…»

— Это его сон, понимаешь? — отложил тетрадки Малыгин.

— Нет! Не понимаю! — мотнул головой Толик.

— Мы попали в сон Иванова, — продолжил Малыгин. — Влезли с тобой в самую сердцевину сновидения. Уж не знаю, каким образом материализовалось, то, что ему снилось... С такой силой он представлял себе свою Марию, что она уже не могла больше покинуть его… То, что мы видим сейчас — застывший сон…В этой комнатушке сконцентрировались все мечты Иванова, все его сны, и достигли критической массы…

Толик почесал затылок:

— Если это сон… Постой-ка…

Он подошел к женщине и прикоснулся к ней рукой. Рука не встретила сопротивления и как бы растворилась в рыжих волосах. И в то же мгновение очертания Марии на секунду потеряли резкость и яркость.

Толик отдернул руку:

— Ничего там нет, только как будто теплота какая-то…

— Еще какая теплота, — сказал художник. — Очень большая теплота…

— Но если мы видим его сон, — наконец, завершил свою мысль Толик, — то где же он сейчас сам?..

— Кто же это может знать, кто? — ответил Малыгин. — Но надеюсь, что ему там хорошо…

Они выбрались из комнатки и принялись замуровывать стену.

А старую картину Малыгина они повесили на место.

БЛЭК ЭНД ГОЛД
(черное и золотое)

Николай пришел в магазин и прочитал вслух по бумажке:

— Есть ли у вас в продаже сверлильная машина, в которой используется электромагнитный или пневматический принцип формирования удара?

Продавщица за прилавком даже не пошевелилась. Устала за день вертеться.

Эту бумажку он вырвал из какой-то строительной книги, прочитал как будто правильно. Так и есть: «Сверлильная машина…»

Он кашлянул, потом еще раз погромче, чтобы привлечь внимание уставшей продавщицы, и продолжил читать, на всякий случай по слогам:

— Ма — ши — на эта на — зы — ва — ет — ся пер — фо — ра — тор… Перфоратором называется.

— По мне хоть сепаратором, — наконец заметила Николая продавщица. — Хоть самим кухонным комбайном называй, хоть посудомоечной машиной. Мне — по барабану! До лампочки! До лампады!..

Николай удивился грубости продавщицы, но продолжил, по бумажке:

— Действие перфоратора схоже с дрелью…

Продавщица потеряла терпение:

— Что ты мне лепишь, дядя! — закричала она. — У нас галантерейный магазин! Понимаешь, галантерейный!..

Николай непонимающе смотрел на нее.

— Пуговицы тебе нужны, дядя? — чуть успокоившись, спросила она. — Могу предложить сто пятнадцать разновидностей и восемнадцати цветов… Перламутровые нужны? Вот перламутровые. Цвета морских огурцов нужны? Вот они, огурцы… А дрели и сверла продаются в специальных магазинах для строительных инструментов, ты что, не знаешь этого? Дядя!..

— Вообще-то, знаю, — сказал немного огорченный Николай.

— Вот — вот, — совсем уже мирно произнесла продавщица. — В соседний магазин тоже не ходи, там — парфюмерия. Духи тебе нужны? Или ты только одеколон тройной употребляешь?

Николай попытался ей объяснить:

— Я думал, что существует корпоративное торговое братство… Одни торгуют перфораторами, другие — губной помадой, но по большому счету они заняты одним делом, и им не может быть «до лампады», когда приходит потенциальный покупатель… Разве я не прав?

Продавщица от возмущения потеряла дар речи.

— Вот если бы я обратился по своему вопросу в баню или, скажем, цирк, то это могло вызвать улыбку, — продолжил он. — Но если разобраться, то ничего комичного я не вижу в том, когда один человек помогает другому…

И он вышел из магазина, направился на рынок, где, вспомнилось ему, он видел когда-то магазин «Для новоселов», а в нем всяческие снаряды, как для разрушения стен, так и для их возведения.

Ему не требовалось пока ничего возводить, но разрушить кое-что он намеревался. В одной книжке он вычитал, что некий чудак, писатель-неудачник, замуровал себя в потайной комнате. Опостылела ему действительность, надоели соседи, — и он ничего лучшего не придумал, как запастись консервами, макаронами и подсолнечным маслом, и чернилами с бумагой, и замуровать себя навек.

В книжке была такая деталь, она показалась важной: в городе, в котором все это происходило, круглый год шли дожди, иногда пополам со снегом, всегда было сумрачно, да в добавок ко всему часто отключалось электричество. Так и говорили: отключилось электричество! Как будто оно обладало такой таинственной способностью — выключаться само по себе, по своему собственному желанию. А вот, чтобы включить его, требовались монтеры, которые всегда находились на экстренном вызове, и приходилось ждать их в темноте неделями. Однажды электричества не было полгода; в этом мраке развелись пауки, мохнатые, беспощадные, а также больше стало крыс.

Так вот, в потайной комнате, которую случайно у себя за стеной обнаружил чудак, всегда светило солнце — через крошечное окошко под потолком. Конечно, по законам природы так быть не могло: если во всем городе промозглый дождь и тучи почти лежат на крышах, то откуда возьмется солнце в потайной комнате? Откуда? Наверное, это какая-то писательская аллегория, метафора или просто неумная придумка затосковавшего сочинителя, но Николай поверил, что так и было.

— На каждой дождливой планете (а Земля представлялась ему именно такой) есть солнечные уголки, есть теплые края…Я в какой-то газете вычитал, что есть края, в которых солнечных дней в году больше, чем всех остальных. Больше остальных дней!

Все это говорил он сам себе, потому, что разговаривать ему было совершенно не с кем, и он легко убеждал своего собеседника в чем угодно.

Так вот, он во что бы то не стало захотел найти эту потайную комнату, по его подсчетам замуровавшему себя чудаку продуктов должно хватить лет на двадцать, а чернил и бумаги — на сто тридцать пять лет, а прошло с момента, когда Иванов (замуровавшийся) спрятался от мира, лет пятнадцать.

— Представляю, сколько он там книг написал, — разговаривал Николай сам с собой. — Они непременно должны пополнить собой сокровищницу мировой литературы. Я берусь уговорить этого нашего великого современника-затворника покинуть хотя бы на время место его добровольного заточения, чтобы мы все получили возможность ознакомиться с его выдающимися произведениями…

И он принялся искать. Сначала позвонил по телефону писателю, который сочинил этот рассказ, но тот ничего внятного сказать не смог, потому, что у него как раз случился вечер встречи с портвейном. Седьмой или восьмой вечер. Подряд.

— Кого вам надо? — кричал в трубку писатель. — Вы ошиблись. Это не я был… Честное слово, я в запое пятый день, и из дома выхожу только в киоск… Условно говоря, выхожу… выползаю…

Поняв, что от автора в ближайшие дни ничего не добьешься, Николай принялся изучать само произведение, считается, что это много может дать для расшифровки личности автора, его творческой жизни. В рассказе было написано: «…в комнате, где сочинял он, не было окон. Этот узкий, высокий и холодный параллелепипед с деревянным скрипучим полом был некогда частью коридора огромной старинной квартиры, ныне коммунальной. До революции в квартире жил не то инженер, не то врач, вскоре расстрелянный, и его жена — тоже расстрелянная ради социальной справедливости, и их дочь, успевшая сбежать, кажется, в Китай. Во время революции и гражданской войны здесь был какой-то штаб; штабисты любили палить из наганов в высокий потолок, может от тоски, — следы пуль были заметны и теперь».

Кое что понятно: скрипучий пол, следы пуль на потолке. Но мало ли у нас помещений со следами пуль на штукатурке?.. Николай на всякий случай взглянул на потолок своей комнаты, ну, точно: следы от пуль складывались в народное слово — «Бл…дь!»

«Хорошо стреляют, собаки! — позавидовал он метким стрелкам. — Они вполне могут настрелять хоть «Три богатыря», хоть «Завтрак на траве», если им дать вволю патронов. Только когда у нас патронов хватает?»

Николай стал методично обходить старинные дома, в современных не было потолков выше трех метров, да и вряд ли в этих домах с их ясной младенческой архитектурой, можно скрыть хоть самую крошечную потайную комнату. Да и указано было в рассказе, что дело происходило в «старинной квартире», если только у писателя в то время не случилась неделя дружбы с настойками и наливками.

Он смело входил в дома с колоннами, не смущали его ни старинные пилястры, ни лепнина фризов, оставленные

предками, боровшимися не только за социальные вольности, но и за красоту. Он поднимался по парадным лестницам, боясь запутаться в паутине бельевых веревок, обходя подвешенные на стенах велосипеды со спущенными шинами, жестяные оцинкованные ушаты, схороненные в темных углах до лучших времен ламповые радиоприемники «Родина», пружинные патефоны и стопочки тяжеленных пластинок, выпущенных фирмой «Мелодия»: «Огонек», «Мишка», «Рио-Рита», «Ту-Степ», «Марина» и «Пичирильо».

Кого только не встречал он в этих коридорах. Однажды вышел на старика, дремавшего в плетеном кресле с небольшой книжкой в руках. На старике была защитного цвета гимнастёрка и уланские рейтузы, офицерские кавалерийские сапоги. Рядом со стариком, на втором кресле, лежали револьвер и шашка. В коридоре было почти темно, но Николай сумел заметить, что на плечах старика не было ни погон, ни эполет. На рукаве белела повязка. Несмотря на отсутствие знаков различия, старик походил на генерала.

— Здравствуйте! — ошарашено сказал Николай, и неожиданно для самого себя отдал старику честь.

Тот кивнул в ответ, спросил:

— Ищешь чего? Или кого?..

— Да, ищу. Комнату ищу потайную…

— Да тут, что ни комната, то тайна.

— В ней еще писатель жил, которого жена бросила…

— Эх, милок! — вздохнул генерал.

— У него в комнате была интересная картина, — не унимался Николай, — на ней желтая равнина и след от ноги человека…

— Человека? — уточнил генерал. — Нет, такой картины не видел…

— Извините, что побеспокоил, — сказал Николай. И вдруг, сам не зная почему, спросил:

— А вас не Владимиром Оскаровичем зовут?

— Эх, милок! — опять вздохнул старик. — Кто сейчас держит в памяти имена? Да и нужны ли они? Я в этом не уверен… А ты вот эту книжку читал?

И он показал книжку, на обложке которой было напечатано: «Чапаев».

— Нет, — честно признался Николай. — Я кино смотрел…раза три… а книгу не читал…

В другой раз во дворе старинного трехэтажного дома с колоннами он услышал, как кто-то окликнул женщину:

— Мария!

Женщина вывешивала на веревки мокрое сиреневое белье, и он уставился на нее, да так, что она вспыхнула, отвернулась. Потом спросила:

— Чего глазенки выкатил? Мокрых лифчиков не видел?..

— Не знаю…видел, кажется… А вы не знаете, в этом доме проживает Иванов? Писатель?.. У него в комнате картина странная висит — вся желтая… От него еще жена ушла — к Гришаку… Это не вы будете?.. Я слышал, вас Марией зовут. У Иванова тоже жена была Мария…

— У меня, правда, три мужа было, — сказала Мария, — но Господь миловал — все три нормальные, не писатели.

— Извините, — сказал Николай. — Оказывается, нелегко найти человека…

И он двинулся дальше. Но тут она его окликнула:

— Постойте, постойте…

Он вернулся.

— Кажется, я знаю этого Гришака. Он мастер-золотые руки, да?

— Кажется, — вспоминал Николай рассказ.

— Он и утюг починить может, и самолет. За таким баба, как за каменной стеной, — сказала она.

— Точно! — поддакнул Николай.

— Из того старинного дома Гришаки давно съехали, получили отдельную благоустроенную квартиру… Одно время я тоже жила в этом новом доме, этажом выше. Так что, иногда мне приходилось слышать, как плакала Мария, негромко, но безутешно…

— Отчего она плакала?..

— Кто же знает, она мне ничего не рассказывала… Люди болтали, что ее муж бесследно исчез, и она винит себя в этом. Правда, другие говорили, что она о своем писателе ни разу и не вспомнила, а плакала оттого, что этот мастеровой — Гришак — поколачивал ее…

— А вы случайно не знаете, где находится тот старый дом, в котором они все вместе жили?

Она взглянула на него пристально, решаясь — можно ли доверить ему это. Потом сказала, понизив голос, как будто вручая немыслимую тайну:

— Есть такой город. Наверное, где-то на западе…

И замолчала надолго. Николай решил, что это и вся ее тайна, но вдруг она продолжила:

— Уже на вокзале ты понимаешь почему-то, что это именно тот самый, нужный тебе, город. Там еще на перроне забегаловка есть, «Голубой Дунай» называется, и мост есть переходной через железнодорожные пути…

— На каком вокзале нет «Голубого Дуная?» — был поражен Николай услышанным. Просто исчерпывающие сведения! И спросил у женщины:

— А вы откуда знаете про перрон и все такое? Про забегаловку?..

— Сам же говорил, на каком вокзале нет забегаловок?

— Постойте, постойте… — сказал Николай вглядываясь в женщину. — Так вас Марией зовут?

— И мою мать Марией зовут, и еще сорок баб, проживающих только в этом коридоре, — ответила она. — И кто из нас нутром не чует беду, не ведется на призрак любви, не мечтает о счастье? Поэтому и «Голубой Дунай», как родной; кажется, что там хоть кого-то поблазнило другой жизнью, в которой солнце — не только для сушки белья.

— Извините! — сказал Николай и продолжил свои хождения по коридорам и лестницам, чувствуя, что круг поиска неумолимо сужается.

И однажды он сел на поезд и поехал на запад. Но потом поезд повернул на север, а потом — восток, так что, точно сказать, куда же он поехал, невозможно. Железная дорога сцепила чугунными рельсами все города, все мест-

ности, притянула их друг к другу; до какого-нибудь Сихоте Алиня прежде путник тащился два года, питаясь в пути олениной и лососями, то теперь он рискует совсем пропасть в паутине полустанков, разъездов, и никогда не найти свой поворот. Многие так и не нашли, не сделали нужной пересадки, и уже не первый век маются на жесткой плацкарте, с тоской прислушиваясь к объявлениям сонных проводников: «Граждане и гражданочки, поезд идет с опозданием на шашнадцать часов, платформа справа».

Николай не стал рисковать и вышел на первой попавшейся станции, спросив на перроне: «У вас «Голубой Дунай» есть?»

Ему ответили: «Никакого «Дуная» у нас нет, его давно переименовали в «Кафе национальных блюд».

Он толкнул скрипящую дощатую дверь и вдохнул забытый запах привокзальной чайханы. Прокисшее пиво, тухлая селедка, пригоревшее еще до революции масло, пережаренный лук, густой запах мочи точнее всяких часов показывали, что на дворе ночь, и вот-вот шалман прикроется до утра. Но стакан портвейна под соленый огурец еще можно успеть выпить, и поговорить с хорошими людьми. Николай и спросил портвейна. Стакан.

— На разлив вино не отпускаем, — на всякий случай соврала официантка, и у нее прокатило: он заказал всю бутылку. Тут же к нему подошел дремучий, заросший бородой, как леший, человек, никогда не чесанный, давно не мытый.

— Здорово! — сказал он. — Тут слух прокатился, что ты ищешь желтую картину?

Николай пожал плечами, никому в этом городе он о желтой картине не говорил.

— Картина знаменитая, — продолжил между тем леший. — Сам Малыгин написал, а он художник знатный!..

— Знаю, знаю, что сам Малыгин, — для чего-то поддакнул Николай, — иначе бы не интересовался… Мы в искусстве тоже кое-чего понимаем.

— Вы? — заглянул за спину Николаю бородатый.

— Ну, в смысле — я, — смешался тот.

— Конечно, конечно! — широко улыбнулся незнакомец, хотя трудно было понять — широко он улыбнулся или не очень широко — бородища все закрывала. — Выпивать-то будем?

— Будем, — не отказал Николай страждущему.

Они быстро распили бутылку. Да и чего там пить-то — пол-литра ароматной жидкости, которая просто сама просилась в рот, а оттуда в желудок, а уже оттуда прямо в мозги.

— Я смотрю, ты знаток живописи, товарищ! — сказал нечесаный. — У тебя просто серебряный глаз, тебе бы в международные эксперты податься, говорят, они большие бабки имеют через эту работу.

— Это, конечно, можно, — не стал отбиваться Николай. — Деньги мне нужны.

— А уж как они, проклятые, нужны мне — словами не передать, — поделился сокровенным бородатый.

Подошла официантка, спросила:

— Заказывать еще чего будете, или просто так место занимаете?

— У вас, наверное, наценка большая? — поинтересовался Николай.

— Так ты в ресторан приперся! — сказала официантка. — Не в забегаловку. Скатерть вам постелена крахмальная, бокалы хрустальные поданы. А вам халяву подавай! Да?

— Придется чего-нибудь заказать, — разъяснил бородатый, — иначе попрут. У тебя деньги-то есть?

Николай покопался в карманах, набрал еще на бутылку. Его новый товарищ добавил несколько монеток, правда, часть из них забрал назад — на автобус.

Вторая бутылка закончилась быстрее первой. Николай давно подметил эту странность. Что-то неведомое таило в себе вино, ведь с молоком, например, ничего подобного не происходило. Даже наоборот: чем больше его, молока, пьешь, тем меньше его хочется. А портфейным напиться невозможно, вермутом — тоже. А вот розовое игристое иногда не лезет, фыркает назад, особенно когда употребляешь его из горла.

Третья бутылка закончилась, кажется, еще до того, как ее принесла официантка. И тут Николая осенило и он прямо спросил у нового друга:

— А ты сам, случаем, не из художников? Уж очень у тебя борода художественная, я сказал бы — сюрреалистическая.

Собутыльник загадочно улыбнулся, приятно, когда тебя узнают встречные-поперечные. А уж знатоки — само собой знают…

— А фамилие твое какое будет? — продолжил допрос Николай. За три бутылки портфейного он вполне имел на это право. — Не сам товарищ Малыгин, случаем?

Малыгин не стал скрывать, что он Малыгин. Да и трудно было скрыть это, талант светился в его глазах.

— Да, я и есть Малыгин. Тот самый.

Но чтобы в этом не осталось у собеседника никаких сомнений, он показал удостоверение члена садового товарищества «Мир искусства» и добавил:

— Мои работы есть в запасниках лучших музеев мира, в первую очередь в музее «Старый Уральск»…

— Рад, очень рад нашему знакомству, — сказал Николай.

— Я тоже рад, — ответил знаменитый художник, — но картину я не продаю, а если честно — ее у меня на руках нет…

— Где же она?

— Да там же и осталась, в том проклятом доме…

— Значит, вы знаете, что Иванов там себя заточил?..

— Знаю… Но сразу скажу, я туда даже за ящик портфейного не пойду.

— Что, так страшно?

— Даже страшнее — непонятно.

— Да, непонятное — страшнее всего, — начал Николай. — У нас лет десять назад случай был, а, может быть, все двадцать годков уже пролетели…

— Время летит, — согласился Малыгин.

— Время стоит на месте, оно давно остановилось, это мы иногда проносимся мимо него, — сказал Николай. —

Случай, о котором хочу рассказать, как раз, и связан с замерзшими временами…

— Ну?..

— Есть места, где почти незаметно, что время замерзло. Нужно хорошенько приглядеться, чтобы понять это. Или увидеть внезапно то, что видел полвека назад, или встретиться с человеком, про которого давно забыл, а оказывается ты ему десятку должен, и он это прекрасно помнит, и ждет, когда ты вернешь денежку эту, ведь на неделю брал, а прошло сколько? В других местах наоборот: настолько замерзло все, что часы почти не идут, а кое-где даже вспять стрелки крутятся — там лед времен очень прочный… Однажды хороший мой приятель — Шуриком его зовут — отправился на рыбалку. Только что лед на пруду стал, еще опасный, хрусткий, как оконное стекло. Снег еще не выпал. День солнечный, морозный — рыбакам раздолье, кто на уду ловит, а кто деревянной колотушкой бьет прямо через это ледяное стекло, оглушает рыбу, приметную через перволед.

Шурик же поставил жерлицы, до десятка. Живцы у него бойкие, не покупные — сам ловил карасиков, а они, шельмецы, живучие, на них что голавль, что щука — дуром прут. Из первой же лунки выхватил приличную щуку, килограмма три будет. Такая светлая, молодая щука. Но присмотрелся к ней рыбак и прифигел. На плавнике у рыбы медное кольцо, а на кольце год выбит, в котором окольцована была хищница — 1448.

— Такая старая была щука? — перебил рассказчика Малыгин.

Николай выдержал паузу и продолжил:

— Не такая уж старая...

И тогда Шурик вспомнил, что где-то он уже читал про окольцованную щуку. Точно, в книге знаменитого ихтиолога Леонида Сабанеева! Он еле дождался конца рыбалки. Он был в тот день единственным в мире рыбаком, который торопил время. Щуку, конечно, он отпустил в пруд.

Дома он сразу взялся за книгу — «Рыбы России». И буквально через пять минут нашел искомую строчку:

«…в 1610 году была поймана… огромная щука с медным кольцом, на котором был обозначен 1448 год».

— Так мне попалась та же самая щука! Судя по всему, так оно и есть, — размышлял Шурик. — Если это так, то ей должно быть не менее пятисот шестидесяти лет, да еще нужно учитывать, что окольцевали ее не щуренком.

— Постой, постой! — поразился он. — Мне-то ведь попалась никак не вековая рыбина. В чем же дело?

И вдруг его осенило: в том месте, где он рыбачил, время как раз сковано морозом, и там идет 1448 год?

Тогда он поехал на этот пруд опять. Взял с собой отрывной календарь, фотоаппарат, хронометр и даже барометр.

Снимки получились отличные: на них хорошо вышла плотина пруда и сам Шурик со своим научным оборудованием. Он потом рассказывал, что стрелки хронометра сразу пошли в обратную сторону, причем крутились с такой скоростью, что их не было заметно. А барометр стал показывать ясную погоду, тридцать с плюсом по Цельсию, хотя валил снег и было двадцать пять мороза. Жуть, просто жуть! В общем, Шурик практически доказал существование замороженного времени. И клевало там всегда хорошо — прежние времена они и есть прежние времена — все в них было лучше, чем теперь. Но на этом пруду люди долго не сидели, даже если клев хороший был — жуть охватывала рыбаков и путников, которые случались иногда в этих краях.

— Чистая правда! — подтвердил Малыгин. — Раньше было лучше, даже голова с похмелья не болела…

И добавил:

— Ты что, намекаешь, что Иванов замерз в этих самых льдах времен? Скажу тебе еще раз, пока мы не пьяные — где бы он не замерз, где бы не заледенел, я все равно туда не ногой.

— Я сам пойду… Говори адрес, не тяни…

И художник растворился в пространствах «Голубого Дуная». Больше его никто и никогда не видел. Пропал великий живописец.

Николай быстро нашел дом, он стоял, окруженный забором, приготовленный к сносу — пустой, холодный и темный. Разбитые стекла хрустели под ногами, как снег в морозный день, двери и рамы хлопали на ветру, старая бурая дранка выпирала из потолков и стен, как поломанные ребра. Хотя дом был еще крепкий и простоял бы еще век—другой, его решили убрать. Уж очень не современная была архитектура с разными излишествами: колонны, парадный вход, крыльцо с затейливой чугунной решеткой. Все это раздражало отцов города. Они бились над современным обликом города, строили стеклянные дома с примесью стали и бериллия. А эти вековые строения, серые, бурые, с облупившейся штукатуркой, с надписями густого эротического содержания прилепились к новым улицам и проспектам, как грибы-паразиты.

И вообще здесь была такая мода — ломать мрачные старинные дома, а на их местах подолгу ничего не строить, пусть будет больше простора и света. Ну а когда горожане свыкнутся с пустотой, полюбят ее, власти внезапно могли поставить здесь жилую крупнопанельную коробку на пятьсот квартир — из очень прочного серого пористого бетона с металлическим каркасом внутри — изобретателю этого бетона собирались дать Нобелевскую премию, но почему-то не дали. Этот дом был рассчитан на полторы тысячи лет, а после капитального ремонта он мог простоять еще семьсот пятьдесят лет. Таких домов возникло множество на пустырях, где когда-то стояли дома с колоннами, и люди не помнили, что тут было раньше, говорили:

— Страшная какая коробка, как будто в серой шинели стоит… но это все-таки лучше, чем был здесь пустырь и на нем стая бездомных собак людям проходу не давала.

Так вот, дом этот с желтой картиной и писателем Ивановым, замуровавшим себя в тайной комнате, был как раз в той стадии, когда во дворе завелись бездомные собаки. Да не одна стая, а две. В одну сбились огромные мохнатые собаки, в другую — небольшие псы, они непримиримо враждовали, их обоюдная ненависть была больше со-

бачьей, наверное, — волчьей, или еще больше, еще ненавистнее. Чуть стоило зазеваться собаке из первой стаи, как мелкие собаки нападали на нее, и пощады от них не было, лютой ненавистью пылали глаза нападавших. Но если мохнатым гигантам попадалась мелкая собака, то они просто разрывали ее на куски.

Но все-таки наибольшая злоба была у них на людей. Сколько народу пропало в доме, во дворе — никто не считал, может, кто-то и был растерзан злобными собачьими стаями?

Поговаривали, что в доме завелась и страшная шайка бандитов, которая не брезгует никакой добычей. Попадется ей мосластая городская курица — шайка хвать ее — и в котел, попадется беззащитный коммерческий банк — тотчас налет, со стрельбой в потолок, с черными чулками на скуластых мордах, с матом-перематом. Кстати, насчет черных чулок. Их в шайке было много, потому, что бандиты были бандитками; все красавицы, как на подбор: с крепкими грудями, тонкими, просто ивовыми, талиями, точеными ножками. И все эти бедовые девчата имели разряды по стрельбе, побеждали на городской и даже областной спартакиадах. В народе шел слух, что в шайку пошло разорившееся модельное агентство, потому и название шайки было такое — «Жадо». Правда, никто не знал, что это такое, поэтому чаще говорили:

— Это наши жабы почтовый поезд ограбили! Представляете, в составе поезда ездил потерявшийся в четырнадцатом году почтовый вагон с рождественскими поздравительными открытками и подарками! Уж, как только его обнаружили? Вот кто-то обрадовался, когда спустя век получил поздравление или плитку окаменевшего шоколада!..

Короче говоря, опасно было на этой территории. Очень опасно.

Николай ступил во двор, как солдат в кабинет генерала. Для смелости он мурлыкал себе под нос «Smoke on the Water», плечо оттягивала сумка с инструментами. «В

случае чего, — подумал он, — буду отбиваться молотком и монтировкой».

И только он это подумал, как раздалось грозное рычание, и откуда-то сбоку выбежала огромная лохматая собака. Николай похолодел, этот пес разделается с ним за минуту; он представил, как желтые клыки впиваются ему в горло.

В это время с другой стороны двора показалось несколько собак поменьше, их рычание было еще грознее, чем у лохматого пса.

«Ну, все, — мелькнуло в голове Николая, — быть мне сожранным бродячими собаками!» Однако не смотря на парализующий страх, он отметил про себя, что особого огорчения при этом не испытал, только, может быть, легкое сожаление. Наверное, сказывалась усталость, накопившаяся в теле за долгие годы поисков этого таинственного дома, а, может, ему уже надоело бояться — всего на свете?

Собаки неспешно приближались к нему, прибавляя грозности в рычании.

«Сначала они со мной разберутся, а потом уже между собой, — подумал он. — Наверное, у собак это имеет значение — первостепенность разрывания на лоскуты; я для них важнее их собственной вражды. Это можно считать уважением…»

Собаки остановились в трех шагах от Николая, припали на передние лапы, их рычание перешло в хрип.

Николай зажмурил глаза.

И тут прозвенела команда:

— Назад! К ноге!

И тотчас злобное хрипение стихло, вдруг перешло на не страшное повизгивание.

Николай открыл глаза. У подъезда дома стояла красавица — длинноногая блондинка, фотомодель, золотое сечение 80 — 60 — 80, на высоко вздымающейся груди значок «Ворошиловский стрелок».

Собаки легли у ее ног.

«У этих ног любой бы прилег!» — подумал Николай, а вслух сказал:

— Здравствуйте! Просто не знаю, что без вас со мной сталось бы… Покусали бы, наверняка покусали…

Красавица засмеялась прокуренным голосом:

— Испугался!

Он тоже засмеялся, но так хрипло, как у нее, у него не получилось. Он бросил курить пять лет назад. Как пропала в киосках его любимая «Прима», так он и бросил. «Прима» была ему и по вкусу, и по карману.

— Любой бы испугался, — признался он.

Она оценила его прямодушие:

— Честный!..

Он подошел к ней, собаки забеспокоились, но она успокоила их:

— Лежать!

Николай протянул красавице руку, представился:

— Коля… Вообще-то все зовут Николаем, но мне нравится, чтобы звали Колей… Как-то мягче звучит, не находите?

— Конечно, мягче, просто как пух, — сказала она, и тоже назвала свое имя:

— Коза… Ой, извините… Меня подруги в шутку называют Козаностроой — за веселый нрав, а вообще-то я — Катерина, Катя…

— Очень приятно! — сказал Коля-Николай. — Вы, должно быть, хозяйка этих песиков? На прогулку их вывели?..

— Да, хозяйка. Конечно, на прогулку, — согласилась она. — Люблю животных, никуда не денешься от этой слабости. У меня их сорок восемь в двух…коллективах, что ли… в двух бригадах. Пришлось взять шефство над ними

— Хлопотно, наверное? — предположил Коля. — Да еще с вашей внешностью…

— Что-нибудь не в порядке с внешностью? — всполошилась она, достала из сумочки зеркальце.

— Все в порядке с вашей внешностью, я хотел сказать — вашей красотой, — бросился он убеждать ее.

— Вы мне льстите, — не без кокетства сказала она, — но, тем не менее, приятно слышать…

— А мне приятно это говорить… — обмен любезностями грозил затянуться надолго, поэтому Коля-Николай прервал сам себя и спросил:

— Вы здесь живете?

И не дождавшись ответа, продолжил:

— Если это так, то вы должны знать, где находится комната, в которой…

— В которой брошенная библиотека! — перебила она его. — Тыщи книг, жуть! Чудно!.. Чудно не потому, что бросили книги, а потому, что все они или без первых страниц, или без последних, во многих из них вырваны самые интересные места…Комната эта находится в подземном этаже дома, его раньше называли «электрическим»…

— Нет, не библиотеку я ищу, — ответил Николай, — хотя это тоже очень интересно; я где-то читал об этих книгах, даже фамилию запомнил владельца — Бочаров. Но ищу я комнату, в которой на стене…

— На стене осень, — опять перебила она его. — Картина такая желтая…

— Здесь, здесь она? — загорелись у него глаза.

— Здесь, — разочарованно произнесла повелительница собак, — но ничего в этой картине интересного нет — только пустота, только скука. Я не понимаю, зачем художник истратил столько красок, израсходовал столько времени, мучился, поджидая вдохновенье, — и все для того, чтобы написать ничто, нарисовать никого?

— Может, Малыгин — певец незагроможденных пространств? — вставил слово Коля-Николай. — Поэт пустынь, акын желтых песков?.. Кто-то ведь должен изображать то, чего нет на свете, но может быть… Не для того ли мы живем, чтобы все придумывать и все разгадывать? И потом — так ли пуста пустота, так ли абсурден абсурд?..

Катерина махнула рукой, дескать, все это безнадега. Художник должен свой бесконечный мир раскрывать нам, у нас дух должно захватывать — вот она какая беско-

нечная вселенная! Это ведь большое счастье уметь поделиться счастьем, и мы ждем и надеемся хоть одним только глазком взглянуть на чужое счастье, замаскированное под наше собственное, а вместо этого нам суют под нос жуткую желтую пустоту, и мы понимаем — это одиночество…это распад, это даже не проигранное сражение, не капитуляция в войне — это проигранная жизнь, причем на всех фронтах.

Коля-Николай прищурился:

— Вы, я вижу, оптимистка…

— Я сказала бы иначе: позитивистка…

— Чем вы занимаетесь? — спросил он.

— Как и вы, я занята поиском, и тоже часто поиском того, что мне не принадлежит…

— Боюсь вас неверно понять, но, кажется, догадываюсь, какое ремесло вы избрали…

— Да, я главарь разбойной шайки! — произнесла она с нажимом.

Он непроизвольно сделал шаг назад:

— Вряд ли вы позаритесь на мое имущество…

— Да, уж! — оглядела она его с ног до головы: грязная мятая кепка, обвислое пальто цвета старой медведицы, разбитые летние туфли — явно не по сезону, потрескавшиеся черные перчатки, издалека напоминавшие обожженные, обуглившиеся ладони. — Не позарюсь!..

Она задумалась на секунду, сказала:

— У нас первая в мире степная женская шайка, и все, так сказать, творческие работники — девушки, притом — красавицы. А вот среди технического персонала есть и мужчины, прошедшие строгий контроль… Так вот, технического персонала нам не хватает. Хотите, примем вас на должность заведующим отделом стрелкового оружия? Или зам. атамана по хозяйственной части?

Он покачал головой:

— У меня таланта нет к этой безусловно интересной профессии… И потом разбой это чаще всего коллективный труд, он требует слаженности, дисциплины, строгого соблюдения законов шайки, а я шатун-одиночка… Боюсь,

не сумею оправдать ваших надежд и тогда вам придется как-то избавляться от меня…

Красавица холодно улыбнулась:

— Вы правы, тогда выход один. Мы застрелим вас!..

Пока они вели содержательную дискуссию, из подъезда обреченного дома вышло с десяток блондинок, ярких, как новые заплатки на старом сером плаще. Золотистые тона разбавили сумрак векового двора, ароматы шанелей напомнили, что до парижей, венеций, ахтубинсков совсем недалеко. Выкатились из дома непримиримые огромные псы и злобные маленькие собачки, забывшие ради общего дела на минуту свою ужасную вражду.

А какое общее дело им сейчас предстояло?

«Какое?» — спросил у себя Коля-Николай, и почувствовал, как испарина покрыла его высокий лоб.

— Вообще-то я не думаю, что мы можем вас отпустить и сейчас, — сказала предводительница банды «Жадо» и собачьих стай.

Блондинки сомкнули ряды, в руках сверкнули ножи.

Собаки грозно зарычали.

«Даже если они носят лифчики и употребляют одеколоны наружно, — подумал Коля-Николай, — бандиты они есть бандиты, ни милосердия у них, ни простой человечности». И он закрыл глаза, готовясь к самому худшему.

«Вот же, стоило родиться, учиться (правда, на тройки), служить в ракетных войсках, все время борясь с искушением запустить ракету куда-нибудь на Луну или на Марс, — размышлял он, — а в итоге — отправиться на корм собакам и собачкам…»

— Однако, — перебила его невеселые мысли начальница над разбойницами и одичавшими псами, — ничто человеческое нам не чуждо, почему это самое человеческое нам должно быть чуждым? Почему?..

— Вот вы, по случаю, женаты?.. — спросила она, чуть-чуть поразмышляв.

— Нет, по случаю, не женат, ни капельки не женат, — надежда вползла ему в душу. Наверное, не зря спросила красавица, может быть, хочет выдать за него одну из сво-

их подручных? Закатить пир на весь мир? А когда будет догорать на этом пиру последняя свеча, девушки раскаются в содеянных злодеяниях, поклянутся, что свернут с кривой дорожки и ступят на путь добра. Позже, закончив профессионально-техническое училище, они станут помощницами машинистов электровозов или заведующими салонов красоты, и все до единой выдут замуж за олигархов, само собой кроме той, что полюбит Колю-Николая, и уедут в счастливую страну Финляндию или Норвегию, тоже счастливую страну?

— Женихов становится все меньше, — атаманша как будто услышала его мысли, — а богатых тем более…

Коля-Николай не очень вежливо прервал ее:

— Если в ваши планы сегодня не входит убийство, то не могли бы вы проводить меня к той самой комнате, где на стене желтая картина?..

— Конечно, — грустно ответила предводительница первой в мире степной женской банды. Грустно ей стало от того, что женщине, даже такой могущественной, трудно добиться, чтобы ее выслушали.

И они пошли с ней по коридорам заброшенного дома, только раз она оглянулась, приказала банде:

— Сегодня берем ликерку! Работайте без меня!

И негромко сказала, обращаясь к Коле-Николаю:

— Третий налет на ликеро-водочный завод за последние два месяца… Удобно — завод неподалеку, да и продукция у него — выше всяких похвал, у нас она не залеживается… Брать деньги в банках дело и опасное, и хлопотное: цены растут, инфляция давит, народ полюбил золото, драгоценности. Вот мы и берем готовым товаром. На той неделе семь самосвалов с зубным эликсиром отбили у благотворительного каравана ЮНЕСКО… или нет-нет — у экспедиторов ОРГБОРЧУДа…(Для тех, кто не знает — ОРГБОРЧУД — организация по борьбе с чудовищами).

Коридор, по которому они шли, казался бесконечным, а, может, он таковым был на самом деле. Они поворачивали то налево, то направо, то опять налево, а иногда подолгу шли все прямо, прямо и прямо.

— А снаружи дом не кажется таким большим, — сказал Коля-Николай.

— Он совсем небольшой, это коридор такой огромный, а дом всего — ничего, — ответила она.

— Этот коридор похож на одиночество, — сказал он.- Темный и пустой…И бесконечный…

— Я могла бы выйти за вас, — негромко произнесла атаманша. Но Коля-Николай не услышал ее, или сделал вид, что не услышал. Он заглянул в ее глубокие, пылающие кошачьим огнем глаза (конечно, конечно, повелевать собаками может только кошка), и ему показалось, что в них мелькнула затаенная грусть.

— Странный у вас город, — сказал он, — такое ощущение, что его нет. Наверное, он был здесь когда-то, но исчез. Засосали его желтые пространства, засыпали зыбучие пески. И это хорошо… Пропал город-абсурд.

— Он есть, — возразила ему она. — Он будет всегда… Вы ведь знакомы с философией существования… экзист?..

— Не знаю я никакой философии, — почти грубо ответил он. — Я простой путешественник…

— Не археолог? — спросила она. — Это так заманчиво — вызволять из-под земли прошлое…

— Нет, я не археолог, — ответил он, — я просто хожу, смотрю…

— Какая интересная жизнь — ходить и смотреть, — задумчиво сказала она. Казалось, ей все было в нем интересно. А ведь полчаса назад она готова была зарезать его.

Под ногами зашуршал песок, наверное, через разбитые окна нанесло, и она остановилась у заколоченной двери:

— Все, пришли… Вот эта комната… А заколотили ее мои девчата, мало ли что!.. Неизвестно кто может со временем проснуться у этой двери, крику потом не оберешься: «здесь жил гений!», «здесь бывал другой гений!», «здесь гениев не счесть!»… Открывайте смелее!

Коля-Николай вытащил из сумки с инструментами молоток, примерился и ударил по одной из досок, крест

накрест закрывающих дверь. Доска завибрировала, сосновый стон пошел по коридору. Он ударил еще раз и доска опять откликнулась стоном. Как будто сожалела о том, что может случиться, поддайся она.

— Нужна монтировка, — со знанием дела сказала предводительница Катерина. — Молотком не возьмешь…

Была припасена и монтировка. Но хотя силы были укреплены портфейным — с Малыгиным в «Голубом Дунае», переименованном в «Кафе национальных блюд» — настырное дерево опять не поддалось. Коля-Николай нажимал изо всех сил, но доски стояли насмерть, как преторианцы.

— Плоскогубцы! — скомандовала атаманша, как хирург в операционной.

Но и они не справились с заколоченной дверью.

— Лом!..

Лома не нашлось в сумке с инструментами.

— Дрель!..

Дрели тоже не было.

— Чем сильнее запор, тем пустячнее тайна, которую он охраняет, — сказала Катерина. — Это закон природы…

— Пустячных тайн не бывает, — ответил Коля-Николай. — Законы врут. И мы все время убеждаемся в этом. Верна только «Теория пыли», сформулированная некогда великим путешественником Александром…

Она хмыкнула, сказала:

— Теоретики с рюкзаками, да? Блуждающие теоретики?..

— Он путешествует налегке, без рюкзака, — ответил он. — А если быть точным, то полностью голый…

— Понятно, — сказала она, но было заметно, что ей как раз не очень понятно.

Он еще раз — другой ударил по двери молотком, она была прочнее крепостных ворот.

— Оставь ты этот штурм! — незаметно они перешли на «ты». — Зачем тебе эта никчемная картина?

Коля — Николай ударил еще раз: нет, он не отступится.

— Вы, бандиты, чисто конкретные люди, — сказал он, — вам надо точно знать, в каком сундуке что лежит, в какой банк привезли сегодня выручку. Вы глаз не сводите с ювелирного магазина, заранее рассчитываете каждый свой шаг, по минутам расписываете свои налеты. А я не знаю, для чего мне этот желтый пейзаж, почему именно я хочу добраться до него. Скажешь, в этом нет логики, но она мне противна, логика… Мы только и делаем, что ищем логику — во всем — хотя чаще всего нам попадается именно то, в чем логики никакой и не ночевало. Мы и ищем всегда не то, и находим всегда не то. Иначе нам нечего было бы объяснять.

— Да, бандитам этого не понять, — сказала Катерина грустно, — мы всегда идем за тем, что нам нужно. А здесь без перфоратора не обойтись…

— Перфоратора?

— Ну, да, это такая мощная сверлильная машина, я могу на бумажке написать: пер-фо-ра-тор… А можно вырвать страницу из специальной строительной книги; нам повезло, что книг тут полно… Да, Бочаров оставил…

С этой страницей он отправился в магазин, Катерина осталась его ждать у заколоченной двери.

Дом был наполнен неясными звуками. Сначала ей показалось, что кто-то совсем рядом негромко поет, да так ясно, что можно было разобрать все слова: «Смело мы в бой пойдем за суп с картошкой, и повара убьем…». Но как только она поняла, что именно эту песню она любила петь в детстве, пение стихло, растворилось в других звуках. Начали скрипеть половицы, как будто по коридору грузно шагали невидимые люди, причем они далеко не уходили, разворачивались и скрипели в обратном направлении. А потом и скрип пропал, и раздался детский плач. Кто-то рыдал тоненьким голоском, да так горько, как будто заранее оплакивал свою непутевую жизнь.

«А ведь это я плачу», — догадалась предводительница собачьих стай и банды «Жадо», и тут же плач стих.

«Наверное, по дому скитаются остатки прежних жизней, крошево из несчастий, забытые привычки, брошенные привязанности — думала она, — а куда они денутся, когда дом убьют? Может, они поселятся в бывшем «Голубом Дунае», а нвне в «Кафе национальных блюд», ведь там самая высокая концентрация выплаканных слез?..

Коля — Николай пришел с перфоратором наперевес. Предвкушение светилось в его пытливых глазах.

— Кое как нашел эту технику, — сказал он. — Должно быть, все что-то ломают… Верно говорят, что ломать — не строить. Как ты думаешь, все ли крушащие знают, что они делают?

Не дождавшись ответа, он включил перфоратор и тот загрохотал, как пулемет. Кажется, даже запахло порохом.

Упрямое дверное дерево дрогнуло, полетели щепки. Минута, и пневматическое сверло прошло сквозь сосновую толщу дверной филенки. Коля-Николай вытащил инструмент и в образовавшееся отверстие хлынул песок.

— Странно, — сказал он, — у меня такое ощущение, что мы находимся внутри огромных песчаных часов.

И он опять включил перфоратор, и через десять минут все было кончено — дверь упала под ноги, как подъемный мост в сдавшемся замке.

— Вот это да! — сказала Катерина.

— Ни фига себе! — выразил так удивление Коля-Николай.

Никакой картины в комнате не было. От самой двери глазам открывалось

бескрайнее желтое пространство: где-то далеко рычал невидимый грузовик, забуксовавший в этой глиняной и песчаной пустоте, холодный ветер пронизывал насквозь, швырял в лицо пригоршни снега. Полыхнула желтая молния и гром покатился к черному горизонту. Не то весна, не то осень, не то зима — не поймешь. И лето такое бывает.

— Где же комната? — прошептала пораженная Катерина. — Я же сама ее видела в прошлый вторник, она была здесь, и картина висела на стене…

— Пришел другой вторник, — сказал Коля-Николай.

— Мы попали внутрь этой картины! — догадалась предводительница собачьих стай и банды «Жадо». — Ужас! А небо здесь какое низкое и тоже желтое!..

— А, может, оно золотое? — предположил он, и в ответ вспыхнула еще одна золотая молния. И ударил гром.

— Пойдем? — сказал он и сделал шаг в сторону пустыни. — Посмотрим, что тут есть…

— Да ты что! — опасливо посмотрела на небо атаманша. — Пойти сюда — значит пропасть навеки в этой бескрайности и электрической жути!..

— Как хочешь, — сказал он с сожалением, — вдвоем было бы не так скучно…Думаешь, что собаки без тебя пропадут?.. Девушки твои одичают? Да, ничего с ними не станет. Собак разберут дачи охранять, девушки замуж повыскакивают… А здесь чистый голд…

— Хочешь, я тебя буду ждать? — спросила она и положила ему руки на плечи.

— Жди, — коротко сказал он, и она поняла, что он не вернется. Никто и никогда не возвращается… Кто бы и куда бы не отправлялся, норовит не возвращаться; и что у людей за дурная привычка такая? Пропал в тайной комнате, которая сама пропала, Иванов, исчез художник Малыгин, и вот еще один бедолага отправляется в мутное необъясненное пространство.

Неужели никто так и не скажет, куда все уходят, и даже толком попрощаться не могут? И зачем уходят?

Может, все-таки ученые возьмутся за исследование этого, до конца не исследованного, явления? Может, они успокоят человечество, или хотя бы сумеют правдоподобно соврать? Дескать, нечего тревожиться, там в желтой дали ничего страшного нет, живут такие же, как мы, люди, даже, пожалуй, получше нас, и пенсии у них побольше, и пиво дешевле, а летом грохочут грозы, а зимой докучают

метели…Скучновато там, а так вообще-то терпимо… Заходите, если что?

— Ну, я пошел, — сказал он. — До встречи…

Катерина поняла: не хочется ему туда. Но он пойдет.

Она не сдержалась, всхлипнула, на глаза навернулись слезы, и в этих слезах растворился, пропал последний человек, который ищет неизвестно что.

— Я буду ждать! — сказала она.

Холодная зимняя молния прошипела над ее головой.

Астана, ***06.02.2012***

СТАВКА ПО МАКСИМУМУ

Как-то зашел Бокаушин в карточный домик, ему крикнули вслед: смотри, дескать, втянешься, а он только рукой махнул в ответ: за меня не боись! И, конечно, вляпался. Заболел, аж в глазах темно. Из дома, само собой, старался особенно не тащить, но каждую свободную копеечку, которая прежде на доброе дело шла — на чулки Динке, на коробки конфет «Бобруйский зефир», в крайнем случае — на портфейное, проигрывал в пух и прах каким-то электрическим колесам.

Новая, послесоветская власть, чуть не на каждом углу поставила эти карточные домики; в них и рулетки были, и покерные столы, но Бокаушин пристрастился к игровым автоматам. В этих здоровенных ящиках, похожих на кассовые аппараты, было натискано огромное количество денег. С утра и до утра, без выходных дней и праздников, без всяких учетов и санитарных дней, люди приносили в эти самые кассовые аппараты свои кровные сотенки, у кого водились — то и тысячи, и аппараты без устали поглощали эти деньги, и Бокаушин думал, что потому в мире и не хватает денег, что они затрамбованы в эти автоматы. Сам он ни разу не выиграл, так, по мелочи случалось, и его знакомые не выигрывали, и его родным и подавно не фартило, тем более, что его родные изо всех сил боролись с казинами. Но вот какое дело, каждый раз проигрывая, он для чего-то записывал в растрепанной записной книжке суммы, которые просаживал автоматам, и дни недели, и даже время. Зачем ему это было нужно, он и сам объяснить не мог. «На всякую случку!», — говорил он обычно. А, может, он рассчитывал со временем посчитаться с автоматами, предъявить им свой счет? Вообще, он взял за моду записывать всякую чепуху, например, разопьет с

дружками бутылочку фряжского, и сразу за карандаш: так, мол, и так, 7 ноября по новому стилю бухали. По старому тоже пропустили по рюмочке, всех с ног снесло.

Однажды Динка полистала книжку, распухшую и потрепанную. Не все поняла, потому, что все цифры, буквы, знаки препинания, если они были, перепутались, перемешались, слиплись, как остывшая вермишель в закусочной на углу улиц Фоменко и Нестеренко. Но кое что разобрала. Долго крутила перед глазами такую запись: «Д. недолго коб.» — и дата. Она поднапрягла память: что же такое могло случиться в этот день? — и мгновенно вспомнила. Это тот самый день, когда у костра… в палатке… А надпись переводится на человеческий (человеческий ли?) так: «Динка недолго кобенилась».

Вот же летописец! Сволота! Она полистала еще и нашла: «Поспорил с Артурчиком на ящик пива, что трхн. Лидку. Пили вместе». Какую-такую Лидку он «трхн»? Ах, да, в одно время крутилась какая-то прошмандовка, где-то по соседству жила, прибегала чуть не каждый вечер: дайте щепоточку соли, займите полбуханки хлеба, нельзя ли у вас перехватить пятерку до зарплаты? Вот, что ей перехватить хотелось… И перехватила…

Паразит, просто паразит…

Володька, а Бокаушина звали Володькой, думал, что рано или поздно наступит день, когда в автоматах создастся критическая денежная масса, нужно только не проморгать этот день, и тогда только успевай мешки подставлять, да не мешки, а пульмановские вагоны или желтые кузова знаменитых белорусских грузовиков.

В общем, когда он все-таки продал телевизор: а чего им двум стоять, все равно смотреть нечего, хватит и одного маленького на кухне, — Динка пошла в охранное бюро, где служил Володька — сутки на дежурстве, а двое дома, но он без отсыпу тащился, как бурлак, в казино — на эти самые двое суток, отпущенные ему на ласки жене, на дачные радости с пивом и шашлыком, прополкой картофана.

В охранном бюро она дошла до начальника, которого звали Владимиром Ивановичем. «Тоже Володька, —

подумала Динка, — поди, и этот каждый грош к электрическим колесам тащит». Но она спокойно изложила ему свою беду: сегодня телевизор упер, а завтра и комод уволочет, помогите, может, через профсоюз на него подействовать — выговор, или наоборот путевку в те страны, где казинов не бывает?

— Свинья грязи всегда найдет, — грубовато, но очень точно выразил смысл явления Владимир Иванович, — но мысль ваша здравая, можно попробовать вырвать человека на время из этой засасывающей среды.

«Если б он человеком был, так не пришлось бы его вырывать, сам бы понял, — подумала Динка.- Свинья, сволочь, недоделок…»

— В общем, подумаем, чем мы сможем вам помочь, — сказал начальник, мягко выпроваживая несчастную жену.

Она потащилась в свое жилище; шла медленно, еле ноги волочила — так противно ей было возвращаться домой, смотреть в бегающие глаза мужа. А вокруг все было пропитано июнем, цвело все, что могло цвести, даже редька. Молодые люди на улицах сходили с ума, раздавали первым попавшимся девушкам цветы; девушки даже и не догадывались, что цветы эти с клумбы под окнами кабинета высшего городского начальника, которого возили в длиннющем черном «мерседесе» с черными стеклами; Динке почему-то казалось, что в этой машине обязательно есть двуспальная кровать, унитаз и биде. Биде — это такая фарфоровая штуковина для баб (на самом деле, все так и было в машине, даже еще и больше — холодильник, а в холодильнике водка и банка с паюсной икрой).

Сумасшедшие ребята с цветами чуть не силком вручили и Динке букет, чуточку, конечно, примятый, но ей и таких, примятых, букетов отродясь не дарили.

Она так растерялась, что завернула в уличное кафе, заказала себе мороженое — пломбир с молочным шоколадом и бокал красного вина. А почему бы ей себя не побаловать? Один раз живем! Она выпила вино залпом, заказала еще. Одним махом выпила и этот бокал, а иначе она не умела. Пусть американские или какие-нибудь маль-

тийские дамочки сосут через соломинку, смакуя букет, а нашим женщинам не до букета, надо за жизнью следить, ведь чуть отвернешься, как она норовит по башке дрыном врезать.

Затеплело у Динки в груди, чувства проснулись, как в молодые давнишние годы, да так проснулись, что она едва не задохнулась. Даже за сердце схватилась.

— Женщина, вам плохо? — строго спросила официантка.

— Нет, мне хорошо! — не соврала Динка. Ей было почти хорошо; она знала, что совсем хорошо не бывает. Иной раз, как будто, поблазнит золотым-серебряным-счастливым, а приглядишься — заплатка на заплатке, долги, которые еще детям достанутся, болезни — одна за другой не переводятся, как долги же, сосед за стеной, сволочь, каждую ночь над женой измывается, а она и стонет, и скулит, и причитает, а забеременеть не может; если бы над Динкой так измывались, так она залетела бы с первого разочка; но никто не измывается — ни Бокаушин, ни сосед, хотя как-то по-соседски намекал, но дальше намеков не пошло. Правда, приходил как-то просил сотню занять, но она не дура — не дала.

* * *

Она вдруг вспомнила, как у них с Бокаушиным все началось. Он за ней еще со школы приударял, все в кино звал, брал билеты по сорок пять копеек — на последний ряд, а там старался поцеловать ее или будто бы ненароком дотронуться до груди. Она отбивалась, ей и взаправду кино хотелось посмотреть, а он приставал и приставал. Она про него всерьез даже и не думала, тоже кавалер нашелся — руки, как грабли, голова, как помидор недозрелый — с каким-то зеленоватым цветом волос, бугристая. Но однажды, уже после выпускного вечера, всем классом затеялись идти в поход, куда-то к озеру Садовскому. Набрали «танцовщиц» — на этикетках вермута картинка была с танцующими молдаванками, и добрались до озера уже веселыми, как коверные в цирке — сами чего-то кричат неразборчиво, сами же и хохочут, а то слезы фонтаном.

Динка тоже хохотала вместе со всеми над пахабными анекдотами, даже сама рассказала один: «Если предположить что нормальный здоровый мужик собирает в лесу за день 5 кило черники, а нормальная здоровая женщина собирает за день 4 кило черники, то это не значит, что если они вдвоем пойдут в лес, то соберут 9 кило черники...» В общем-то, анекдот туповатый, но Володька ржал над ним, как конь. Проржавшись, сказал:

— В наших краях черника не водится, только смородина…

— Девчата, пойдем за черникой, заодно и ягоды насобираем? — принялись шутить ребята.

— Дураки! — отбивались девчонки, но не очень строго.

Динке тогда нравился один чурбан очкастый из параллельного класса. Его, кажется, Кириллом звали, или Анатолием. Как-то так. У костра, который заполыхал на берегу реки, она сидела рядышком с ним, несмотря на тучи визжащих комаров, и подпевала ему, когда он выводил с надрывом: «…а если есть кто с тобою рядом — не стану долго мучиться, люблю тебя я до поворота, а дальше как получится…» Но чурбан не реагировал, все бренькал на гитаре, и чего они все, которые поют про поворот, про туманы и сырую тяжесть в сапогах такие бестолковые? Она даже поцеловала его в щеку после очередной песни, дескать, так понравилось, а он потянулся к эмалированной кружке с «танцовщицами», которая ходила по кругу.

Все стали расползаться по палаткам, и вскоре она одна осталась у костра с очкастым. «Вот сейчас он отложит гитару…», — мелькнуло в голове. Но тут откуда-то из темноты вынырнул Володька.

— У тебя, вижу, палатка двухместная, а ты один, — сказал он, — пустишь квартиранта? Меня, то есть?

Чурбан легко согласился, милее всего ему были песни, он как раз и выводил еще одну: «Если все шагают в ногу, мост обрушивается…».

Володька принялся затаскивать в чурбанскую палатку свой спальный мешок, собирался залечь, тем более, что было далеко заполночь, и лагерь давно храпел. А чурбан все пел. И такая ночная лагерная тоска схватила Динку за сердце, что ни пером описать, ни под гитару пропеть!..

— Ну, я пошла спать, — сказала Динка в полуночное пространство, — пока…

Чурбан только кивнул, спасибо, что хоть расслышал. Володька наоборот захлопал крыльями:

— Куда ты торопишься, посиди еще немного, послушай, как человек душевно поет…

И тут она не сдержалась:

— Достали уже ваши песни! Достали! Все только поете про любовь, а любить умеете ли? Умеете?..

— Умеем, еще как умеем, — ответил за себя и за очкастого чурбана Володька. А тот только усмехнулся, прервал на минуту очередной куплет, сказал непонятно:

— Просто мы на крыльях носим, то, что носят на руках…

В общем-то, ничего такого он не сказал, но Динку задело.

— Да пошел ты! — сорвалась она, и потянула Володьку за собой:

— В моей палатке тоже есть место!..

Володька взвился как пружина, вытащил назад из палатки очкарика спальный мешок, как вкопанный встал рядом с ней:

— Ну что, пойдем? Поздно уже…

Сколько раз потом вспоминала она эту ночь! Она думала, что вся жизнь ее могла сложиться совсем не так, останься она тогда у костра, рядом с чурбаном. И не оказалось бы в той жизни Володьки, володькиных неудач, всего его корявого существования?

Володька тогда затащил в ее палатку свой спальный мешок, сказал с напряжением:

— Я так сегодня устал…

Она стояла у палатки, не решаясь ни вернуться назад, ни забраться в свой спальный мешок.

— Идешь? — поторопил ее Володька.

— Что ты себе вообразил! — накинулась она на него. — Я забыла совсем, что в мою палатку собиралась Надька…

— Она давно дрыхнет в палатке у Анфисы, — сказал Володька.

— Нет, она сейчас придет, — стояла на своем Динка. — Вытаскивай свой спальник, иди к гитаристу.

Она думала, что Володька примется орать, а он внезапно согласился:

— Сейчас, спальный мешок за что-то зацепился, кажется за твою сумку…

— Погоди, не ворочайся там, как слон, я тебе помогу, — и она нырнула в палатку. То, что он ее обманул, она поняла сразу, еще до того, как он навалился на нее, жадно принялся мять грудь, а зачем тогда лезла в палатку? И потом, ведь у нее никакой сумки и не было? Был рюкзак, а он сказал «сумка», а она тут же купилась? Она отбивалась, шипела:

— Сволочь, сволочь ты!..

А он только стонал от натуги, веером разлетались по палатке пуговицы с ее кофточки; он рванул с нее лифчик, она вскрикнула, попыталась прикрыть грудь рукой, но там уже давно хозяйничала рука Володьки. Она вырвалась бы, конечно, разве Володька справился бы с ней? Но вдруг она как-то странно устала, из рук, всего тела вмиг ушла сила, Динка перестала сопротивляться.

«Уступила? Поддалась? Сама захотела?» — сто раз потом задавала она себе эти, в общем-то, ничего не значащие, вопросы, и не могла ответить (могла, еще как могла, но разве хотела?).

Володька аж заурчал от страсти, принялся покрывать ее тело поцелуями, ласкал умело, неожиданно нежно, и где только, стервец, научился? Она услышала как бы со стороны и свои собственные постанывания; все сладилось? А если бы осталась у костра?

Гитарист на утро не проронил ни слова, хлебал из кружки чай, и даже не смотрел в ее сторону. А Володьку просто распирало от счастья, он даже притащил ей пря-

мо в палатку кофе, Динка чмокнула его за это в щеку — он засиял.

И началась жизнь. Она вышла за Володьку, а гитарист так и остался один, никогда не женился, и лет пятнадцать спустя прислал ей на новый год открытку, где было всего одно предложение: «Как я тебя любил!!!» Она бы кинулась его разыскивать: встречаться, мучиться, бередить память, но не понятно было: гитарист сообщает открыткой о том, что любовь, наконец, прошла, и он сожалеет об этом, или наоборот рад, освободился?

* * *

Прожили они с Володькой, а сколько лет прожили? Двадцать два? Да нет же, двадцать семь… Двадцать восемь! Она представила кучу отрывных настенных календарей: День парижской коммуны, День почтовых работников, День международной солидарности трудящихся… Одних только вторников больше полутора тысяч, и где их столько, одинаковых, набралось? А еще унылые четверги, ожидание пьяных пятниц, когда Володька отправлялся с друзьями пить пиво…

Но было, конечно, и хорошее, запоминающееся. В последний год старой власти выиграли в лотерею холодильник. Решили деньгами взять, в Сочи поехать, но тут этой старой власти не стало, а с новой за дела старой не станешь спрашивать. На поездку в Сочи взяли в долг — какие-то большие тысячи, все переживали, что не расплатятся никогда, но помогла инфляция, рассчитала их с ошалевшими кредиторами в полмесяца… В это примерно время Володька попал на защиту демократии в Москве, в августе стоял две ночи на баррикадах у Белого дома. А получилось так: его взяли на работу на какой-то новый завод, который возник на руинах старого, и зачем-то послали в Москву — то ли экономические бумаги выправлять, то ли их подделывать. Он еще не успел доехать до столицы, как новый завод прогорел, и Володька, дожидаясь обратного поезда, болтался по улицам Москвы — и естественно попал на революцию. Рассказывал сначала, что все

прошло весело, какие там замечательные собрались ребята, какие стихи прямо во время революции сложили поэты, какие замечательные девушки помогали революционерам… А потом время прошло и он ничего не стал рассказывать про это.

Потом как-то Володька бросал пить, и сухим продержался полтора года, его даже мастером цеха поставили, но потом завод закрылся, его продали под снос, рабочих уволили, и Володька продолжил пить. А тут приспела новая зараза — карточные домики…

* * *

Она шла не торопясь, после выпитого вина приятно кружилась голова, и казалось, что все еще наладится в жизни. Да, собственно, оно все налажено, только чуть-чуть подправить надо — там причесать, там постричь, там промолчать, там поплакать тихонечко в подушку — и все станет по-другому…

Если бы она шла быстрее, то сумела бы перехватить Володьку, который как раз в это время с дружками вытаскивали тот самый комод, о котором сегодня вспомнила Динка. Комод этот, они, конечно, далеко не утащили, а загнали прямо во дворе: аптекарша с пятого этажа прикупила комодец — нынче все старинное в ход пошло. Володька с Динкой тоже на пятом жили, но в другом подъезде. Поэтому ребята еще и подзаработали малехо, подрядившись тащить комод в квартиру аптекарши.

Дружки отправились пить, а Володька сделал пару глотков и — в карточный домик.

В домике кругом зеркала, пока идешь к кассе разменивать деньги, отразишься в этих зеркалах сто раз, даже больше. Как будто в кино тебя показывают, как ты шагаешь, а в кармане у тебя сто тыщ, и через минуту хапнешь еще сто, и окружат тебя завидующие джентльмены и нетерпеливые красавицы с сигаретами в мундштуках, похожих на школьные указки.

В домике тебя встречают, как родного, как будто ты не в джинсах, а в смокинге, кричат навстречу:

— Делайте ваши ставки…

— Играйте на максимальную ставку!

— Джек-пот сегодня — сто миллионов, выиграйте сто миллионов!

Но сегодня не увидел Володька истинного радушия в глазах челеди карточного домика, а затаенную тоску. Электрические выигрывательные колеса вращались, поглощали деньги; скользили официанты, разносившие бесплатную водку — утешительную; загадочно улыбались женщины, — все было, как всегда, но как будто больше стало обреченности в этих сверкающих залах, и как будто совсем пропала надежда, которая прежде сидела иногда неподалеку от бара за шатким, залитым вином столиком.

— Что случилось? — встревожился Володька. — Свиной грипп?..

— Хуже. Закрывают нас, — хмуро обронил некто, облаченный в золотую ливрею. Или позолоченную, но все равно красивую.

Володька поначалу не придал значения этому сообщению: ну, подумаешь, закрывают одно казино, так их ведь без счета — на каждом углу.

— Не унывай! — сказал он ливрееносцу. — Я комод сегодня продал, старинную вещь, и то держусь молодцом. Только перед Динкой неудобно немного…

— Ты, наверное, не понял, — ответил некто в ливреях, — все казино закрываются. Не будет больше рулеток, не будет покера, не будет одноруких бандитов. Вот твоя Динка-то обрадуется!..

Володьку как громом ударило, а куда же денутся деньги, которыми набиты игровые автоматы? Он подумал даже, что деньги эти теперь будут розданы всем, кто годами тащил сюда свои кровные, но поразмышлял чуток и понял, что такого никогда не было, и, наверное, не будет.

— Как же теперь быть? — растерянно спросил Володька. — Дело не в деньгах, дело в возможностях. У игрового автомата мы все равны, у зеленого стола мы как близнецы, нам всем по плечу поставить на кон последний рубль и проиграть. Мы все здесь каждый день в бою, и отступать нам всегда некуда — на нас смотрит Россия! Мы давно ни во что не верим, и только здесь нам мерещится новый свет. Я видел проигравшихся в пух и прах миллионеров и разбогатевших вмиг голодранцев, нигде счастье не бывает ближе всего к катастрофе, чем здесь. Мы привыкаем ежедневно ходить по краю бездны, над самой бездной, и удивляться, как прочен волосок, который нас удерживает от падения. И даже когда мы срываемся, то успеваем крикнуть: «зеро!» За мгновение до гибели мы верим, что следующая ставка была бы счастливой. Шарик рулетки так мал, и столь много вмещает! Астрономы ищут черные дыры на краю вселенной, а они здесь — катаются по замкнутому кругу — от надежды до надежды…

— Не убивайся так, — принялся утешать его служитель казина, сам несчастный. — Может, оно еще и к лучшему обернется? Кончится игра, начнется жизнь?..

— Ничего уже не начнется, видишь, отыграться времени не дают. Может, как раз завтра я и сорвал бы главный куш своей жизни?..

— Но ведь сегодня есть еще время, вдруг, сегодня грянет удача? — спросил несчастный служитель.

Володька только рукой махнул, но к автомату подошел. Он чаще всего играл на этой умной, но уже несколько подержанной машине, в которой должны были сойтись не только семерки, вишенки и грудастые красавицы, но и сверкающие космические звезды; тогда машина должна была сыграть многоголосый марш и выдать выигрыш равный бюджету иной державы.

Завертелись колеса и комодные денежки, притянутые золотым вращением, журавлиным косяком потянулись внутрь машины.

За полчаса он проиграл все.

Не повезло и другим игрокам, пришедшим проститься с казином. Они тоже проиграли. Проиграли все.

Многие, опустив плечи, потянулись прочь из заведения. В конце — концов осталось человек пять, Володька, само собой, тоже.

Больше всех горевал человек в черном костюме с бабочкой; о таком костюме очень мечтал Володька. Человек оказался хозяином заведения, и он сказал речь.

— Дамы и господа! — произнес он проникновенно. — Сегодня мы с вами прощаемся. Больше не будет вращаться эта рулетка, совершенное творение человеческой мысли, хотя если задуматься, то, может оказаться, и не человеческой совсем. Не будут сдаваться карты в покере, «блек-джеке», слоты не станут радовать вас возможностью в любую минуту сорвать джек-пот… Но я скажу вам, друзья, азарт человеческий непобедим! Непобедим! Как не убита в каждом из нас надежда на чудо, я сказал бы даже — вера в чудо. Нет, не грубый материализм, не сухие цифры властвовали здесь, а живая мечта!..

— Мечта… Мечта… — эхом пронеслось по залам это слово.

— Мы не рабы денег, а романтики…

— Романтики… — опять поднялось эхо.

Кто-то смахнул со щеки скупую мужскую слезу, кто-то прижег горе рюмочкой злой водочки, у кого-то душа ухнула в холодную бездну: чем теперь утешаться? Одной только водкой и бабской жалостью?

— А сейчас, друзья, — еще проникновеннее произнес хозяин казина, — мы хотим сделать подарки вам, последним и самым верным нашим посетителям, да что там — настоящим завсегдатаям — каждый из вас получит по игровому автомату.

— По настоящему игровому автомату! — закричал хозяин в микрофон. — Никто не может вам запретить предаваться любимому занятию наедине с самим собой… Теперь вы можете обрадовать своих родных: все, что вы проиграете, останется в ваших домах…

— Так ведь в каждом аппарате набито по миллиарду, не меньше! — прошептал счастливый Володька. — Просто царский подарок, а Динка все время твердила, что в казине один обман и больше ничего нет. Ошиблась Динка, вот оно что! Бабы — что они понимают в мужских делах?

* * *

Если бы Динка в тот вечер поспешала домой, а не распивала вина в кафе, может все еще бы сложилось в их с Володькой жизни, не рухнула бы эта самая жизнь с высокого яра, не завязалась бы нераспутывательным змеиным клубком. В общем, когда Динка добралась до двери своей двухкомнатной квартирки (комнаты проходные, вагончиком, но площадь внушительная — вместе с кухней 26 квадратных метров, не шутка), на месте комода уже стоял однорукий бандит, и даже штепсель его иноземный был включен в электрическую розетку.

Увиденное так потрясло женщину, что она на минуту потеряла дар речи. Потом тихо, почти шепотом, спросила:

— Что это?

Этот доселе неслыханный от Динки шепот в свою очередь потряс Володьку. И он не придумал ничего лучше, чем спросить у нее:

— У тебя сотенка не завалялась? Для первой ставки? А?..

— Сволочь!.. Га-ди-на-а-а-а-а!.. — наконец, у нее прорвался крик. — Вот же пракудина!..

«Пракудину» она ввернула первый раз, и вряд ли сумела объяснить, кто она такая, эта «пракудина». Или кто такой?

— Попалась же мне в жизни такая мразь, не обойти ее ни объехать, за что, Господи?

Когда она доходила до Господа, то обычно сбавляла газу. В этот раз тоже громкость в этом месте пошла на спад:

— Лучше бы ты пил! Жрал бы себе бормотуху, дешевле бы обходилось…

— Я могу и бормотуху, — сумел вставить слово Володька. Лучше бы не вставлял, потому, что голос Динки опять набрал силы:

— Насильник!.. Надо было тебя в тюрьму упечь тогда!

Однако, судя по всему, гроза уже уходила, раз она о приятном вспомнила, подумал Володька.

— Если бы ты меня не изнасиловал тогда, я могла бы выйти за порядочного человека! — совсем почти мирно произнесла Динка.

Двадцать восемь лет лежала на нем эта вина, и двадцать восемь лет он отвечал одинаково:

— Ты меня сама позвала!..

— Ты бредишь?

— А потом стонала как!..

— Была бы охота стонать!..

— Еще как стонала!..

И внезапно для самой себя, она достала из сумочки кошелек и протянула Володьке купюру — полусотку. Не стала даже спрашивать, откуда в квартире взялся этот электрический грабитель, ну появился и появился — какой только дряни не притаскивают мужья, хорошо, что хоть мотоцикл не прикатил или не на бронетранспортере приехал прямо в сени. Другие-то вон чего творят! Сосед Мишка привел в дом девицу, сказал жене, что это его сестра, пропавшая тридцать лет назад, а теперь чудесно обретенная. Шел он со смены и около скобяного магазина встретил ее. Вот, а говорят, что так только в телевизоре бывает!..

Мишкина жена, дура, поверила, постелила ей на диване, а посреди ночи проснулась и стала думать: сестра пропала тридцать лет назад, а на вид ей не больше двадцати. Мишкина жена толкнула локтем Мишку и потихонечку спросила у него:

— Сестренке твоей сколько годков было, когда она пропала? Небось большенькая уже?

Мишка зарычал спросонья, такая у него привычка была, и ответил:

— Большенькая, от второго мужа сбежала, егоза!..

— Так ей должно быть теперь за пятьдесят?..

— Ну, конечно!.. — и Мишка окончательно проснулся от мощного пинка любящей супруги.

— А ты кого в дом привел, гад? — спросила она.

— Наверное, обознался, — честно признался Мишка. — С кем не бывает?..

А другой сосед — Петро Мокроус — решил открыть сувенирную лавку, изготавливать, находить для любителей и продавать всякие там статуэтки, бюстики, значки, старинные книги и газеты, открытки с видами несуществующих городов. Решил открыть — и вскорости открыл, правда помещение для лавки пока не снял — дороговато, пока расторгуется, то да се, — а разместил магазинчик у себя на дому. Как прослышал народ, что он всякий хлам будет скупать, весь город пошел к нему в дом. Оказалось, что хлама у людей больше, чем не хлама. Одних собраний сочинений Иванова (конечно, того самого) притащили восемьдесят три. Бюстов Сеченова (или похожего на него) — тридцать четыре, пожелтевших газетных подшивок с ятями — без счету, а битых, гнутых самоваров, похожих на панцири псов-рыцарей после ледового побоища, принесли столько, что они не поместились в доме, лежали вокруг курганами, и чудилось, что из-под этих гор сейчас начнет выбираться сам магистр этого самоварного ордена, а за ним и копейщики, лучники, оруженосцы.

Жена Мокроуса была вынуждена уехать с детьми к маме. А продать так ничего не вышло; в городе люди умирали от смеха, прослышав, что он собирается продавать собранный хлам. Почти утиль.

«Мужики — они что малые дети, они без цацек не могут, — размышляла Динка. — Теперь-то на дому будет эта самая хреновина, может, деньги-то в доме и останутся? А как же иначе? Ведь проигрывать станешь самому себе?..

Володька сделал ставку — на всю полусотку. Сказал:

— А чего мелочиться?

Закрутились колеса, заклацала какая-то музычка и выстроились в ряд пять вишенок.

— Что там, что? — нетерпеливо спросила Динка. — Выиграл?

— Есть немного, — побоялся спугнуть удачу Володька.

— Так бери их скорей! — не понимала она самой сути игры, в которой главным была сама игра. Не ее результат.

— Погоди! — отмахнулся Володька. — Кажись, пруха!..

Он опять запустил колеса, и выстроилось пять апельсинов.

— Пять сотен! — в голосе Володьки прозвучало удивление.

— Бери! — десятикратное умножение исходной суммы для Динки было в первую очередь сигналом к тому, что повезти может раз — другой, от силы — третий, а потом — суп с котом.

— Постой! — завелся Володька и опять нажал на кнопку автомата. Динка зажмурилась, а когда открыла глаза, то увидела, что в окошечках игровой машины выстроились пять золотых пирамидок.

— Что? — ее даже затрясло.

— Десять тысяч! — еле разомкнул губы Володька.

Динка от волнения даже промолчала. Потерла руки и как бы ощутила шершавость денег. Ей нравились новые купюры, хрустящие, аппетитные, но старые, належавшиеся в карманах, кошельках, копилках — потертые, шершавые, тертые жизнью, она, наверное, боготворила.

Их у нее никогда не было столько, чтобы боготворить. Те купюрки, которые ей доставались, мелкие, с загнутыми углами, надорванные, заклеенные, не заслуживали даже простого уважения.

А десять тысяч вполне можно любить. Взвесить на руке, аккуратно сложить — сотенка к сотенке, — перехватить аптекарской резиночкой, и положить в шкатулку, а саму шкатулку завернуть в старый кашемировый платок (почему все кашемировые платки состарились?) и положить в комод… В какой комод? Ведь его, болезного, Володька проиграл вот этому же автомату…

Ей не понравилось воспоминание, и она быстро вернулась к воображаемой пачке сотенных. Три или даже четыре таких бумажки легко можно потратить на хороший ужин… свечи, вино… Не портвейн столовый, а Мерло, а можно и по капельке бренди.

И тут Володька опять — зачем, зачем, зачем? — нажал на кнопку автомата, и снова включились колеса, завертелась безумная надежда в глазах непутевого мужа.

У Динки упало сердце, колеса еще не остановились, а она уже знала: никаких свеч ей сегодня не зажигать.

Колеса наконец перестали вертеться, и автомат заговорил на человеческом языке и по-английски пожелал удачи. Динка поняла, что удачи желают всем, кто проигрывает. Но она спросила, а вдруг:

— А вдруг?

— Пролетели мы, Динка, — скривился в улыбке Володька.

Динка подняла руки и уронила их, как будто хотела что-то взять у себя над головой, а там ничего не оказалось.

— Да, не убивайся ты! — опять попытался улыбнуться он. — Реальных-то денег мы проиграли всего ничего — полусотку.

Он достал из кармана потрепанную записную книжку — ту самую — и записал число, время и год очередного проигрыша. На всякую случку.

Динка смотрела на него, как через залитое дождем оконное стекло, он растекался, расползался по всему стеклу, и никак было не разглядеть его. Никак.

— Дина, не расстраивайся! Не бери в голову, ведь это типа шутка такая была.

— Шутка? — не поняла она.

— Ну, да, шутка. Ты что, всерьез подумала, что в казино мне подарили автомат, набитый деньгами? Он пуст, как барабан! А свою полусотку, думаю, сейчас я вытащу…

— Сволочь! — заплакала Динка. — Какие же вы все сволочи!..

— Я-то причем?

— Ты всегда не причем. С той самой ночи, когда меня изнасиловал!..

— Да, не насиловал я тебя, не насиловал, нечего тут придумывать!

— Насиловал, еще как насиловал! Паразит! Измывался!

— Достану сейчас твою полусотку, не ори! — сказал Володька и принялся отодвигать автомат от стены. По его

мнению, все секреты автомата должны находиться у него именно сзади, подальше от посторонних глаз.

Действительно, там была пропасть всяких кнопочек, лампочек, окошечек, регуляторов. Светились электронные часы, которые должны показывать и дату, и день недели, и год. Должны были, но не показывали: на табло не было ни цифирки, ни буквочки.

«Странно, — подумал Володька, — можно подумать, что мне кто-то предлагает самому выставить время? Постой, постой!.. Я могу выставить любую дату в будущем, и любую в прошлом…

Володька наобум крутанул несколько регуляторов, на табло выставилась дата — сегодняшний день, автомат отозвался густым гудением, и тут же из монетоприемника выползла купюра — полусотка, которая, казалось, хранила еще тепло володькиных рук.

Он не удивился. И наконец понял, для чего вел запись своих проигрышей, да что там — всей своей жизни, которая уместилась в одной записной книжке. Значит стоит только установить на этом агрегате дату своего давнишнего проигрыша, и автомат вернет деньги? Может ли такое быть? Выходит все-таки судьба человеку заранее написана? На каком-нибудь электрическом заводе?

Не удивилась и Динка: давно пора этому электронному обдирале возвращать награбленное, хотя бы не все, а, допустим, половина на половину. Новую мебель бы взяли… Она вспомнила о комоде, погрустнела. Теперь таких не делают; утрачены секреты комодного мастерства. Такую вещь продал, сволочь! Игрочишка! Некрасов несчастный!

А Володька тем временем, а чего тянуть кота за хвост, принялся листать свою потрепанную записную книжку: ну, Динка, подставляй карманы!

Так, что у нас в самом начале? «18.06.19…» Что за дата такая, в те поры казинов в свободном разливе, кажись, не было?.. Вот болван, ведь это день рождения для чего-то записан. Для чего? Чтобы не забыть?.. Странно… Но уж если записано, пусть останется…

А это что? «21.05…рванул с урока английского, получил по фейсу, Кот — собака!» Пятый месяц — май.. Май, май…

* * *

И ему вспомнился майский солнечный денек, когда он спрятал портфель с учебниками-тетрадками в стоявшей во дворе их дома пустой ржавой бочке, и отправился гулять с барышней из параллельного класса, у которой на володькино счастью заболела учительница по математике.

Они вышли на Чагано-набережную, заросшую тополями, вязами, тальником. Все вокруг цвело и благоухало, и не было в городе лучшего места для поцелуев. Барышня из параллельного класса изо всех сил уклонялась от него, но как-то так выходило, что уклоняясь, она как раз и оказывалась в объятьях Володьки. И надо сказать целовалась она замечательно, да и кто весной целуется плохо? Он выбрал для нее самую пышную ветку сирени, и она пыталась найти на ней цветок с пятью лепестками. Известно, если цветок этот съесть, то будешь счастливым на всю жизнь.

И тут появился Кот, он был главный у чаганской шпаны. Как всегда, за ним тащились Батон и Шакал, телохранители хреновы. Троица эта верховодила в шайке босарвоты, как говорили тогда — держала мазу в этих краях, проходу от них никому не было. Они и на Бокаушина задирались, но как бы не всерьез — словечки похабные отпускали вслед, презрительно сплевывали себе под ноги при виде Володьки, но генеральной драки пока избегали — все-таки у Володьки кулаки были железные, и шпана знала об этом. Бокаушин тоже принадлежал к «чаганским», но особо дружбу с местными не водил, был сам по себе — и это злило ребят. Давным — давно повелось здесь, что мальчишки сбивались в стаи — кызылтанские, куренские, мясокомбинатские, затонские… Шайки страшно враждовали между собой, хотя повода особого не было — враждовали и все тут! Чтобы слыть самой отчаянной, самой многочисленной, самой страшной. Находиться вне стаи

было вызовом, и поэтому одиночек ненавидели больше всего.

Бокаушин давно бы набил Коту морду — просто так, чтоб тот знал, собака, кому вслед зубоскалить, — но тот один в город не выходил, а на территории чаганских стоило Коту свиснуть, как из-за каждого забора и плетня вылезли бы его кореша, и тогда только ноги уноси.

И вот Володька оказался во владениях чаганских, так неразумная барышня захотела: ах, там сирень какая густая, ах, там какой аромат! А можно было то опасное место обойти по Пролетарской, там тоже полно сирени. Но барышня заупрямилась: на Чагано-набережную, и точка!

Кот увидел его, да еще с подружкой, обрадовался, аж в ладошки заколотил. Закричал:

— Шакал, шумни-ка пацанов, а мы пока с этим шкафом потолкуем… И с чувихой его покалякаем.

— Беги! — сказал Володька негромко барышне, и той два раза повторять не пришлось — она хорошо знала местные нравы. Она сняла белые лодочки и бросилась бежать. Но, как показалось Володьке, не так проворно, как могла. Должно быть не хотела выказать свой страх.

— Держи ее! — закричал Кот, но ноги у нее все-таки были резвые, и она в пять минут оказалась у автобусной остановки на Коммунистической. И, конечно, ушла бы она благополучно, но на остановке в этот утренний час не было ни души — должно быть, как раз случилась пересменка. Ей бы пройти еще квартал — другой, но она посчитала себя в безопасности. Но напрасно. И не заметила, как из-за старого понтона, ржавеющего на берегу, вышли двое — в кепочках-восьмиклинках, руки в карманах, в уголках губ тлеющие папиросы.

Володька крикнул:

— Берегись, Настена!

Да, ее звали Настеной.

Но владельцы кепочек уже подхватили ее под руки и поднесли к самому понтону. Об этом ржавом понтоне рассказывали всякое. Кто-то уверял, что здесь воровская

малина, и милиция не раз пыталась накрыть блатных, но каждый раз заставала только чадящие керосиновые лампы — «летучие мыши», пустые бутылки из-под белого крепкого, замусоленные карты. Кто-то говорил шепотом, что понтон прикрывает вход в секретную лабораторию, где проводят опыты по созданию искусственного хлеба, причем из такого сырья, о котором даже вслух говорить противно. Но большинство даже слушать об этом понтоне не хотели — бомжатник, чего об нем слушать? Давно пора его в утиль утащить.

Тем временем шпана окружила и Володьку; на подмогу к Коту примчались с десяток чаганских урлаганов.

— Володя! — жалобно закричала барышня. Он кинулся к ней, но рухнул, налетев на подставленную ногу. И тут на него навалились. Он извернулся, сумел подняться, даже попал кулаком кому-то в челюсть, но силы были не равны, урлаганы повисли на нем, как обезьяны, прижали его к ржавому борту понтона.

— Падлы! — рычал Володька. — Попадетесь по одному!..

Кот ударил его под дых, хохотнул:

— Пока попался ты!.. И с чего ты решил, что уйдешь отсюда живой? Затащим в понтон и порежем на шнурки… Ребя, открывай люк!

— А чувиха твоя с нами останется, на хор ее поставим… Мы девушек любим, — добавил, сладко улыбаясь, Шакал. — Скажи, Батон?..

— Само собой, — ответил Батон и принялся шарить на груди барышни из параллельного класса. Та вскрикнула и стала вырываться. Тонкая ткань ее кофточки затрещала, посыпались к ногам пуговицы.

Кот оттолкнул Батона: «Я же сказал, с девушкой руки не распускать!..»

— А что, она недотрога? Да? — захохотал Батон.

— Я же сказал: убери лапы! — рассвирепел Кот.

Батон нехотя отпустил Настену, набросился на Володьку:

— А ты чего глазками сверкаешь, фраер тряпочный? Ишь, какую девку выгуливаешь… Но сегодня ты последним будешь, — сказал он. — Предупреди ребят, чтобы за тобой не занимали.

И он расплылся в улыбке, как параша.

— Ну погоди, сучара! — опять рванулся к нему Володька. Шпана держала его крепко.

— Не дергайся, — сказал Кот. — Девочка, конечно, хорошая, жалко ее, но сидеть за нее никакой охоты нет. Как думаешь, Вова?

— Отпусти ее! — предложил Володька. — У меня деньги есть…

— Откупиться хочешь, да? — вкрадчиво спросил Кот. — И во сколько же ты ее оцениваешь?

— Десятка есть у меня…

Кот захохотал:

— Слышишь, подруга, за тебя десятку предлагают. Литр без закуски! Щедрый у тебя кавалер. Где ты такого нашла, Устя?..

— Нет у меня больше! Подонки! — сказал Бокаушин, а подумал другое: откуда Кот знает, что ее так иногда зовут дома — бабушка, отец?

— Володя, прекрати этот торг! — закричала Настена.

— Я видел, как он на новеньком велосипеде гонял, — сказал Шакал. — Вот пусть пригонит велик, а мы полчасика подождем с девушкой… Пригонит — отпустим чувиху…

— А что, правильно! — согласился Кот и ухмыльнулся. — Давай велосипед! Чтоб через полчаса был здесь!..

Он резко оттолкнул Володьку, добавил:

— К мусорам, наверное, не пойдешь…

Он потянулся, произнес мечтательно:

— Давно на велике не катался!.. Иди, не тяни время… А то хуже будет.

Настена крикнула:

— Не ходи никуда! Не вздумай!..

— Поторопись! — угрожающе сказал Шакал. — Скоро стемнеет… Не мы, так комары у девчонки всю кровь выпьют. Не жидись, фраерок, велосипеды — дело наживное.

Настена всхлипнула, бросила себе под ноги свои белые лодочки, закрыла лицо руками, и так стояла у кромки воды:

— Дураки! Настоящие дураки…

— Чего топчешься, кавалер, — сказал Батон, — иди, пока ветер без сучков. Девушка ждет!..

— Не ходи… — уверенности в ней становилось все меньше.

И Володька пошел.

— Ничего они с ней не сделают! — уговаривал он себя, шагая к остановке. — Кишка у чаганских тонка…

На самом деле, пока таких дел за ними не водилось. Ну, там киоск подломить, утащить пять плиток шоколада, да водки пару литров, угнать мопед — это бывало, но чтобы брать девчонок в заложницы — такого не случалось.

— Сопли еще не обсохли у них! — говорил сам себе Володька, но прибавлял шагу, потому, что все тревожнее становилось у него на душе.

«Сейчас к Витьке подамся, — размышлял он, — ребят знакомых соберем… Настучим по сопливым мордасам!» Но он уже понимал, что придется отдать шпане велосипед. Все прошлое лето вкалывал он на асфальтовом заводе, чтобы заработать на этот велогон — «Турист» — гоночный, с никелированными ободами. Так мечтал он об этом маштаке!.. Фиг им, а не велосипед!

Но он представил Настену в окружении шпаны, и прибавил ходу.

Но, конечно же, сработал закон подлости — Витьку вызвали на работу, какая-то там авария. Володька бросился к ребятам из офицерских бараков, но почти все с утра подались на рыбалку. Но самое главное — на его «Туристе» угнал в Дарьинск Федул-губы-надул, двоюродный брательник. Володька разрешал ему брать велосипед раз в неделю; жена брательника подалась перед родами к матери в село, и Федул мотался туда почти каждый день — то на попутке, то на автобусе, то брал велосипед.

На секунду Володька даже испытал нечто, похожее на удовлетворение: ну, вот, велосипед останется у него! Но

тут же вспомнил о барышне, что будет с ней? Ничего хорошего…

С барышней из параллельного класса он закрутил махабат (по-казахски «любовь») в отместку Динке, которая заглядывалась на очкастого чурбана с гитарой. Барышня была длинноногa, носила мини, а ко всему прочему была еще и умна, знала кто такой Эжен Ионеску и не делала ошибок в слове экзистенциализм. Первый день Володьке было с ней интересно, на второй день он даже гордился ею, когда она на чистом английском языке подпевала чурбану «иелоу субмарин…», на третий он готов был ее задушить, когда она стала рассказывать, сколько вилок у них дома подают к обеду. Он бы не стал тратить на нее время, но пацаны, все как один, завидовали ему; на танцах ее приглашали наперебой, но, когда объявляли «белый танец» она звала только Володьку. «Какая девчонка за тобой, дуралеем, бегает!», — говорила ему мать, но он днем и ночью думал о Динке, ну, почему он думал о ней?

А Динка тогда вела себя так, как будто Володьки вообще рядом не было. Если брала сигарету, то тянулась с ней к зажигалке чурбана, даже если Володька был ближе, в автобусе она всегда садилась рядом с очкариком, в кино она тоже всегда оказывалась подле этого горе-барда. Время от времени он сочинял песни — про байдарки, горы и нежных девушек, так она первая подхватывала песню, даже если она была никакущая, эта песня, и разносила ее по всему городу, как грипп; что-нибудь типа «Идем на рассвет, придем на закат…»

Володька говорил, что таких песен может написать за вечер дюжину, но Динка в ответ напевала: «Костер догорает, как жизнь догорит…»

Вот почему Володька с барышней из параллельного класса в отчаянье стал бродить по малолюдным улочкам: Чагано-набережной, Вальково-набережной, Буянной и Яикской — от неразделенной любви, от бурлящей весенней крови.

Но любовь любовью, но нужно было выручать Настену. Но как? Он забежал к тете Напие, она нередко ссужала дворовых ребят пятеркой, трешницей, а когда денег не было — поила чаем. В этот раз был именно такой случай, тетя Напия стала потчевать его чаем.

— Спасибо! — сказал Володька. — Мне некогда.

Больше идти было некуда. Оставалась призрачная надежда на копилку, глиняного кота со щербатым носом, в которую время от времени Володькина мать бросала мелочь, каждый раз удивляясь, что копилка не тяжелеет. Как она будет тяжелеть, если Володька давно уже научился с помощью стальной линейки добывать из кота полтинники, двугривенные, а когда повезет, то и рубли?

Он взвесил на руке глиняного зверя: вообще-то, увесистый кот. Орудовать линейкой было некогда, поэтому он расстелил на столе газету и одним ударом молотка разбил копилку вдребезги. Жалко животное, хоть оно и глиняное.

Он собрал деньги, меньше десятки, с такими деньгами вряд ли выкупишь барышню. Он посмотрел на часы: время, отпущенное шпаной истекало, вот уже истекло.

«Да, ничего они ей не сделают!» — уговаривал он самого себя, для чего-то перелистывая учебник по тригонометрии; когда-то между шестнадцатой и семнадцатой страницами он ныкал деньги на велосипед — лучшей копилки в доме не найдешь: тригонометрию ненавидела вся володькина семья. Но сейчас там ничего не было, кроме катангенсов, синусов, косинусов — всей ненужной для жизни чепухи.

Он для чего-то взял и учебник по литературе, в нем жили Пушкин, Лермонтов, Тургенев, Толстой и немного Леся Украинка и Якуб Колос. Денег там не было никогда, и он, конечно же, знал это.

— Сволочная шпана! — бормотал он. — Козлы вонючие!.. Пусть хоть пальцем тронут Настену! Тогда узнают!..

И уже пора ему было идти на Чагано-набережную — бежать, мчаться, лететь на помощь барышне, а по-доброму — так и уходить никуда не надо было, а драться-корябаться из последних сил — хоть до крови, хоть до смер-

ти! А он ушел, просто удрал, уговорил себя, что принесет сюда какой-то выкуп… Нужен шпане выкуп, как зайцу пятая нога!..

Он бросил учебник с писателями, чуть не поголовно бородатыми, и бросился к Чагано-набережной. Пока бежал до понтона, все еще доказывал себе, что Настене блатные недоросли не посмеют сделать ничего плохого. Напугают, конечно, что тоже не очень хорошо, но во всем остальном… во всем остальном…

Ни в понтоне, ни рядом никого не было. Только валялась у самой воды ветка сирени.

— Настена! — крикнул он. — Ты здесь?..

В ответ что-то плеснулось в воде, должно быть, карась.

— Настена…

И тут ему стало страшно. Что случилось с барышней, где она?.. Куда бежать, у кого спрашивать? В милицию? А, может, Настена давно сидит дома и учит английский: a table, a girl, a boy?.. И о чем он поведает в милиции? Что оставил девушку на милость шпаны, а сам пошел с копилкой разбираться? А, может, сперва пойти домой к барышне?.. Он представил, какая буча поднимется, если она еще не вернулась домой… А она, вполне возможно, сидит с подругой в кино…

А, может, ничего и делать не нужно, все само собой утрясется?.. Ведь он, Володька, в общем, ни в чем не виноват. Что он мог сделать один против целой кодлы?

Он обошел всю Чагано-набережную, улицу не короткую, — в надежде встретить опять Кота и его воинство, но улица была пуста. В отчаянье он попытался было расспрашивать редких прохожих: не видели красивую девушку в светлом таком платье, в туфельках-лодочках?

Прохожие шарахались от него, брали маленьких детей на руки, крепче сжимали в руках сумки.

— Не видели в светлом поплине?..

— Такую красивую…

Время шло, минуты ощутимо бились в часах, как будто просились наружу.

Дело шло к вечеру, когда его окликнула учительница по истории — историчка. Надежда Павловна.

— Ты, наверное, Настену ищешь? — участливо спросила она.

Сердце Володьки оторвалось и полетело куда-то вниз. Ниже низа.

— Она по Почиталинской пошла, минут пять назад я видела ее… — до Володьки не сразу дошел смысл сказанного.

— По Почиталинской? — переспросил он.

— Да, по ней самой. Наверное, в библиотеку пошла, экзамены на носу. Тебе тоже не помешало бы освежить французскую революцию… Ты ведь кажется схлопотал пару за восемнадцатое брюмера?

— Схлопотал, — сказал Володька, — но я освежу…

И он поплелся в библиотеку. Настены там не было. У ее подружки — Лельки — ее тоже не было. Сама подружка стирала и была зла на весь свет, а больше всего на Настену.

— Откуда я знаю, где ее носит? — закричала она. — Если бы ты не приперся, то и про тебя бы ничего не знала…

В общем, нехороший денек сложился у Володьки. Надо было не оставлять ее со шпаной, а он оставил, надо было пойти к ней домой, но он не пошел, испугавшись родителей, разговоров, разборок… В общем, завалился спать, укрылся с головой душным шерстяным одеялом, зажмурил глаза, но так и не уснул до самого утра.

Настена утром в школу не пришла.

«Бывает, она на первый урок опаздывает, — уныло надеялся Володька. — Сейчас, небось, кофе пьет, а я всю ночь глаз не сомкнул…»

Историчка вызвала его к доске, вежливо (ведь уверена была в том, что он ничего не учил, ничего не освежал, значит «валила» его прицельно) предложила ему поделиться своими знаниями о Великой французской революции, в частности о первом консуле республики.

— Наполеон вообще-то был корсиканец, — сообщил Володька.

— Это как-то повлияло на ход революции? — спросила Надежда Павловна. — Ты думаешь, что пресловутая шестая графа грозила немедленной реставрацией?

— Ничего я не думаю, — пробурчал он.

— Трудно тебе придется на экзаменах, — пообещала она ему. — Садись, двойка…

На первой же перемене он отправился в параллельный класс.

— Настена не приходила? — спросил он у Лельки, подружки. Та улыбнулась таинственно. Все знает, но все не расскажет, как истинно посвященная. Дура!

— Похоже, ты ее еще вчера потерял? — сказала она. — От ворот поворот получил, наконец?

— Ты ее видела сегодня? — спросил он, пропустив мимо ушей ее колкость.

— И вчера видела. Мы с мальчишками из пятой школы в «Зарю» ходили, «Анжелику и король» смотрели…

«Врет, дудорга», — понял он. «Заря» второй месяц была на ремонте. А Лелька не могла остановиться:

— Вот какие бывают мужчины, как в этом кино…

— Ну, да, — не стал спорить с ней Володька. — В завитых париках, напомаженные…

— Зато культурные… Дарят своим возлюбленным бриллианты и сапфиры…замки и дворцы… А про тебя Настена даже слышать не хочет, насолил ты ей, видать, мощняцки, — Володька понял, что дудорга ни в какие подробности не посвящена, и у него отлегло от сердца.

«Ну, гаденыш, Кот, встретимся еще на узкой дорожке!» — пообещал он неопределенно.

— А чего она в школу не пришла? — все-таки спросил он.

— Говорит, горло прибаливает, вчера мальчишки нас мороженым от души угощали…В кафе «Звездочка» сидели, пару бутылок «Варны» выпили!..

— Не спейтесь! — почти совсем успокоился Володька. — И с мороженым осторожнее, не получите катар верхних дыхательных путей… А, может быть, и души отморозите, коли мороженное у мальчишек «от души»…

— Ревнуешь! Ревнуешь! Ревнуешь! — протрещала Лелька и ушла в свой параллельный класс учить химию.

Назавтра Настена опять не пришла в школу. В этот день как раз была контрольная по физике, а потом всем классом переписывали вопросы для экзамена по английскому языку. Кто этот язык придумал: инфинитивы, транскрипции, совершенные времена?.. Разве не все времена совершенные, даже будущие? Будущие особенно? С английским у Володьки был полный завал…

Короче, только на четвертый день, нет, даже на пятый, пошел он к Настене, долго решался перед дверью: нажать на кнопку звонка или придти завтра, или послезавтра, или навсегда забыть свой позор? Наконец, он справился с нерешительностью, но звонок за дверью еле проблеял.

Дверь распахнулась и бабушка Настены встала на пороге.

— Ты звонишь, как интеллигент из тридцать седьмого года, — сказала она. — Я кое-как расслышала…Что ж, ты вчера-позавчера не заходил, к экзаменам что ль готовишься? Слышала, что ты на золотую медаль идешь?..

Это она так шутила, зная, что Володька в школе не самый главный отличник. «Если люди шутят, то у них все в порядке», — подумал Бокаушин, и спросил:

— Настена поправилась? После мороженого?..

Бабушка изумилась.

— Вчера, слава Богу, была здорова. А сегодня я ее не видела, так же, как и ты, Вова. Настена вчера уехала с родителями в Тамбов, и как я их не отговаривала — накануне выпускных экзаменов не пускаться в такую даль — меня не послушали…

— А когда они возвращаются? — ошалело спросил он, хотя все уже понял. — Когда назад?..

— Они на ПМЖ уехали, слышал такую аббревиатуру? На постоянное место жительства!.. Они давно собирались, а тут как из пушки их выстрелили… Мне не все говорят, да мне все знать и не надо, к чему?.. А обживутся чуток, и я к ним поеду… А ты заходи, Вова. Адресок тебе дам, когда пришлют…

Нет, Бокаушин не огорчился. Ну, если только самую малость. Может быть, он расстроился бы больше: ну, как же так, уехала, и не слова не обронила, вроде как презрением облила, но тут столько всего навалилось! И выпускные экзамены, и выпускной вечер, и тот памятный поход к Садовскому озеру, где у них с Динкой все завертелось. Так что, некогда было особенно расстраиваться, и он все забыл. Ну, начисто все! Года три спустя, он получил от Настены открытку, в которой она поздравляла его с днем рождения, так, к своему стыду, не сразу вспомнил, кто такая эта Настена. Тем более, что на открытке она написала всего одно слово: «Поздравляю». И подпись. Конечно же, он быстро вспомнил, подумал: «Что же тогда на понтоне случилось? Почему шпана отпустила ее?..»

В игральном аппарате что-то потрескивало, время от времени щелкало и даже булькало, а потом что-то начинало тяжело вздыхать. Может быть, однорукий бандит предчувствовал, что придется расставаться с денежками, или горевал оттого, что уже расстался с ними?

Володька заглянул в свою книжку и набрал на табло дату, когда он впервые продул аппарату весь аванс, а Динке сказал, что у него бабки в автобусе вытащили. Автомат затрещал и выбросил из себя тоненькую пачку денег.

Володька даже не удивился, поднял с полу купюры, протянул жене:

— С меня должок получи!..

В ту же секунды что-то неуловимое произошло в комнате — не то молния сверкнула, не то сосед взялся за свой перфоратор, не то произошло землетрясение, единственное за всю историю степного города — Володька с Динкой зажмурились, а когда открыли глаза, то старинный комод стоял рядом с однооруким бандитом.

— Не может быть! — прошептала Динка.

Володька ей возразил:

— Все может быть. На дивной земле живем…Этот аппарат не просто деньги возвращает, он переносит нас в тот день, когда я их проиграл. Уж не знаю, как у него это

получается, может столько он зла натворил, что не выдержала его кремневая совесть, и он обрел способность перебрасывать нас в тот день и тот час, когда наши деньги на самом деле были еще в автомате, и их пока не выгребли жадные руки хозяев казино.

Володька нашел в книжке очередную дату, и опять автомат вернул деньги. Вместе с деньгами вернулись в квартиру телевизор и магнитофон, а потом любимая подольская швейная машинка, а потом ковер, как уверяли — настоящий туркменский, но Володька всегда подозревал, что подделка.

Динка собирала деньги, сваливала в угол ценные вещи: ну, теперь заживем! Оказывается, бывает и от казинов польза. Лаве хранилось, как на сберкнижке. Жалко, конечно, что инфляция солидный кусок за эти годы откусила, но не бывает в жизни совсем уж без дерьма.

И вдруг, как бы помимо воли Володьки, руки его стали набирать на табло часов игрального аппарата почти забытую дату — сиреневый месяц май, берег речки по имени Чаган, старый заржавевший понтон. Разве в тот год он что-то проигрывал? Тогда никто слыхом не слыхивал о электрических бандитах. Или все-таки он и тогда умудрился проиграть

— Что это за число? — спросила Динка, он только махнул рукой, буркнул:

— В этот раз должно повезти больше…

И опять вспыхнула молния, или тряхнула подземная стихия. Они непроизвольно зажмурились, а когда Володька открыл глаза, то Настена ему сказала:

— Наверное, дождь будет…Молнии так и полыхают…

Он посмотрел наверх: там не было ни тучки, ни облачка.

* * *

— Пойдем по Пролетарской, — сказал Володька барышне из параллельного класса. — Там сирени даже больше, чем на Чагано-набережной.

— Конечно, по Пролетарской. Я вообще не люблю гулять на набережной, — сказала она, — там столько хулиганья!

Володька презрительно хмыкнул:

— Видел я эту шпану!..

А про себя подумал: хорошо, что свернули на Пролетарскую, с чаганскими лучше не связываться.

Он обнял Настену, но та вывернулась, и все-таки непостижимым образом ее губы оказались у губ Бокаушина.

— Говорят, что ты за Динкой ухлестываешь? — спросила она.

— Еще чего! — сказал он высокомерно. — Может, она за мной?

Он знал, что Динка не часто в его сторону смотрит, и настроение у него упало. Он сказал почти грубо:

— Мне говорили, что ты в прошлом году тоже с одним ходила?..

— Не с двумя же! — рассмеялась она.

— С кем? — заревновал Володька. — В прошлом году он мимо ушей пропустил, когда кто-то рассказывал, что она гуляет с парнем из вечерней школы — тогда ему это не интересно было, а сейчас почему-то задело.

— Да, это он за мной бегал, — сказала Настена, — но я сразу ему сказала, чтобы он зря время не тратил…

— Кто он? — у Володьки даже голос сел. — Что, секрет?..

— Зачем тебе знать, если у нас ничего-ничего не было?

Он надулся. Она поцеловала его в щеку, потом в губы. Обняла его, прошептала:

— Ты лучше всех!..

Пролетарская улица, действительно так заросла сиренью, что походила на сад. Да и весь город, кажется, утонул в этом цветении, аромат сирени проникал повсюду и кружил головы. Интересное растение: чем больше ломаешь с него веток, тем пуще оно разрастается; и в этих зарослях всегда прячутся лавочки, которые на самом деле должный

стоять на автобусных остановках, но почему-то стояли в кустах, почему?

Володька взял Настену за руку и потянул на одну из лавочек. Она не стала сопротивляться, пошла за ним, но в эту минуту ее окликнули:

— Устя!

Окликнул ее Кот, вожак чаганской шпаны, который шел вразвалочку посередине улицы вместе с двумя урлаганами — Батоном и Шакалом.

«Откуда он знает ее домашнее имя?» — подумал Володька, сжимая кулаки: судя по всему предстояла драка. Трое на одного. Наверняка подойдет еще и подкрепление. Блатные всегда берут числом.

И еще Бокаушин подумал: по какой улице — Чаганонабережной, Пролетарской или самому проспекту Сталина — ни пойди, обязательно нарвешься на драку.

— Устя, что же ты забыла наши края! — сказал Кот. — Гуляешь с каким-то барбосом!..

— Ну, ты! — рассвирепел Бокаушин. — Урка недоделанный! Не буди лихо, пока оно тихо!..

Кот почти вплотную подошел к Володьке, процедил сквозь зубы:

— Ты под кого клинья подбиваешь, мурло подзаборное? Горя хочешь?

Володька оттолкнул его, тот отлетел, но тут же вернулся, как мячик от стенки, ударил Бокаушина в скулу. Не очень силен был Кот, но увертлив, подвижен, закален в уличных драках — опыта в этой науке у него было хоть отбавляй. Он ударил еще раз, на этот раз попал в глаз, да так, что глаз тотчас же стал затекать. «Вот дуля будет!» — подумал Володька, и даже усмехнулся.

Но, конечно, было ему не до смеха, потому, что шпана навалилась на него не шуточно. Как и предполагал Бокаушин, ряды чаганских еще умножились. Уж куда-куда, а на драку местные собирались быстро.

Володька отмахивался недолго: заехал Коту в ухо, да так, что тот заохал, разбил нос долговязому блатному, со странной кликухой — Прозрачный, но в конце концов ча-

ганские навалились на него, скрутили, и как он не отбивался, затолкнули его в полузатопленный понтон, что сто лет стоял на Чагано-набережной.

В понтоне гуляло многократное ржавое металлическое эхо и каждое слово и усиливалось, и повторялось, да так, что в ушах гудело.

— Ну, я тебя одного поймаю! — грозил Володька Коту.

— Ага, поймаешь! — усмехался блатной. — Я ждать буду, глаз ночами не смыкать…

— Погоди, тварь! — не унимался Володька. Наверное, жалко выглядел он: с огромным синяком под глазом, с разбитыми губами, растрепанный, в разодранной рубахе.

— Тоже мне, ловила! — сказал Батон. — Это мы тебя поймали, сучонок! Подрежем тебя, как свинью!..

— Ну, хватит уже! — подала голос Настена, которая не испугалась, не убежала, а пыталась вырвать Бокаушина из рук шпаны. — Что вам такого сделал Володя?

— Если он чего-нибудь сделал, то тогда точно порежем! — сказал Кот. — Так, вот скажи, чего он за тобой таскается?..

— Не у тебя ли разрешения спрашивать? — крикнул Володька.

— Именно у меня! — ответил Кот. — А я — не разрешаю…

— Да, кто ты такой? Хозяин дорог, машин, человеков? — насмешливо сказала Настена.

И тут, как будто это не было понятно с самого начала, до Володьки дошло: Кот — это и есть тот самый парень из вечерней школы с которым в прошлом году гуляла Настена.

Его обожгло ревностью. Ну пусть бы это был какой-нибудь гитарист ушастый, на которого Динка заглядывается, пусть был бы Борька Шкодин, с которым Володька в восьмом классе выходил «один на один — до первой крови» и они дрались на бывшем Столыпинском бульваре… Кто тогда победил? Кажется, они успели только по разу ударить друг друга, и сразу расквасили носы… Пусть бы это был даже лопоухий Пашин, радиолюбитель, прозванный Детектором, опутавший все крыши квартала антеннами — кто угодно, но только не этот хорек!

Кот презрительно посмотрел на Володьку, сказал весомо:

— Получил по заслугам кавалер! Смотри, следующий раз будешь знать, с кем гулять. А теперь вали отсюда, вытирай сопли… Устя, как ты думаешь, хватит ему на сегодня?..

— Какая же ты сволочь! — сказала Настена. — Десять на одного…

— Да, вот такое я дерьмо! — вдруг сорвался Кот. — Но я у него девчонку не отбивал, и не хожу с ней теперь по всему городу… назло, да?.. И ты хороша, сегодня с одним целуешься, завтра с другим…Мне мозги компостировала полгода, а другой поманил пальцем — и ты бросилась к нему!..

— Володя, он врет все, не слушай его! Не было у нас ничего… — обернулась Настена к Бокаушину.

Кот злорадно захохотал. Отсмеявшись, сказал негромко:

— Иди, иди, Володенька! Свободен. А мы потом проводим Устю, не беспокойся!..

И опять ревность застила Бокаушину глаза. Он сказал Настене:

— Почему ты мне не сказала? Почему?..

— О чем говорить? — почти закричала она. — Ничего не было…Но даже если и было, то в прошлом году, и тебя это не касается…

Эх, зачем она произнесла эти последние слова? Володька услышал только их. Так, значит, его не касается? Вот, она какая эта Настена-Устинья-Устя! А ведь ему кто-то говорил, что она непостоянная — капризная и неверная.

И так обидно стало Володьке, так горько, а почему — он и сам не понимал.

— Понял, нет? — продолжил Кот. — Тебя это не касается, дергай отсюда, пока ветер без сучков.

— Эх, Настена! — Всю возможную горечь вложил в эти два слова Володька. Потом, спустя много лет он попытается разобраться в том, что же случилось тем майским

днем, почему и днем, и ночью думая о Динке, он ревновал Настену, но объяснений так и не найдется. — Эх!..

— Знаешь что, — не выдержала она, — иди ты…иди домой… Не думала, что ты такой.

— А вот думай! — закричал он, и ржавое эхо понтона сто раз повторило: — Думай, думай, думай!..

Он оттолкнул окружавших его чаганских и выбрался из понтона, шпана вслед ему заулюлюкала. Он мгновенно осознал, что произошло нечто такое, что никогда не удастся исправить, что уже невозможно прошагать назад те пять шагов, которые отделяли его от понтона.

Вместо того, чтобы броситься назад, кулаками разбивать свой позор, может быть даже быть убитым, он прибавил шагу. Скорее, скорее!.. У автобусной остановки он обернулся и увидел, что Настена шагает вслед за ним; надежда хоть какая-то оправдаться перед ней загорелась в нем на минуту, но Настена прошла мимо, как будто его и не было тут.

— Он окликнул ее, но она не отозвалась. Подошел автобус, совершенно пустой. Володька забрался в его душное нутро, оглянулся: Настена отправилась пешком. «Подумаешь! — прошептал он ей вслед. — Подумаешь…»

Автобус так и шел без пассажиров до самой володькиной остановки, и пустота салона каким-то образом дополнила другую пустоту — в его душе, и еще долго-долго он не мог избавиться от нее.

А через три дня он узнал, что она уехала. А через несколько лет получил от нее открытку с одним всего словом — «Поздравляю!»

* * *

Бокаушин снова полистал свою записную книжку, вот еще одна запись, та самая: «:Д. недолго коб.» — и дата. Наверное, на самом деле она «недолго кобенилась». Волнуясь, а чего он волновался? — Володька стал набирать число, год, час.

— Ну что, будут еще деньги? — Динка устала вглядываться в мерцающие окошки автомата; похоже, что

этот стальной ящик сейчас примется осыпать их с Володькой денежным дождем. Все-таки судьба улыбнется им? Судьба?..

Бокаушин щелкнул включателем и свет фонарика высветил строго отмеренное палаточное пространство, плотно заселенное комарами. «Загрызут! — подумал Володька. — К утру в живых останется только тот очкарик с гитарой, потому, что от его нудных песен даже комары врассыпную. Только Динка одна прилипла к нему у костра…»

Володька ушел от них, стало тошно от этого любовного елея. Его зазвали к другому костру, протянули кружку с какой-то жидкостью — что-то горько-сладкое, приторное, липкое. Он выпил залпом и втянулся в бесконечный разговор о том, есть ли жизнь в космосе. Все сходились на том, что нет, что вся жизнь сейчас, этой комариной ночью, сосредоточена около костров их лагеря, а вокруг на миллиарды километров ледяная пустота. Даже на миллиарды миллиардов.

— Все равно, рано или поздно, будет построена такая ракета, которая сможет летать так быстро, что эти миллиарды будет преодолевать за сутки, и станут люди летать к звездам, как раньше ездили в жесткой плацкарте в Саратов — меньше, чем за сутки, — сказал кто-то.

Другой подхватил разговор; самое время гнать пургу девчонкам у костра.

— Может оказаться, что тамошние цивилизации окажутся более развиты, чем люди, даже скорее всего. Мы при первом контакте можем даже не понять, что перед нами разумные существа.

— Точно! — сказал Володька. — Они — вылитые тыквы. Или — один в один — тушканчики.

— Они кусаются,- космический разговор стал уползать от этого костра, и Володьке стало не интересно. Если честно сказать, то и про космос ему было не интересно; все уже давно поняли, что никакого космоса нет и в помине, а есть пустота, которая становится все больше и больше. И перебраться через эту пропасть никто и никогда не

сумеет. Так и будем сидеть на своем бережку, а они, несчастные, — на своем, и никогда не узнаем, жарко ли у них горел костер, удалась ли уха, а если недосол, то он на столе… И останется для нас тайной, верны ли они в любви, смелы ли в битвах, можно ли полагаться на их честное слово…

А они, живущие в других галактиках и даже газовых туманностях, думают ли они столько о нас, сколько мы о них? Таращатся ли всеми семью глазами на звездное небо или проклинают пространство и время, в которых так малолюдно, а, может, быть — мы вообще единственные, и каждому человеку на круг выходит по четыре миллиарда звезд, да еще сотен по пять черных дыр достанется, и с дюжину голубых карликов? Космос — это одиночество, космос — это когда все уже спят в палатках, а ты все про звезды, да про звезды…

— Володька!.. — позвали его из ближайшей палатки. — Ты, когда прилетишь с галактики, загляни к нам, расскажешь чего там интересного есть? Мы будем ждать…

— А на фиг туда летать? — ответил Володька. — Чего мы там забыли в вечных льдах?

— Разве не интересно посмотреть, что там делается? Ведь в космосе миллиарды миров, в самых разных измерениях!

— А чего там делаться может? Сначала попадаешь в бесконечность, а потом видишь — забор стоит бетонный, а на нем написано «Не влезай, убьет!»…

— Какой забор? Что ты несешь?

Володька ответил:

— Ну где-то должен быть у вселенной край. Вот забор этот и есть край…Надеюсь вы не верите в эту шутку про бесконечность? Иначе мы вольны предположить еще чего-нибудь вечное… Например, глупость…Космосу мы разрешаем быть бесконечным, а как же со всем остальным?..

— И где же этот забор стоит? — насмешливо спросила какая-то девчонка.

— У моих предков на даче, — сказал он серьезно.

— Дурак ты! — сказала девчонка.

— Согласен, — не стал спорить он. — Еще какой!..Но я точно знаю, что в любом измерении, на любой самой узенькой улочке — везде не миновать мне встречи с закадычными дружками — Котом и Батоном…

— Кажется, он уже заговаривается, — потеряли к нему интерес палаточные голоса, — какие-то коты у него, батоны…

«Нет, ничего не может измениться, — подумал Володька, — теперь очередь Динки…».

Он взял спальный мешок и улегся у самой воды. Слышно было, как внизу негромко плещется ночное озеро, шумит листвой неугомонившийся степной ветер. Володька запрокинул голову: вот он космос! Прямо на него неслись десятка два астероидов, бессчетно метеоров. Скатилась с небес крупная — с кулак, не меньше — звезда. Володька подумал: «Надо бы прикрыть котелки крышками, а то такого нападает из этого космоса!». Едва слышно тренькал на своей гитарке очкарик. Обвалился и рухнул в воду кусок глинистого яра; Садовское озеро, как и близкий Урал, точили яры. Словом свершалось все, что должно было свершаться, и вдруг у Володьки перехватило дыхание, слезы навернулись на глаза, как в детстве, когда плачешь потому, что грустинка на язык попала, потому, что ты счастлив и вовеки не умрешь. А теперь ему хотелось заплакать, должно быть, — от своей малости, от того, что в мире так устроено, что он, Володька, должен всегда драться со шпаной, очкарик играть на гитаре, а Динка — выбирать, одного из них, и это нельзя никогда изменить. Будильник кем-то поставлен на семь, и каждый день он звенит в один и тот же час. Перевести стрелки на этом будильнике нельзя.

В высокой траве над яром кто-то шепотом сказал:

— Да тут голову сломаешь!..

В ответ раздалось почти шипение: «Тсссс…»

Володька не сразу узнал голос очкарика, потому, что тот всегда пел, и, наверное, никто не слышал, как он говорит в жизни. Да и говорит ли он вообще? Оказывает-

ся, говорит, и очень раздраженно. Куда его несет, и кто с ним такой шипящий? Может, донки проверять пошли? Но донки стоят в другой стороне. Странно… Да и потом, кто может идти с гитаристом, еще минуту назад тренькающим на расстроенной гитаре? Динка!

— Эй, голубки! — повысил он голос, и в траве произошла какая-то возня, и кто-то шумно затопал вдоль яра.

— Стойте, зайцы, — впереди яр обвалился, как раз тропинку смыл, — сказал он. — Можете улететь вниз, мало не будет!..

Топот тут же прекратился.

— Да, я Кириллу показывала в какой стороне Маринкин яр, — сказала из темноты Динка, — он историей интересуется…

Отсвет недалекого костра очертил ее фигуру на фоне черного неба. Не сразу заметен стал очкарик, он выглядывал из-за ее плеча.

— До Маринкина яра отсюда двести километров, — сказал Володька, хотя ему самому не доводилось бывать на месте последнего обиталища самозваной царицы.

Из одной из ближайших палаток дополнили:

— Двести пятьдесят…

— Ну и что же, все равно на берегу Урала, — Динка явно обрадовалась тому, что удалось так хитро повести разговор, что никто не подумал спросить: «А чего вы в темноте бегаете? И от кого?»

— Там огромный клад зарыт… Кому-то посчастливится найти его… — разговор у затухающего костра ненадолго ожил, и лагерь стал погружаться в сон.

— Пора и нам укладываться, — сказала Динка и посмотрела на очкарика. Очкарик посмотрел на Володьку. Володька плеснул в костер остатки давно остывшего чая, костер откликнулся шипением, но не злобным. Было четыре часа утра и на Бухарской стороне уже угадывалась заря, и костер знал, что его время не рассвет, а ночь. Он свое еще возьмет.

Очкарик явно страдал и не знал, что ему делать. Динка заметила его нерешительность, сказала:

— Тащи свой спальник вот в эту палатку, да и рюкзак не бросай — утром может дождь грянуть. Зальет все твои вещи. Понял?

Очкарик понял, он был парень умный, не даром таскал в рюкзаке целую библиотеку — и стихи всякие, и умную прозу — Иванова, Бунегина, Денежкина, а любимая очкарикова книженция была про солдата Чонкина: днем когда все ловили рыбу, он сидел на берегу с этим Чонкиным, и много смеялся. Если кто-нибудь спрашивал у него, дескать, чего в книжке такого смешного, если он предпочел книжку рыбалке? Он охотно отвечал:

— Сильную вещь написал писатель, исключительно правдивую и жизненную, когда комическое и трагическое органично дополняют друг друга. Книжка эта всегда со мной — в рюкзаке…

— Какой придурок!..- пробормотал Володька. — Какой я придурок!..

Он дождался, когда любитель Чонкина забрался в динкину палатку, когда сама Динка, буркнув что-то похожее на «спокночь», старательно отводя глаза», тоже залезла в палатку, и только потом он собрал свой спальный мешок, взвалил на плечи рюкзак, не тяжелый совсем, еще раз подошел к костру — последние мерцающие угольки темнели на глазах; нет, не наделает бед этот едва тлеющий огонь. И только потом он пошел в сторону Урала — там была проселочная дорога. Он не торопился, рассвет только угадывался.

Динка все-таки окликнула его:

— Уходишь? Зачем? Кому и что хочешь доказать?..— спросила она почти равнодушно. — Впрочем, тут до города рукой подать…Пока.

— Пока, — сказал он.

— Смотри, не заблудись! — пожелала она ему

— И ты не заплутайся…

— Что ж, прощай! — последние слова она произнесла с непонятной ей самой горечью. Но он уже не расслышал.

* * *

Автомат поднатужился, и родил еще пачку денег. Впрочем, довольно жидкую. Не пачку — пачечку.

— Это за наши слезы! — не удержалась Динка, складывая потертые купюры в свою видавшие виды сумочку.

— А ты, видать, проиграл раза в три больше, чем мне сказал, да? — сказала она Кириллу. Помолчала с минуту, и добавила:

— А тебя, сколько живем мы с тобой, мне почему-то хочется называть Анатолием, не знаешь — почему?

— Вот ведь и Володька у меня несколько раз спрашивал: почему мои родители не назвали меня Анатолием? Ему, видите ли, кажется, что я ярко выраженный Анатолий… А что, анатолии какие-то особенные?

— Успокойся! — прервала она его ономастические разглагольствования. — Тебя, во всяком случае, особенным называть не станут. Зануда…Игрочишка копеечный…

А ведь Володька был когда-то в меня влюблен…Впрочем, какой он теперь Володька — Владимир Иванович Бокаушин; к нему через охрану не пробиться!..

Она вздохнула, что было, то прошло. А Кирилл — Анатолий все пытался выудить из автомата деньги. Но больше в нем не было ничего.

Астана, 2013

ЗА ПОДКЛАДКОЙ

Случайно, на ноже карманном,
Найди пылинку дальних стран…
А. Блок

Ночью в мире опять что-то случилось, и под самое утро, часов в пять, с гвоздя, вбитого в стену еще до миллениума, свалился пиджак. Не должен был свалиться, а свалился. Как известно, сами по себе пиджаки не падают. Определенно что-то произошло. Вот бывает, что опрокинешь чашку с кофе на скатерть времен бабушки Гугнихи, посадишь безобразную кофейную кляксу на старинный мадеполам, а уж навстречу кричат с готовностью: мы давно выбросить эту тряпку хотели, очень давно хотели, да руки не поднимались, а сейчас как раз случай такой выпал, ура-ура-ура! И тут же на ваших глазах скатерть ту — в грязный мешок и в мусорный бак — на верную смерть в зубьях мусороперемалывательной машины. А, может, скатерть та своей мадеполамовой броней защищала нас от потустороннего электричества, фокусировала на себя его подземные лучи — и вот теперь уже нет защиты… Или на скатерти этой девочка Лизавета невидимыми чернилами начертала когда-то послание всем идущим по ее пятам в заветное царство-государство на белой воде, и никто теперь не узнает прямого и короткого пути в Беловодье…

А бывает, что, прикуривая утром, сжигаешь в пламени спички три галактики… Их, конечно, много, все не спалишь, но как же быть с надеждами на счастье, как же быть с высокими духовными устремлениями, которыми были битком набиты эти несчастные галактики? Еще тот вопрос…

Так что, ничего случайного не бывает.

Перед самым рассветом Теме приснилось что-то очень хорошее, он давно хотел увидеть хорошее, но никак не выходило. И вот, наконец, вышло. Но не запомнилось. Он открыл глаза и долго вспоминал — что же это та-

кое было, что? Ясно, что хорошее, а что именно — из памяти не выплывало. Память берегла хорошее, самой мало было.

Он опять уснул, и тотчас ему приснился потоп. Жуткий, ревущий вал… Волна огромная, как дом Карева в Уральске, перла по Уралу — и почему-то против течения. Этот гигантский вал с корнями вырывал деревья, швырял на берег прогулочные пароходы, разбивал вдребезги дома…Мелькнул какой-то обелиск в лесу, на сером бетоне которого было написано углем: «Дурак, буду ждать тебя…» — и тотчас обелиск скрылся под водой, на гребне черной волны с минуту или больше балансировала огромная стометровая ржавая баржа, и, наконец, сорвалась вниз, в бездну… Жуткая реальность сна заставила Тему проснуться. Было уже светло.

Поднявшись, он обнаружил, что перетерлась сатиновая петелька, пришитая изнутри к вороту пиджака, поэтому он и упал. Каждой ткани — свое время. А сатин — материя непрочная. Поэтому пиджак и свалился. Рано или поздно это должно было произойти. И вот произошло. А висел себе пиджак не год, не два, давно вместо него Тема надевал замшевую куртку, цеховой наряд. Но упал — и пришла его очередь.

Фаня сказала:

— Оставь, я сейчас пришью вешалку…

Но он заторопился, ему некогда было ждать, когда новая сатиновая полоска займет свое место на вороте пиджака. Изнутри ворота.

Он поднял пиджак — тонкий вельвет, рукава обшиты коричневой кожей — неизносимая, практичная вещь, напрасно забытая. Сколько хочешь, упирайся локтями в письменный стол, елозь на нем пузом, как солдат под обстрелом, — пиджак этот выстоит, отобьется. А вот сатиновая петелька подвела.

Он надел пиджак, и в то же мгновенье нащупал под подкладкой плотный прямоугольник, может быть, фотографию.

— Вот это фокус! — произнес он, но тут же почему-то понял, что показывать Фане то, что может обнаружиться под подкладкой пиджака, пока не стоит. Мало ли что может там найтись. Все, что угодно.

— Что? — откликнулась жена.

— Да ничего, шнурок на ботинке затянулся, — нашелся он, — уже все в порядке.

— Беда с этими шнурками, — согласилась она. — Качество никуда не годное, то рвутся, то затягиваются насмерть…

— Насмерть? — переспросил он, но она не ответила, налаживая к работе швейную машинку.

— Как солдаты? — спросил он еще.

— Что солдаты? — не поняла Фаня. — Демобилизация?..

— Насмерть, как солдаты?..

— Какие такие солдаты? — потеряла она терпение. — Что ты к ним привязался?.. Войны нет, время мирное, а ты про солдат талдычишь!.. Тема ты и есть Тема…

— Но все-таки могут они стоять насмерть, хотя бы чисто теоретически, или это только качество шнурков? — решился он выяснять до конца.

— Могут, могут! — закричала она. — Они такие же кретины, как и ты, они держатся до последнего. Другие бы отступили, совершили обходной маневр, подтянули бы резервы, попросили поддержку артиллерии, а эти с места не тронутся, пока их не передушат всех до одного… Потому, что они долбоюноши! Бронеподростки! Кретины, как на подбор. А ты у них во главе!..

В общем-то, она ругалась беззлобно, почти не обидно, но как-то однообразно. Все время выходило, что Тема — кретин. Не дурак, не болван, а именно кретин. Но какой же он кретин, если является членом союза писателей, книжек сочинил едва не дюжину, награжден дипломом краевого конкурса прозаиков?..

Прежде она его так не ругала, впервые это случилось лет пять назад, когда он перепутал годовщину их свадь-

бы с днем рождения своего приятеля — Шурика; она ждала его, натянув на себя — умудрилась же — свое свадебное платьице, а со свадьбы лет пролетело около двадцати, нет больше — двадцать три, или двадцать четыре. И как только это платье полезло на нее, или она и тогда была такая? Большая?.. В общем, она ждала его тем вечером, а он в это время поздравлял Шурика, который сильно удивлялся, уверяя, что рожден в другой день, но выпить не отказывался.

Потом Тема все-таки вспомнил, какой это знаменательный день, извинился перед ней и она сказала, что простила, но ругать кретином не перестала. Он, конечно, подозревал, что у нее кто-то есть, точно есть, но, как говорится, не пойман — не вор, а если честно — он и не хотел, чтобы этот кто-то был пойман; кому нужна эта головная боль?.. Юные годы прошли давно, а с ними и все эти любови-разлюбови, страдания-переживания…

Наконец, Фаня включила швейную машинку; она брала работу на фабрике надомного труда — «подрубала» простыни, наволочки, пододеяльники. Выходило не густо, но на хлеб хватало. Он всегда удивлялся: как много она успевала сделать, пока он утром ходил в магазин. Когда он дома закрывал за собой дверь, Фаня только бралась за первую простынь, а когда он возвращался — вокруг Фани были горы белья. Она пожимала плечами:

— Ты бы сутки болтался, так я бы весь город обшила…

Он смотрел на часы: кажется, быстро управился. Не угодишь ей…

В магазине был отдел с разноцветными лакированными коробками с порошками, которые приторно пахли тайгой, степью, сиреневой весной. Стиральные порошки, мыло, дезодоранты, шарики от пота — все это дарило обонянию настоящий праздник. Иногда он подолгу задерживался в отделе.

Не забывал он покупать кефир и хлеб. Эта ответственность давно лежала на нем. Иногда он покупал и соленые огурцы, картошку. Были там и свежие огурцы, но соленые были дешевле. Раза в два дешевле. Даже в три.

Но если честно сказать, не только хлеб и огурцы занимали его; он изо дня в день после магазина уходил в ежедневный поход в поисках случая, которого не хватало в его рассказе, который он сочинял уже почти тридцать лет. Прежде он написал много рассказов, и они уютно разместились в книгах, которые он дарил знакомым и не очень знакомым, родственникам Фани и своим родственникам тоже — с разными пожеланиями. Он старательно сочинял дарственные надписи, но все, кому он дарил свои книги, никогда потом не говорили о том, понравились или не понравились им эти рассказы. Он знал — прекрасно знал! — что никто из них не читал, иначе они обязательно что-нибудь сказали бы.

Он догадался, что его прежним рассказам не хватало случая, слова. Особенно не доставало случая. Слова не хватало еще больше… Он бился над ними с ручкой в руках, но быстро понял, что случай не рождается пером. Слово еще меньше подчинялось ручке… Иногда казалось, что вот оно, вот нужное слово, и он бросался переносить его на бумагу, но предательская бумага умертвляла его, душила в придаточных, ловила в капканы предлогов, заставляла спотыкаться в приставках. Иногда приходил и случай — единственный, неповторимый, живой, но и он не выдерживал испытания бумагой. Тема безжалостно вырывал страницы из своей тетрадки, сжигал их в печи, и душа его корчилась так же, как пылающая бумага.

Он не отчаивался, потому, что знал — и слово, и случай рядом, нужно только найти. Жалко, что Фаня не понимала его, произносила свой приговор: «Кретин!..»

И так сложилось, что он по утрам стал уходить из дома. Считалось, что он шел в магазин, но все — и Фаня, и Володька, и все-все — знали, что он уходил бродить по городу. Болтаться по улицам, пока жена «подрубает» пододеяльники, шляться в поисках какого-то случая, которого, наверное, и нет нигде — не тот Уральск город, где хоть какие-нибудь случаи происходят прямо на улице.

Еще страннее выглядели поиски слова… Слов вокруг было столько! Столько всяких слов!.. Бери пригоршнями… А он все жег и жег бумагу…

Однажды Фаня сказала ему, что он перпетум мобиле абсурда.

— Ты волчек, запущенный во все стороны сразу, — говорила она. — Тебе знать не дано, куда понесет тебя сегодня, и ты никогда не помнишь, где был вчера… Перпетум…

Даже она не знала, что он всегда ходил по одним и тем же улицам. По Коммунистической, по Почиталинской, по Советской, по… Еще он каждый день проходил через маленькую калитку в длинном деревянном заборе на улице Маметовой, а затем через просторный двор, заросший старыми яблонями, а в тени яблонь кривился старинный деревянный сарай, большущий, с грязными стеклами вместо кровли — не то оранжерея, не то заброшенная лаборатория давно забытого химика-самоучки — и пройдя под деревянной аркой каких-то покосившихся ворот попадал почти на самую Фурмановскую… Затем он добирался до Театральной, по ней поворачивал налево и опять выходил на Советскую, а оттуда десять минут хода до дома, где Фаня уже справилась с лавиной пододеяльников. Тема не мог объяснить, почему он выбрал эти улицы, и эту калитку — может, осенью на этих улицах ржавчина наравне с золотом; может, тротуары здесь выложены из красного кирпича, добытого на развалинах взорванного храма святого Александра Невского — и, ступая по стенам поверженного исполина, можно все-таки найти заповедное слово; а, может, и здесь замешаны галактики и созвездия, и вообще нам выпадает только тот путь, который выпадает?..

Перед самым выходом к нему привязался Володька.

— Пап, как пишется — «ча» — «ща» — через «а» или через «я»?

— Конечно, через «а», вы это еще в первом классе, помоему, проходили…

— А вот в новом учебнике написано, что через «я» надо писать. И «кофе» теперь среднего рода, а полдник называется «файфоклоком»

Он взял у Володьки учебник, заглянул, действительно: «чя» — «щя» — пиши через «я»! И про кофе все верно. Апсурд. Нет, не абсурд. Апсурд.

— Значит, пиши через «я» — тебе не все равно? Как в учебнике написано — так и пиши…

Володька что-то пробурчал — «козлы», кажется, и отстал. Ну, надо же, чящя…файфоклок…

— Фань, деньжонок не подкинешь? — спросил Тема. Она нахмурилась, но подкинула, сказала, чтобы он не забыл аспирину купить — башка с самого утра раскалывается. Протягивая ему деньги, она всегда хмурилась, как бы давая понять, что нелегко эти денежки достаются, ох нелегко!.. Посиди целый день, не разгибаясь, за машинкой, а перед этим раненько утром притащи с фабрики тяжеленные кипы белья, а вечером оттащи готовую работу на фабрику! И еще она, наверное, подчеркивала, что его писательство, писанина, как и прочие его занятия — дела пустые, ничтожные, если не могут прокормить. Искусство, словесность, поэзия… Никчемные слова. Вот она знала одного скульптора, так тот дом себе построил в окрестностях Минска — двухэтажный, с добротной черепичной кровлей; одних окон и дверей в доме было тридцать шесть. А скульптуры он высекал самые простые — львов сидящих и львов стоящих, и львов лежащих; этих царей с тяжелыми гривами охотно раскупали для того, чтобы они украшали собой такие же загородные дома с тридцатью шестью дверями и окнами у тех людей, у которых были такие дома, и были деньги на львов. А еще скульптор высекал покойников из мрамора и другого благородного материала, и за покойников платили еще лучше. И вот на эти денежки он купил американский автомобиль, и намеревался выкопать у себя во дворе бассейн, чтобы плавать в нем в свободное от высекания львов и покойников время. Вот это искусство! А Тема тридцатый год сочиняет какой-то рассказик — пишет и переписывает, пишет и переписывает — и никак дописать не может… Горе луковое!..

Да, а почему именно оно луковое, это горе? Потому, что слезу вышибает? Так наше горе не слезу вышибает — сопли; так и живем, соплями умытые…

Тема сунул деньги в задний карман брюк и перед тем, как выйти из дома, завернул в уборную, помочиться про запас; на уборной тоже приходится экономить — сортиры нынче сплошь платные, если нет десятки, то можешь прямо в штаны отливать — никто и глазом не поведет! Хоть уделайся посреди площади имени Юрия Фоменко — твое дело, твои проблемы, даже полицейский отвернется, не станет о тебя руки марать.

Тема, как каждый нормальный человек, любил уборные — эти кабинки уединения, эти убежища, хоть на минуту, защищающие от суеты, но с тех пор, как за них стали требовать уплаты живыми деньгами, он изменил свое отношение к ним, хотя продолжал говорить, что если где человеку и думается легко — так это в уборных. Он развивал свою мысль: сортир приземляет человека, не принижает, а именно приземляет, в сортире трудно соврать, да и в общем некому… А самому себе хорошо заливать на миру… На миру, как известно, брехня красна…

В уборной можно переждать бомбежку, пересчитать деньги, достать завалившуюся за подкладку фотокарточку… В уборной ты принадлежишь только самому себе…

В детстве деревянные туалеты казались ему игрушечными домиками, сквозь щели в досках он мог видеть многое и многих, а его не видел никто; ну чем не снайперская позиция?..

Нынче многое изменилось…

Он поднял голову — в маленькое окошечко домашнего туалета был виден крошечный кусочек утреннего неба, с небольшим облачком, с яркой хвостатой звездочкой, несущейся справа налево — не то метеоритом, не то кометой, которая, врали ученые, пройдет от Земли на расстоянии шестнадцати миллионов километров. Тема почему-то думал, что метеорит обязательно влепится в Землю — где-нибудь у речки Тунгуски или в лесах Амазонки, где все они обычно и падают, и поэтому тамошние люди — горячи и темпераментны — спешат жить, торопятся наслаждаться, пока на головы не рухнул очередной космический булыжник в тысячу тонн. И они придумали себе в утешение кетовую икру, карнавалы, самбу и текилу…

Тема нащупал прямоугольник за подкладкой пиджака и попытался извлечь его оттуда через прореху в кармане — не тут-то было. Прореха оказалась совсем небольшой, прямоугольник не пролезал в нее. Он покрутил пиджак — и так, и эдак — вытащить завалившуюся карточку (карточку ли?) было невозможно, не разодрав подкладку. Но как же тогда она попала туда?.. Точно-точно, в мире что-то случилось этой ночью!.. Может, всего-то один-единственный атом где-нибудь переместился, изменилась какая-нибудь самая фиговая валентность — и вот результат: пиджаки падают, за подкладку к ним попадает всякая всячина!

Фаня как будто почувствовала что-то, закричала от швейной машины:

— У тебя опять понос? А?..

И когда у него был понос, когда? Не обидный у Фани юмор, нет, не обидный, но какой-то тяжеловатый… Что, у нее все его поносы на учете?..

— Да, понос, — сказал он, чтобы не молчать. — Опять…

Он рванул подкладку, она затрещала, подалась, в руках у него оказалась фотография — все-таки фотография. На ней женщина, сидящая в плетеном кресле: прямая спина, руки на сведенных коленях, кружевной воротник, носок начищенной черной туфельки, едва заметный из-под длинного тяжелого, расшитого мелким речным жемчугом, платья. На рукавах — у самых запястий — платье было отделано крупными жемчужинами: на правом рукаве пять жемчужин, на левом — четыре. Тема пересчитал — на самом деле на разных руках — разное число перламутровых шариков — пять и четыре. Может быть, одна жемчужина оторвалась только что, в фотографии, и этого никто не заметил?.. И только потом, когда проявили пленку, напечатали фотографию, обнаружили пропажу?..

Кресло стояло на фоне рисованного задника, на котором была изображена широкая река или большое озеро, в общем, большая вода, а посередине остров, а к острову через эту большую воду проложен мост… А на острове — и высоченные пальмы, и вековые дубы, и красавицы на тонконогих скакунах… Наивная и полная очарования картина. Так снимались давным-давно…

Тема пригляделся: в лице женщины было что-то неуловимо знакомое, может, похожа на знаменитую артистку или на родную сестру, умершую еще во время войны… А, может, когда-то встречал ее на выставке Николая Микушкина?.. Кто знает?.. Так иногда в толпе отличаешь человека, совершенно постороннего, впервые увиденного — и долго гадаешь — чем же собственно привлек он, что в нем, совершенно обыкновенном, заставило выделить его из тысяч других?.. Думаешь: может, духовное какое-то родство? Но никогда больше не придется встретить этого человека, не узнать о нем ничего — какое такое родство?..

Нет, нет, откуда Теме знать ее, ведь карточке этой полтора века!.. Откуда может быть знакома ему жительница позапрошлого века? Давно нет ее на земле… И кресла этого плетеного нет, и задника с живописным островом, и тяжелого, расшитого жемчугом, платья тоже нет… Впрочем, бывают лица, поразительно похожие на знакомых, родичей, на тебя самого… Но эта не из их числа. Он никогда не видел даже отдаленно похожих на нее.

На обороте надпись: «Тима, милый, на забывай все хорошее! Твоя Граня»

— Ты приклеился к унитазу? — закричала Фаня. — Может, помочь?.. Кретин…

— Помоги! — сказал Тема, сунул фотографию в карман брюк и вышел из уборной.

— С облегчением! — сказала жена. — День начинается удачно…

— День как день, да год не тот… — ответил он ей своей любимой поговоркой-отговоркой, как показалось ему — ответил метко, даже остроумно. Она вслед ему крикнула еще раз про аспирин и больную голову, но он уже закрыл

за собой дверь. Неспешно направился к стеклянной громаде универмага, все время ощущая в кармане брюк плотный прямоугольник фотографии. Кто такая эта Граня, и как очутилась ее карточка за подкладкой его пиджака?

Он осторожно извлек из кармана фото, пригляделся. Лицо женщины казалось грустным. «Наверное, снималась на расставание, — придумал он, — Тима этот, может, на войну уезжал, или в Америку на год, а оказалось насовсем? — и она понимала, что насовсем — женщины это чувствуют. А, вдруг, он уходил на поиски этой ненайденной пока страны — царства Беловодского?.. Вернулся он или сгинул в дороге?..

«Она как будто смотрит на меня… — привиделось ему. — Словно ждет какого-то вопроса… И обязательно на него ответит…»

Чем дольше он смотрел на нее, тем таинственнее казалась она, тем притягательнее.

— Что ты знаешь? — негромко спросил он у нее, и сам поразился тому, что разговаривает с куском картона. Ему померещилось, что напряженная фигура Грани дрогнула.

— Не молчи! — шепнул он ей. Она не ответила.

— Я схожу с ума? — произнес он еле слышно. Она улыбнулась одними губами. Он понял: кто может сказать, что не сходит с ума?..

— Сошел? Двинулся? Окончательно и бесповоротно?..

Граня чуть-чуть нахмурилась.

Он кивнул ей, чящя — пиши через «я»!

И тут только он понял (а ведь точно не скажешь, что он скородум?): Тима — это уменьшенное от Тимофея, Тема — тоже от него же, от Тимофея!.. Они тезки с этим далеким счастливчиком, которого Граня просит не забывать о хорошем. Интересно, он не забыл?..

Тема купил хлеба, огурцов, а про аспирин, конечно, и не вспомнил, прошел с чистым сердцем мимо аптеки и свернул за угол — там начиналась Коммунистическая. Давным-давно в детстве он жил на этой улице, во дворе типографии, неподалеку от которой была большая канава — целый овраг в центре города, в этом овраге он добы-

вал дождевых червей, на этих выползков отлично клевали сазанчики в Чагане, а на Ревунке он ловил и красноперок, и язей, и чебаков… Коммунистическую пересекала Почиталинская, и здесь он сворачивал налево — мимо детского сада, приютившегося в старинном особняке, мимо конторы книготорга, где сквозь стекло были видны огромные стопы книг на подоконниках; здесь всегда ему кричал из форточки товаровед Яков Иосифович: «Тема, когда, наконец, ты допишешь свой рассказ, и твоя новая книга поступит к нам?..» Вот и нынче товаровед подал голос: «Тема, ты «Уленшпигеля» читал?.. Помнишь про пепел Клааса?..

— Помню, к чему это вы?.. — ответил он.

— Надо помнить… Нельзя ничего забывать…

Рядом с конторой стоял дом тети Лиды Глуховой, все ее так звали, а возраста ее никто не знал.

— Здравствуй, милок! — поздоровалась она из-за невысокого покосившегося забора. — Свадьба-то скоро?..

Она всегда спрашивала насчет Володькиной свадьбы, имела немалый интерес, потому, что была мастерицей играть на саратовской гармонике, никакое веселье на Почиталинской, да и Коммунистической тоже, не обходилось без нее.

— Мал еще Володька, в школе пока учится, — сказал Тема, вспомнив про новый учебник и про «чящя».

— Вот оно как! — в который уж раз огорчилась тетя Лида Глухова. — Пусть подрастает скорее, пока не померла я…

Поворот направо — и Тема вышел на Маметовскую. Отсюда всего квартал — и Советская.

— Не видел тебя со вчерашнего дня, — на углу остановил его Нерадигонорара — девяностолетний журналист из «Приуральской правды», имя которого забылось еще в прошлом веке. — Случилось чего? День удачный?..

— Как будто все нормально, — ответил не очень уверенно Тема. — День как день, да год не тот…

— Вот и я чувствую: приключилось что-то неладное…

— Где приключилось? — не мог не спросить Тема.

— Если бы знать… В том-то и беда наша, что никто ничего не знает и не помнит… Вот в одна тысяча девятьсот сорок девятом году в кинотеатре «Летний» показывали «Тарзана»… Впрочем, это неважно… Перед началом фильма я зашел в фотографию «Модерн»… На улице Крестовоздвиженской была эта фотография… Так вот, улицу-то эту переименовали еще раньше…

— И как она стала называться? — Теме почему-то стало это интересным. Почему это заинтересовало его — он понять пока не мог.

— Вот и я говорю! — вздохнул Нерадигонорара. — Никто ничего не помнит… Но есть места, где ничего не забывается, ничего…

И он неспешно, шаркая ногами, потащился по Маметовской, свернул на Почиталинскую. Тема хотел окрикнуть его:

— Э-э-э…

Как окликнешь старика, если имя его потерялось давным-давно?

Тема подумал, что нечто странное было сегодня в поведении корреспондента «Приуральской правды», газеты, которая так же, как ее журналист, позабыла свое имя. Но что?.. Что?..

Он даже остановился на минуту, стараясь понять, что же поразило его в старом писаке, изведшем не одно ведро чернил на газетное вранье. Ну, конечно же, как Тема сразу не обратил на это внимание! Ведь Нерадигонорара всегда встречался ему на углу Почиталинской, а сегодня почти у самой Советской! Кроме того, прежде он рассказывал только о «Тарзане»… А сегодня, сегодня…появился «Модерн». «Модерн»…

Он перешел Советскую, помахал рукой Поле — продавщице мороженого, спросил:

— Как всегда, пломбир в стаканчиках?..

Ответ немного обескуражил:

— Нет, Тимофей Максимович, сегодня эскимо…

Тридцать лет не было в этом киоске эскимо. И не только в этом. И потом — откуда Поля знает, как его зо-

вут?.. После этого разве возьмешься утверждать, что в мире не произошло ничего особенного?.. А этот самый «Модерн» — почему он застрял в мозгах? Откуда он? Откуда?..

И память тут же подсказала ответ. Случается иногда, что она выталкивает на поверхность не только события времен Рыжечки, но и то, что случилось утром, час назад, за пять минут до этого. Тема достал из кармана фотографию, женщина улыбнулась ему с картона, как старому знакомому. Внизу снимка, в самом уголке стоял штамп: «Фотоателье «Модерн», ул. Крестовоздвиженская, 38». Вот оно что!.. Вот оно… Но почему Нерадигонорара вспомнил об этом ателье? И почему именно сегодня?.. Странно…

Вообще, в этих обширных краях бывает немало странного, необъяснимого. Как-то случилось ему выехать на машине из города — в степь, в заросшие весенней травой барханы — без малого тысячу километров пришлось отмахать по безлюдным местам, и однажды ночью он заметил светящуюся точку. Он так устал бороться с дорогой, усталостью и сном, что решил завернуть на огонек, попросить чашку спасительного казахского чая, а к чаю обязательно приложится и ночлег на прохладных корпешках. Он поехал на огонек, который по степным неведомым законам сначала отодвигался от него едва не целый час, а потом быстро двинулся навстречу, и Тема затормозил у одинокого столба, на котором на ветерке раскачивалась горящая лампочка. Током ее питал небольшой электрогенератор, который трещал у самого столба. И больше ничего не было вокруг на сто километров. Если не считать длинной деревянной скамьи, такие любят устанавливать в провинциальных парках рядом с гипсовыми статуями горнистов и футболистов с отбитыми головами.

Тема вышел из машины, крикнул:

— Ау!.. Аааааууууууу!..

Никто не откликнулся. Тогда он достал из машины спальный мешок, расположился на скамье и заснул под гортанные крики каких-то невидимых птиц. Засыпая, он

благодушно подумал, что, может быть, здесь гнездилище волшебных птиц Самрук и что к утру они растерзают его усталое тело, и ему больше не суждено проснуться. Но он проснулся от солнечного света, бившего прямо в глаза. Птиц Самрук не было видно, но лампочка на столбе была выключена, как был выключен и генератор.

— Ауууу! — опять завопил Тема, но, само собой, никто не откликнулся. — Аааааууууу!..

Он походил вокруг столба, осмотрел местность: спрятаться в этой ровной, как крышка стола, степи было некуда. Кто включал и выключал эту одинокую лампочку — так и осталось навсегда для Темы загадкой. Еще большей загадкой для него было и то, зачем включали эту лампочку. Зачем?..

Задумавшись, Тема едва не угодил в яму. Путь преградила глубокая траншея, как окоп с бруствером. Ни мостков, ни хотя бы завалящей хлипкой доски не было переброшено через бездну. Вчера этой линии обороны не было, сегодня она надежно перекрыла путь к маленькой калиточке в длинном деревянном заборе. Пришлось обходить целый квартал, пока, наконец, он не оказался у того места, куда приходил каждый день, срезая дорогу при помощи незаметной калиточки; сегодня впервые он пришел сюда не с тыла, а с фронта. На воротах висела ржавая жестянка с едва заметным номером — 38. Тема поднял глаза — чуть выше была вторая жестяная табличка с полузатертой надписью: «ул.Крестовоздвиженская».

— Так я и знал, так и знал! — вздохнул Тема, хотя, конечно, ничего этого он не знал и даже не предчувствовал. Но ведь он искал случай…

Он впервые вошел во двор через ворота, и ему навстречу из-под яблонь выкатилась черная звонкая собачонка и бесстрашно атаковала одну из штанин Темы. Он всегда боялся собак, даже таких крошечных. Кошек, впрочем, тоже боялся.

Собак поощряет страх, и звонкая черная словно собиралась разорвать его, и, наверное, разорвала бы, не поя-

вись вслед за собачонкой седоусый садовник, во всяком случае, так он выглядел — в выцветшем брезентовом плаще, такой же потерявшей цвет шляпе, в огромных, просто необъятных, резиновых галошах на босу ногу. Он зашикал на собачонку, отогнал ее от Темы:

— Прочь Троглодит, прочь!..

— Здравствуйте! — сказал Тема и спросил:

— Как собачку зовут?.. Троглодит что ли?..

— Конечно, Троглодит… Тима, так ты сам ей такую кличку придумал…

— Что? — растерялся Тема. — Я придумал?..

— Я об чем и говорю! — порадовался его памятливости садовник. — Как только нам его подарили, так он сразу принялся на тебя шуметь, и по сей день, как увидит тебя, так заливается… Почему-то не признает за своего…

— Своего?.. — растерянно переспросил Тема.

— Вот ты его и наградил имечком… — сказал садовник.

— Вы, должно быть, ошибаетесь… Мы с вами не знакомы… Да, я бываю здесь частенько — мимоходом, — но с вами не встречался… Не доводилось…

Садовник улыбнулся молодой улыбкой, дескать, и мы ценим шутку:

— Ну, ты даешь Тима!..

И, кроме того, я не Тима, а Тема!..

— Да ладно тебе!..

Садовник вытащил из кармана румяное яблоко, обтер полой плаща, протянул:

— Вот попробуй, это как раз с той самой яблони…

Тема взял яблоко, крепкое, прохладное, спросил:

— С той самой?..

— Ну, да, которую вы вместе Граней посадили… Вот она, щедрая…

Тема посмотрел: дерево как дерево. Он надкусил яблоко, сладкое. Что-то нужно было сказать, но что?

— Так, может быть, и фотография «Модерн» еще существует? — придумал он вопрос с заковыркой. А что, пусть не разыгрывает его!

— А куда же она денется? Ты стоишь перед ней…

Тема огляделся, как же он прежде не замечал на деревянном сарае со стеклянной крышей надписи — «Модерн»?..

Все меньше происходящее походило на розыгрыш.

Тема задрал голову: яркая хвостатая звездочка кометы была над головой. Он вздохнул облегченно: мир на месте. Но тут же колючая льдинка страха заползла в душу: комета катилась по небосклону слева направо — с прицелом на Землю, а не справа налево — мимо, мимо, мимо Земли, и этого законами природы невозможно было объяснить. Если здесь не придуманы другие законы. Он закрыл глаза и тут же открыл их: комета держала путь направо.

— Вот, и звезда наша «Полынь» на месте, — сказал садовник и тяжело воздохнул. — Привыкаем постепенно к ней… Учимся не повторять двадцать раз на дню, что осталось шестнадцать лет…

— Чего осталось? — жутко стало Теме от собственной догадки.

— Не притворяйся, Тима, — с некоторым нажимом сказал садовник. — Не шути этим… Больно невеселая шутка получается…

— Ты хочешь сказать, что эта космическая скала врежется в Землю?..

— Первым эту новость принес ты, помнишь? Пришел утром, потерянный, тихий, одним словом, в воду опущенный и говоришь: «Сейчас по радио передавали, что комета, получившая название «Полынь», не пройдет мимо Земли в шестнадцати миллионах километров, как предполагалось прежде, а врежется в нашу несчастную планету ровно через шестнадцать лет; скорее всего, погибнет все живое на Земле!..» И ты еще тогда засмеялся, дескать, отмерено всем-всем до полного совершеннолетия… А потом уже выяснилось, что это какие-то условные научные годы, а на самом деле намного меньше… Вон как она разгорается с каждым днем на небе, даже в самый солнечный день видно…

— Не может быть! — сказал потрясенный Тема, все еще не желая поверить в реальность происходящего. И тогда он решился на еще одно испытание:

— Через какую букву пишется «ча» — «ща»?..

— Ну что вы, Тимофей Максимович, в самом деле!.. Все знают, что через «а». Как раз недавно выпустили новые учебники, так в них это правило, конечно же, подтверждено…

— А «кофе» среднего рода?.. — не сдавался Тема

— Да нет же, мужского…

— Не может быть! — сказал он. — Какой на дворе год?..

— Это уже слишком, Тима! — начал сердиться дворник. — Тот же самый, что был сегодня с утра, когда мы виделись с тобой — шестнадцатый…

— Девятьсот шестнадцатый, то есть одна тысяча девятьсот шестнадцатый?..

— Ну, все, надоело! — отвернулся садовод и направился к деревянному сараю, сказал через плечо:

— Шестнадцатый… Просто шестнадцатый… А прошлый год был семнадцатый, позапрошлый — восемнадцатый. А будущий будет пятнадцатый…

Он остановился у двери, спросил негромко:

— Так ты идешь? Или продолжишь придуриваться?..

И Тема пошел за ним, волнуясь: неужели, неужели?.. Неужели так бывает?.. И убедился, что бывает, еще не дойдя до распахнутой садовником двери. Низкий, чуть хрипловатый женский голос, позвал его:

— Тима, милый!..

Нагнув голову перед невысокой притолокой, он шагнул через порог, в неожиданно светлое обширное помещение, в центре которого сидела в плетеном кресле женщина: прямая спина, руки на сведенных коленях, кружевной воротник, носок начищенной черной туфельки, едва заметный из-под длинного тяжелого, расшитого мелким речным жемчугом, платья. На рукавах — у самых запястий -платье отделано крупными жемчужинами: на правом рукаве пять жемчужин, на левом — четыре…

Тема открыл рот, чтобы сказать «Здравствуйте!», а почему-то получилось «Вот и я…»

— Все хорошо, милый? — спросила Граня.

— Ничего… — промямлил он. — Эта Крестовоздвиженская улица теперь Коммунистической называется, да?

— С чего ты взял? — внимательно посмотрела на него она. — Как была Крестовоздвиженской, так и остается ею…

— А параллельная с ней — Форштадтская, — напомнил садовник.

— Маметовская? — растерянно спросил Тема.

— А еще дальше — Мостовая, а пересекает ее Большая Михайловская, ты запамятовал что ли?..

— Помню, помню, — сказал он. — Все помню…

И внезапно понял, о чем сегодня говорил старый газетчик. Все очень просто: есть миры, где никто ничего не забывает…

— Граня… — начал он и сбился. Что он хотел сказать ей? Что под утро со стены упал пиджак, что комета пролетает мимо, что с сегодняшнего дня «чя» — «щя» нужно писать через «я»?.. Что стоит только свернуть в незнакомый переулок, как окажешься в незнакомой вселенной?.. Что никакой он не Тима, а стареющий неудачник из соседнего мира? Что..., что…

— Да, милый!.. — повернулась она к нему, и он подумал, что не нужно ничего говорить. Ни к чему. Она знала все — об этом обреченном городе и мире, о нем самом, почти все о себе самой… И еще ее глазах было все то, что снилось ему сегодня под утро, и что он не мог никак вспомнить, а, оказывается, сон был прост и ясен. Как будто он из счастливого далекого далека? Долгий тягучий рассвет над старым городом, первые лучи солнца, отраженные в водах июньской речки, которая всегда называется Чаган, внезапный утренний дождь, который проходит за три минуты и запоминается навсегда, ее ладонь, в которой перемешались вкус дождя со вкусом поцелуев, любовь, которой не страшны ни кометы, ни изменения в грамматике…

Он подумал: «А вдруг здесь мир, в котором любят, в том числе и меня? Пространство любви?..»

И тут же он вспомнил: обреченное пространство!..

— Что ж ты молчишь, дорогой? — переспросила она.

— Я не молчу, — хрипло произнес он. — Я говорю... Я думаю, что пятая жемчужина с рукава платья закатилась под кресло… Нужно поискать…

— Да нет же, нет… Хоть это и скатный жемчуг, но он никуда не закатывался…Он просто так называется…Говорят, что это застывшие слезы, скатившиеся на зеркало из девичьих глаз. Кто говорит, что это были слезы счастья, другие — слезы беды… Ты никогда не верил в эту историю, ты всегда говорил, что жемчуг — это зрачки рек и морей…С тех пор, когда ты растворил эту жемчужину в вине и выпил это вино, ты почему-то время от времени спрашиваешь о ней, тебе кажется, что стоит ее поискать хорошенько — и она найдется… А она не находится…Ты тогда был не так уж и пьян… Помнишь, тогда еще гроза налетела и порыв ветра распахнул все ставни в доме… Не думаю, что ты забыл…

Он промолчал. Не говорить же ей, что никогда не растворял он в вине жемчуг, никогда не пил это вино, что в паре кварталов отсюда его ждет Фаня, пытающаяся на швейной машинке уехать от нужды и скуки. Что он вообще может сказать Гране, живущей в странном убывающем мире?..

— Вспомнил? — настойчиво спросила Граня. — Не можешь это забыть!..

И он вспомнил.

…И откуда только взялся на его голову, этот тип в пыльной фетровой шляпе? Может, пришел сфотографироваться, может, поглазеть на фотовитрину «Модерна», где дамы застыли в кисее, шляпках, нитяных перчатках, а мужчины с шашками — казаки, офицерье, заступники, а кому шашка не по чину — тот держит книгу в золоченом переплете — «Историю» Йегера. Если приглядеться, то и шашка, и «История» — одна на всех сфотографированных. Как будто снималась родня…Большая родня. Выбрала время и снялась, и навек осталась на фотографическом картоне.

Он, кажется, тогда так и спросил:

— Что, они все родственники?.. Сабля прицеплена одна и та же?..

— Шашка, — поправила его Граня. — Не сабля, а шашка…

— Да какая разница, чем голову снесут — саблей ли, шашкой ли…

— Все равно — «шашка», — вставил слово садовник, который всегда поспевал к любому разговору, а если уж где-то пахло выпивкой — он попадал туда первым, иногда еще задолго до того, как кому-то приходила в голову счастливая мысль — сбегать за бутылкой. В некоторых кампаниях появление садовника стали воспринимать верным сигналом к началу пьянки… Вообще, об этом садовнике ничего не было известно, никто не знал — садовник ли он вообще — и где живет, и сколько ему лет, и почему все называют его садовником? А, может, он был сторожем в саду, а может, он был известен Гране, как составитель фотографических растворов и особенно силен был в закрепителях? Хороши были и его проявители, но фиксажи — просто превосходные, и он по праву гордился ими?

Тип в пыльной шляпе спросил у Грани:

— Ваше фотоателье специализируется исключительно на портретах, потому, что пейзажная съемка особенно хлопотна?..

— Ну отчего же, — сказала Граня. — В прошлые годы мы сняли несколько пейзажных серий…

Он почему-то ей понравился. Очень. И это сразу у нее было заметно. Это всегда у нее было заметно, она никогда не могла этого скрыть — не умела, а, в общем-то, и не хотела. Года три назад она с первого взгляда влюбилась в студентика, который случайно зашел в «Модерн» — перепутал ателье с харчевней, наговорил кучу дерзостей, наврал с три короба, а она влюбилась в него, как заразилась — скоротечно, тяжело — и мучалась она, и Тиму мучила, и ничего не скрывала, и порывалась выпить уксус. Студен-

тик каждый день приходил в ателье, притаскивал букеты, которые воровал с клумб на столыпинском бульваре. Он говорил, что увезет ее в Бобруйск, где у него жила мама, и что он поступит в службу, что проживут как-нибудь, она сможет играть в тамошнем театре — внешность у нее очень артистическая, — наплел и много другого вздора… Тогда она сумела выздороветь, а студентик уехал, наверное, в Бобруйск. Она сказала Тиме:

— Прости, но я не виновата, что влюбчива… Это, наверное, дар такой, как ты думаешь? Но помни — тебя я буду любить всегда…

Он утешился, но время от времени рана давала о себе знать. И вот этот тип в пыльной шляпе…

— К вечеру быть дождю, — заметил Тима, — нужно бы закрепить ставни, да и жалюзи закрыть. В последнюю грозу разбило в павильоне три стекла…

— Меня зовут Вальдемар, — представился тип. — Путешественник, действительный член географического общества, автор книжки — она довольно известна и в ваших краях — «Земля рассветная»…

— Конечно, конечно, — сказала Граня, — читали ваш труд с восхищением! Довольно оригинальный взгляд!..

Тима увидел, как загорелись ее глаза.

— Наверное, и гроза будет, тучи наползают свинцовые, — попытался он вернуть ее в павильон. Но она не слышала его.

— Мы могли бы показать вам наши скромные пейзажные работы, — сказала она Вальдемару. — При условии, что вы не очень торопитесь…

Тот, конечно, никуда не спешил.

— Однажды на реке Псоу, — начал он какой-то рассказ, — нас застал ливень, не дождь, а настоящий потоп… Вот тогда действительно пришлось торопиться, еще как!..

— Дорогой, — повернулась Граня к Тиме, — может быть, вы с садовником сходите за вином?.. Выбери лучшее, он один, боюсь, отдаст предпочтение только крепким напиткам… Нам ведь не жемчуг растворять, нам жажду утолять, правда?

— Можно и жемчуг растворять, — буркнул он.

— Милый, ты, кажется, сердишься? — спросила она. — Думаю, причин для этого нет.

Низкий хрипловатый ее голос стал как будто мягче, вкрадчивее, Тима знал, в каких случаях он становится таким, и ревность царапнула сердце.

Вино хранилось в кладовой на краю сада, и когда они с садовником отправились туда, уже накрапывал дождь. Они нашли в кладовой плетеную корзину, выбрали с дюжину бутылок, покрытых пылью — «Каберне», «Салхино», «Фетяска»… Садовод настоял, чтобы взяли и пару бутылок малоизвестного пока портвейна «Talass».

Когда они вернулись с вином, то Граня с гостем сидели в креслах бок о бок, и она показывала гостю большой альбом с фотографиями. На Тиму с садовником они даже и не посмотрели.

— А вот снимки самого первого года этой экспедиции… Какой незабываемой она оказалась, какой чудесной!.. Это Александр Мамин, а это Алексей Аблаев — путешественники божьей милостью… В каких только походах они не были!.. Это Лариса Санникова… А это виды Урала… Вот Жемчужный яр, вот яр Маринкин… А это Сауркин утес… Посмотрите, как красиво!..

— А кто эти бородачи?..

— Это Александр Зузанов, а это Геннадий…

— Может, все-таки выпьем? — решился подать голос садовник. — За фотоискусство, за знакомство?..

Возражать никто не стал.

Садовник ловко откупорил первую бутылку, наполнил бокалы, не пролив не капли. Это большое искусство — не пролить. За это искусство подняли второй тост. Третий — за путешественников, которые домом считают старую палатку на яру. Четвертый — за степь, пятый — за лес, шестой — за Урал, седьмой — за дожди… И в это время сыпанул за окнами ливень. Тогда стали пить за женщин, за мужчин, за любовь…

— За любовь мужчины пьют стоя! — предложил Вальдемар.

— Женщины тоже пьют за любовь стоя! — поддержала его тост Граня.

После тоста за родину последовал тост за родное правительство, после этого Тима предложил заканчивать пьянку. Граня легкомысленно махнула рукой, а Вальдемар принялся рассказывать, как однажды он, вместе с другими сумасшедшими, искал (да, да, а кто его не ищет?) Беловодское царство:

— То, что оно, царство, существует — сомнений ни у кого нет. Я имею ввиду — серьезных сомнений… Не буду сейчас приводить какие-то доказательства, цитаты из старинных мудрых книг, свидетельства тех, кто клянется, что побывал там — и, естественно, мед там пил, и женился там, и прописан был там, и еле ноги оттуда унес; меня убеждает в существовании этого царства справедливости одно: если есть сотни царств, где все так плохо, то почему не быть хотя бы одному, где все хорошо?..

— Я — согласна полностью! — поддержала его Граня.

— А я — не согласен категорически! — сказал Тима. Он так не думал, он спорил от ревности. — Нет ничего такого, что невозможно было бы найти… А вашу Шамбалу уже ищут сотни лет. И самолетами, и спутниками из космоса, и электрические сигналы посылают — все напрасно…

— Не открывается этот остров, кому ни попадя!.. Ведь натащат скверны, не отмоешься потом, ни очистишься! — подал голос садовод.

— В своих скитаниях мне однажды встретилась странная девочка — Лизавета, — продолжил Вальдемар, — она тоже искала Беловодье…

— И что же странного в этой искательнице? — спросил Тима. — Наверное, их тысячи бродят по земле… Все сегодня бросились на поиски счастья, которое ждет их в счастливой стране, как будто это туго набитый кошелек…

— Так эта девочка путешествует на кресле-каталке, она инвалид. Она не просто верит в эту страну, она видит ее наяву — такой у нее дар…

— Я тоже слышал об этой самой Лизавете, — сказал садовник. — В соседнем саду говорили, что по ней очень скучает кактус, зеленый, как динозавр, что живет на подоконнике в брошенной ею квартире…и давно он бросился бы вслед за ней, да не решается динозавр оставить совершенно одну бабушку Лизаветы… Но я слышал, что как будто они втроем все-таки отправились вслед за девочкой…

— Ведь их с бабушкой только двое... так вы говорили, — напомнил Тима, снедаемый ревностью.

— Кто говорил — двое? — удивился садовник. — А домового куда дели? Домовой, наверняка, с ними пошел… Был еще и кенар, желтый, как пустыня, но он умер однажды утром… Яркие уходят рано…

— Ну и каковы результаты этих поисков? — спросил с иронией Тима. — Налажены ли дипломатические связи, произошел ли обмен послами, вручены ли верительные грамоты, открыто ли уже регулярное самолетное сообщение с этой заповедной страной?..

Знатный путешественник выразительно посмотрел на Тиму. Взгляд Грани был также полон сожаления.

— Разве находить уже стало важнее, чем искать? — спросил Вальдемар.

Тима хотел сказать «Дурак ты заповедный», но не сказал, потому, что даже после седьмого тоста оставался культурным человеком. Он сказал другое:

— А я предлагаю выпить!.. За Граню…

Все его поддержали.

— Но я буду пить за нее вино жемчужное…

Он подошел к Гране, она с улыбкой протянула ему руку — посмотрим, каких пределов достигает мужское безумство! — и он оторвал одну жемчужину с рукава ее любимого (и его любимого — оно так шло к ней!) платья. Жемчуг этот назывался скатный, он как раз и приносит счастье. Тима бросил жемчужину в бокал с вином, кажется это был Talass, посмотрел бордовый хрусталь на свет — и в это время на дворе разорвалась ослепительная шрапнель молнии, сухой треск разряда превратился в оглушающий грохот, порывом ветра распахнуло несколько ставен,

посыпалось битое стекло. Все кинулись закрывать ставни, за окном полыхнуло и ударило еще раз.

— Как будто в нас метит! — закричала Граня.

Ударило и в третий раз, да так, что дрогнула земля. Путешественник и действительный член географического общества побледнел, попятился от распахнувшегося окна и осенил себя крестным знаменем; перекрестился и садовник.

Тима указательным пальцем нащупал в своем бокале жемчужину, вытащил ее. Никто не увидел этого. Он положил жемчужину в карман, сказал громко:

— Я же говорил, что гроза идет…

— Да! — сказал садовник. — Электричество блуждает по миру. Оно повсюду. Говорят, что даже в океанах завелась электрическая рыба — и светло ей от себя самой в сумрачных глубинах, и охотится она при помощи электричества, и оборону тоже электрическую держит… В Америке, слыхал я, завели даже электрическое искусство… электроарт — большущее будущее у него… Полное отражение действительности и одновременно — управление действительностью на расстоянии — по специальным проводам. Невероятной эмоциональной силы искусство, колоссальной силы… Это как динамит с электрическим запалом… Нажимаешь на кнопку — и взрыв в сознании!.. Революционное искусство, иначе не скажу…

— Сколько уж можно взрывы устраивать? — сказал Тима. — Хоть в сознании, хоть без сознания?..

— А вы, как будто, боитесь грозы? — повернулся он к знаменитому путешественнику. — Разве не бессмысленно опасаться того, что невозможно предугадать? Неизвестности?..

— Вот неизвестности как раз и следует бояться, — ответил Вальдемар, — она страшнее всего…

Тима отметил про себя, что трусоватость действительного члена географического общества заметила и Граня. Заметила и усмехнулась. Теперь нужно было закрепить успех.

— Итак, пью здоровье Грани! — сказал он, переждав раскаты грома. — С жемчужиной!..

И он выпил вино до капли, перевернул бокал, и все увидели, что в нем жемчужины нет.

— Ты просто сумасшедший! — с восхищением произнесла Граня. — Откуда у тебя эти гусарские замашки?..

Он промолчал, скромный герой. Безрассудный. Отчаянный. Влюбленный.

Граня потеряла интерес к путешественнику…

Как Тима мог забыть этот случай?.. Может, его забыл Тема?

— Да, я вспомнил! — сказал он ей, и для чего-то посмотрел вверх — через стеклянную крышу на комету. Павлиний хвост ее разгорался слева направо: по-прежнему Тема в мире, взятом под прицелом звездой «Полынь».

— Вот, видишь… — улыбнулась Граня, — вообще, в последнее время ты какой-то странный. Впрочем, все мы теперь странные… Сегодня утром я читала книгу известного футуролога Фоменко…

— Того самого? — спросил садовник.

— Ну, да, Юрия Фоменко… Он утверждает, что уже через двадцать лет человечество сможет решить многие проблемы — экономические, социальные…в общем, наступит золотой век благоденствия — ни эпидемий, ни революций, ни…

— А когда была написана эта книженция, — спросил Тима-Тема.

— После…после того, как о комете объявили… — сказал садовник. — А что это меняет?.. Книжки теперь не писать? Дома не строить?..

— Детей не рожать?.. — спросил Тема, и вопрос получился с непонятной издевкой, и он сам это понял.

Граня взяла его за руку:

— И детей будут рожать до последнего часа… Милый, как же иначе? Неужели весь мир должен заняться приготовлением савана?.. До последней минуты будут любить, сочинять стихи, строить планы на отпуск. Мы же не

боги — мы люди, мы знаем, что не вечны, но это не мешает нам ржать над анекдотами…

«Наверное, она права, — подумал Тема, — но ведь страшно, еще как страшно видеть над головой этот растущий и растущий с каждым днем кометный шлейф!..» И вдруг, как в школьной арифметике — «один пишем, а пять в уме» — из памяти вынырнуло, что ему-то, Тиме, опасаться совершенно нечего, он из другого мира, совсем из другого. Не из этого, где его любят, где он угощается яблоками с яблони, которую, оказывается, он посадил когда-то вместе с Граней, а из того, где никто его не любит, может, только Володька, но и он навряд ли… Не любят, но зато комета там пролетает мимо, и там еще долго можно искать необходимый случай и нужное слово. И ничего, что пока не нашлось ни того, ни другого — в том мире можно не торопиться… Там никто поминутно не смотрит в небо…Там у всех времени сколько угодно! Вот сейчас Тема вежливо откланяется, выйдет через калиточку и пойдет домой к Фане…домой… домой?..»

Он оглянулся на дверь, да, наверное, так выразительно, что садовник похлопал его по плечу, сказал:

— Засыпают, уже засыпают эту траншею, десятка полтора землекопов прислали, скоро снова можно будет через калитку ходить…

Тема смешался:

— Да я, собственно, не поэтому…

Садовник засмеялся:

— Я все понимаю… Запасной выход должен быть… Плохо, когда у человека всего одна дорога, скверно… Вот тогда за подкладкой рано или поздно находится карточка…

— Откуда вы про карточку узнали… Я вам ее показывал?..

Садовник не ответил, наверное, не услышал вопроса.

Зато Граня услышала.

— Что, нашлась та фотография? — спросила она.

— Где на одном рукаве четыре жемчужины, на втором пять?.. — переспросил Тема.

— Ну, да, на которой я снята в тот день, когда ты вино с жемчугом пил… Я тебе подарила ее, а ты умудрился потерять ее уже на другой же день. Почти семь — да, семь — лет с тех пор прошло. Где же она нашлась?..

— За подкладку завалилась, — ответил Тема.

Граня поднялась со своего ротангового кресла, протянула руку к Теме:

— Давай!.. Оторвавшуюся подкладку нужно сразу пришивать, иначе есть риск потерять больше, чем фотокарточку. В добрую прореху и судьба может провалиться, правда, ведь, Тема?

Ему показалось, что она назвала его Темой, но она могла и оговориться. Он снял пиджак и отдал его ей.

— Пойдемте в дом, сегодня что-то нет желающих запечатлеть себя, — предложила она.

— Наверное, в последнее время люди снимаются реже? — спросил он.

— Нет, отчего же. Пожалуй, даже чаще…Значительно чаще…

Они вышли в сад и двинулись к одноэтажному деревянному особняку, скрытому от посторонних глаз за развесистыми яблонями, сливами, ранетками.

— Старый сад, — сказал Тема.

— Не молодой, — ответил садовник.

— Здесь все старое, — с сожалением в голосе произнесла Граня.

«Да, я могу уйти отсюда в любую минуту, — вдруг пришло в голову Теме, — а он, он… Тима может уйти?..»

— А вот яблоня, которую мы посадили вместе с тобой четвертого апреля… — сказала Граня.

— А в каком году? — спросил он. Она промолчала, вздохнула, потом сказала негромко:

— Неплохие на ней яблоки…Только кислят чуть-чуть…

Они зашли в дом, в котором было прохладно, полутемно, солнечные лучики, пробившиеся сквозь белые тюлевые занавески на окнах, были рассыпаны по полу, как битое стекло. С одной стены смотрели фотографические

портреты усатых, бородатых бравых мужчин; дамы бросали на них взгляды с противоположной стены, казалось, что все пространство дома взято под прицел.

— Это мой дядя, — показал садовник на господина с дюжиной медалей на молодецкой груди, держащего фуражку с малиновым околышем, как арбуз на согнутой руке. — В войну показал себя отменным храбрецом!..

Тема не стал спрашивать — в какую войну. Войн так много, что дяде-храбрецу есть, где заработать медали.

— Сейчас будем пить чай, — сказала Граня. — Вот только подкладку починю…

— Спасибо, мне пора… Занят… Жара-то, жара-то стоит какая! — садовник не пояснил, как зной влияет на его занятость, скорее всего, он понял, что никакой выпивки не намечается, и ушел, потоптавшись с минуту у двери: может, окликнут? Может, поймут, что в зной хорошо пьется кисловатое каберне, не помешает и прозрачный прохладный рислинг… Даже портвейны годятся в такую погоду, если они не теплые… А они не теплые!.. Некоторые борются с жарой даже капелькой водки, а если она со льда, то можно и больше…

Но никто его не окликнул, не позвал, и он ушел.

Граня взяла с тумбочки небольшой сундучок, открыла, в нем оказались иголки, нитки, пуговицы.

— Помнишь, мы купили его с тобой в Альбене? — спросила она.

— Конечно, помню, — сказал он, но не вспомнил. В памяти возникло только море, замок, где давным-давно коротала дни какая-то королева, аллея над морем, водопад — и больше ничего…

Граня вдела нитку в иголку, взялась за коварную подкладку. Сделала несколько стежков, остановилась.

— Здесь еще что-то есть, — сказала она, — сейчас достану…

Тему кольнуло предчувствие.

Граня извлекла на свет жемчужину — ту самую.

Тема готов был сквозь землю провалиться.

— Конечно же… — начал он, — это шутка…

Граня вздохнула:

— Хорошо, что она нашлась, теперь на обоих рукавах будет жемчужин поровну…

— Извини, что так вышло, — Тема все старался объяснить необъяснимое, но она, казалось, не слышала его.

— Я тогда так переживала, думала, не будет ли это вредно для твоего здоровья, — сказала она. — А теперь вот все прояснилось.

«Но ведь это не я, это Тима такой финт выкинул, — вспомнил он. — Я не испугался бы выпить с жемчужиной, и не такое приходилось пить…»

И тут же выплыло другое: «А разве Тима — это не я?.. Другой?.. Но кто?..»

— Вот, готово! — протянула она ему пиджак. — Намертво пришито, больше ничего не завалится.

Он хотел сказать «Хорошо ли это, что не завалится?», но промолчал.

Она подошла к нему, положила руки на плечи, проговорила негромко:

— Знаешь, у меня иногда такое чувство, что все мы живем еще где-то… Что всем нам дано несметное количество жизней, и мы переносимся из одной в другую, не зная об этом. Скажем, днем находимся здесь, а ночью совсем в другом месте. Или наоборот, днем там, а ночью здесь… И для нас реальна только та жизнь, в которой мы находимся в этот момент, а уже через секунду станет реальностью другая жизнь, а предыдущая будет забыта… У тебя так не бывает?..

Он промолчал, поцеловал ее в щеку. Под кометой, летящей слева направо, он имел на это право.

— Но иногда эти никогда не соприкасающиеся наши жизни сближаются, и мы ощущаем странную раздвоенность, разтроенность…

— Разчетверенность, — пошутил он.

— Не смейся, я серьезно…

— И я всерьез, — сказал он. — Не могу отделаться от ощущения, что многое в моей жизни было не со мной, или я — это совсем не я… Но кто же тогда я?.. В общем, под-

сознательные фантазии на тему «а что бы случилось, если бы я вчера сел не на третий трамвай, а на пятый?»

— Вот-вот! — подхватила она. — Я где-то слышала, что иногда нас одолевают воспоминания о непрожитых жизнях… Только, думаю, что это все-таки воспоминания о жизнях проживаемых, но не здесь…

Она умолкла на минуту, потом продолжила:

— Сегодня утром разговорилась с женщиной в автобусе, имя у нее запоминающееся — Фаня — и она рассказала, что ее муж работает в универсальном магазине, в отделе моющих средств, но иногда по утрам представляет себя писателем, считает, что он автор многих книг, и тогда уходит бродить по городу якобы в поисках новых образов, не затертых слов, не приевшихся сюжетов… Он и правда иногда что-то пишет в общую ученическую тетрадку, но за тридцать последних лет он вырвал из нее больше страниц, чем написал слов… Она потихоньку от него обращалась к специалистам, но они не нашли у него отклонений…в общем, сказали, что лекарств ему не надо.

— Как ее зовут? — деревянным языком спросил Тема.

— Фаня…

— Она белье везла?..

— Да, точно… Я обратила внимание, что у нее кипы пододеяльников, простыни, наволочки… Она сказала, что на фабрике надомного труда работает… Ты тоже ее видел?..

— Сегодня… сегодня видел утром, — сказал он. — А насчет лекарств она не права — нам всем не обойтись без лекарств…

И в эту самую секунду Тема вспомнил, что Фаня поручила ему купить аспирину, а он прошел беспечно мимо аптеки, не вспомнил о ее просьбе… Не сойдет ему это с рук!

И тут же на глаза попалась картонная коробка, в которой ворохом лежали пирамидоны, бинты, лейкопластыри. Граня перехватила его взгляд:

— Тебе аспирину нужно? У меня тоже голова сегодня плохая… Дай и мне таблетку…

Он принес ей таблетку, налил в стакан воды из графина, а оставшуюся пачку аспирина сунул в карман пиджака — теперь за подкладку ничего не завалится.

Она поцеловала его, произнесла негромко:

— Лето такое короткое в нынешнем году… А дни тянутся долго… долго…

— Да, я заметил, — сказал он, томясь; за подкладкой нашлась не жемчужина, его собственная неизвестная жизнь.

— Такое же было в восемьдесят первом году, — продолжила она. — Лето просто промелькнуло, а дни наоборот казались бесконечными… Так бывает в особенно счастливые годы. Или в особенно несчастливые. В один из дней…кажется в июле…

— День как день, да год не тот… — перебил он ее.

— Точно, это было в июле, — пропустила она мимо ушей его любимую поговорку. — Каждый день тогда полыхали короткие грозы, после которых поднимались разноцветные арки радуг, и ребятня выбегала из домов, носилась по теплым лужам, поднимая брызги выше головы. Погода стояла необыкновенно теплая, тихая, безветренная. После полудня чуть не весь город тянулся к реке — купаться, загорать. А мы жили тогда неподалеку от Ханской рощи… Я тебе никогда не рассказывала об этом…

— Не рассказывала… — как эхо повторил он.

— Там на обрывистом берегу Чагана рос огромный осокорь, — продолжила она, и непонятно было — решила она просто напомнить ему давнюю историю или добавить к ней нечто, еще неизвестное ему, что она сама только сейчас вспомнила. — Этому черному тополю, наверное, сто лет было, и он протягивал свои огромные ветки чуть не до середины речки. Мы привязывали к этим ветвям длинные качели, очень длинные, и только самые отважные решались промчаться на них над самой водой, а потом подняться на двадцатиметровую высоту, а потом опять к реке, и опять вверх — над берегом… И так несколько раз — пять, десять… Дух захватывало от этого сумасшедшего маятника.

Компания собиралась большая — девчонки, мальчишки… Даже взрослые приходили посмотреть на смельчаков, раскачивавшихся на гигантских качелях. Если начиналась гроза, то все разбегались, но стоило дождю кончиться, как опять собирались любители острых ощущений. Потом стали притаскивать магнитофон, загромыхали рок-н-роллы, девчонки постарше придумали танцевать, мальчишки иногда решались их приглашать, в общем, организовался целый клуб «У черного тополя». Мальчишки, как водится, выделывались друг перед дружкой, девчонки восторгались теми, кто выше всех взлетал на качелях — к самой кроне осокоря, влюблялись, вздыхали, писали записочки; тогда принято было писать анонимные записочки с назначением свиданий. На свидания девчонки не ходили, посылали подружек посмотреть — пришел ли мальчишка. Если пришел, то — победа, праздник, торжество, если не пришел — дурак, урод жизни, не очень-то и хотелось.

Был там тогда один, которого прозвали Чемпионом. Мне он очень нравился. Высокий, стройный, загорелый. А еще быстрый, смелый, грубоватый. Он был лучше всех! Кто из девчонок не грезил о таком в пятнадцать лет?.. Когда он заговаривал со мной, у меня начинала кружиться голова. А когда он взлетал на качелях над Чаганом, мне хотелось стать его парашютом, если он вдруг сорвется, — и спасти его. Многие девчонки сохли по нему тем летом, а он, неприступный, упивался своим превосходством. Мне иногда казалось, что он влюблен в меня, а иногда, что он не сводит глаз с Лизки, которую все звали Лохматой, потому, что ее рыжие вихры всегда находились в диком беспорядке. С Чемпионом мы целовались по вечерам все в той же Ханской роще, с Лохматой же он ходил на последний сеанс в кинотеатр «Летний».

В меня были влюблены тогда несколько мальчишек. Это приятно, когда тебя любят, или хотя бы думают, что любят. Время было такое, лето такое, такой июль, что все были влюблены, все. Среди них самым смешным мне казался белобрысый лопоухий парнишка, уши которого на солнце наливались всеми оттенками малинового цвета.

Он был неуклюж, ненаходчив, да еще и трусоват к тому же. Он ни разу не решился забраться на деревянное сидение качелей, хотя должно быть очень хотел попасть в число презревших опасность сорваться и разбиться в дребезги, но страх был сильнее этого желания. Однажды я видела, как во время грозы, когда у осокоря никого не было, он, мокрый до нитки, подтянул качели к себе, натянул веревки, как вожжи, дернул несколько раз, словно погоняя старый тополь, или испытывая веревки на прочность, но так и не решился отправиться в полет над речкой. Видно было, что он расстроился, пнул ногой ствол, бросил качели и понуро ушел прочь. Вспышки молний на мгновение превращали его алые уши в сиреневые, и это было похоже на мигание светофора, и я невольно рассмеялась…

— Да, смешно, — согласился Тема.

— В детстве мы все жестоки, — продолжила она, — а потом это чаще всего проходит… Мне этот мальчишка даже нравился. Может быть, больше, чем нравился…

Она вздохнула:

— В тот злополучный день Чемпион творил качельные чудеса, взлетал к самым грозовым тучам. Я смотрела на него с восхищением. Белобрысый тоже был там, поглядывал настороженно. Какая-то борьба происходила в нем. И тогда меня как будто кто-то подтолкнул.

«А тебе слабо так? — крикнула я ему. — Попробуй хоть разочек!.. Не дрейфь!..»

Чемпион захохотал откуда-то из поднебесья…

— А ты награду назначь! — предложил он. — Поцелуй за смелость!..

Кто-то управлял в тот день моими поступками, и я крикнула на всю рощу:

— Ну, давай, покажи, на что способен!.. Обещаю — поцелую тебя!.. Трусишь?..

— Я? — тихо спросил он. — Я — трушу?..

— Не я же! — на лету обронил Чемпион.

Белобрысый шагнул вперед, к самому обрыву, встал, как на расстрел.

Чемпион слез с качелей, протянул ему деревянное сидение. Тот взял, поправил веревки, посмотрел на узлы, прищурился, как будто прицелился.

«Время тянешь? — поторопила его я. — Мне что-то целоваться хочется…».

Он еще раз посмотрел на узлы.

«Ну? — сказала я. — Труса празднуешь!..»

Он словно окаменел.

«Ну! Ну!» — кричала я.

Он оттолкнул от себя качели, повернулся ко мне, сказал с надрывом:

— Дура ты! Не дешево ли просишь за поцелуи?..

Он, наверное, хотел еще что-то сказать, но все закричали: «Слабак!.. Обделался!.. Поджилки затряслись!..» Кричали громче всех те, кто и сам ни разу не решился на полет над Чаганом.

Он побледнел, сжал кулаки, словно собираясь драться с нами всеми. Мне стало нестерпимо жалко его, жалко до слез. Но было поздно…

У него на глаза тоже навернулись слезы, он отвернулся и побежал в рощу… Побежал, не разбирая дороги, словно хотел убежать от нас навсегда… Хотел он этого или нет, но вышло именно так — больше никогда в жизни я не видела его. Говорили, что он перевелся в другую школу, или даже уехал из города… Но мои приключения в этот день только начинались… начинались… Я навсегда запомнила этот день…

Тема потрясенно смотрел на нее. Она, точно она!.. Столько лет он рядом с ней, но не смог узнать в ней ту жестокую девочку…

«Как ветки хлестали меня по лицу, как петляла тропинка в роще! — подсказала память.— Несколько раз, поскользнувшись на влажной траве, я падал, едва не сорвался с обрыва в реку… Ударила очередная гроза. Я ходил по лесу от дерева к дереву, сам не зная зачем. Злые слезы смешивались с дождевой водой, все было утрачено. Именно все — и первая любовь тоже.

Как я любил ее! Если она улыбалась — я хохотал. Если она хмурилась — я готов был заплакать. Однажды мы с ней переплыли Чаган, чтобы на бахчах полакомиться цветами тыквы — медовый вкус был у этих ярко-желтых цветов, но и достаться за них могло от сторожа по первое число. На той стороне реки было много паслена, подсолнухов, даже малина водилась, и время от времени чаганские мальчишки, да и девчонки от них не отставали, совершали на бахчи набеги. В этот раз мы отправились вдвоем. Сторож, наверное, спал в своем шалаше, потому, что мы набрали и гороха, и вороняшки, и даже малины.

— Мы — пираты! Страшные пираты! — тихо смеялась она. — Гроза морей, бахчей и рек!..

И, вдруг, появился сторож, грозный цербер зеленых грядок. Мы нырнули в заросли подсолнухов. Цербер с берданкой наперевес шел на нас, как в знаменитой «психической» атаке из кино про Чапая. Мы бросились наутек, но он нас, кажется, не заметил. Пока он обходил дозором бахчи, мы боялись дышать — мало ли чего у него на уме? Он ушел, и мы перевели дух. Тут я взглянул на свою сообщницу по набегу на горох и вороняшку. Он стояла рядом с подсолнухом — всклокоченная, с поцарапанными коленками, но с сияющими глазами, улыбкой — от уха до уха, и сама казалось большим подсолнухом — в ярко-желтой, цветущей короне.

— Чего ты? — перехватила она мой взгляд.

Я не умел тогда говорить про любовь и промолчал. Но такую ее — полуденную, подсолнечную, золотую, — я запомнил навсегда…

И вот все прошло… Я не очень хорошо помню, что было дальше… Кажется, гроза в этот день была просто ужасной, молнии сверкали беспрестанно. А дождя почти не было. Мое бесцельное и отчаянное кружение вынесло меня к памятнику, установленному на месте первомайской революционной маевки 1905 года; молнии электрическими змеями обвивали обелиск и шипели. Серый бетон памятника был расписан разноцветными строчками, типа «Я здесь был», «Люся + Еся», «Любовь без радо-

сти была…». Я почему-то подумал, что, может быть, через тридцать лет, или полвека, или век, — только этот памятник и будет напоминать о моей любви, а не о революционных событиях. Или вообще о любви, не обязательно моей. Это меня почему-то немного успокоило. Я нашел уголек и добавил свою надпись: «Ехал Грека через реку…», — какой Грека, через какую реку? — мне это было безразлично. Написал первое, что пришло в голову, не думая, что уже следующий дождь смоет моего Греку. А, может, и не смоет.

Наконец, я решил отправиться домой — мокрый и несчастный.

Я вышел на обрыв, где высился черный тополь. Ни души не было здесь. В эту секунду молния ударила в самую макушку осокоря. Вспыхнула и тут же погасла влажная листва, вспыхнули и веревки качелей, и тоже погасли с шипением, только черная опалина осталась на стволе дерева. И тотчас гроза стала стихать, откатываться к Уралу — к самому Жемчужному яру. Я подумал, что теперь, должно быть, еще опаснее раскачиваться на подгорелой веревке, что нужно предупредить об этом ребят… Но злорадно представил, как сорвется в воду Чемпион, как будет похож на мокрую курицу — и пошел дальше. Пусть он грохнется! Пусть!..

И тут же в зарослях тальника мелькнула коричневая курточка. Ее курточка.

— Ау-у-у-у-у! — кричала она. — Не дури! Я знаю, что ты здесь!.. Тут дорога одна, ты не проходил по ней назад… Не дури!.. Выходи!..

Я замер, спрятался за стволом старой липы. Теперь ничто на свете не заставило бы меня показаться ей на глаза.

— Ну, извини!.. — кричала она на всю рощу, и эхо носило между деревьев:

— …вини, вини…вини…

Она пошла на поляну, где стоял обелиск, обошла памятник вокруг, как будто я скрывался за ним, и двинулась к берегу Урала, туда, где в него впадает Чаган. Крадучись, я двинулся за ней.

— Ну, покажись! — закричала она. — Хватит уже прятаться… Не будь же ребенком!..

Я молчал.

Дождь кончился, она вернулась к обелиску, нашла кусок угля и написала что-то на памятнике. Когда она ушла, я прочитал написанное: «Дурак, буду ждать тебя вечером в 8 часов у «Летнего, обязательно приходи!»

…Я приходил и в восемь, и в десять вечера. Приходил и на другой день, и на третий… Напрасно… А потом наша семья переехала в Саратов… Я вернулся назад только через двенадцать лет. Искал ее, но не нашел…

— Что же было дальше? — Тема очнулся от воспоминаний. — Ты прервала свой рассказ, сказав, что на этом твои приключения не закончились…

— Нет, не закончились, — продолжила она. — Еще не кончился дождь, а я уже вернулась в Ханскую рощу… Я кричала, звала его, но он не откликнулся… Тогда я оставила ему записку на монументе, вернулась к обрыву. Когда гроза кончилась, наша компания опять собралась у качелей. Не было только его…

И куда-то пропало обычное бесшабашное настроение, никто не смеялся, никто не танцевал. Никто не качался на качелях.

— Чего приуныли? — спросила я. Мне и самой почему-то было не до веселья.

Все промолчали.

Я подошла к качелям, уселась на сиденье:

— Что, желающих нет?..

Ребята что-то промямлили. Тогда я решилась:

— Ну, ладно, подтолкните!..

Никто даже не пошевелился.

Я оттолкнулась от земли, и огромный маятник понес меня над лесом, водой, потом — к небу, где ветер разгонял остатки грозовых туч, и снова вниз — над водой, над поляной…

Веревка оборвалась, когда я в третий или четвертый раз проносилась над поляной. Меня швырнуло в заросли тальника, и, наверное, это спасло мне жизнь. Но удар был

страшный, я сразу потеряла сознание. В памяти осталась только разноголосица друзей, вдруг слившаяся в единый пронзительный вскрик.

Я очнулась в больничной палате спустя двое суток… Но потом еще три бесконечных года я была прикована к постели, да вот этому креслу… Я училась заново стоять, ходить… Помнишь, Тима, когда мы познакомились с тобой, ты удивлялся моей чрезвычайно ровной походке, спрашивал, в какой балетной школе я училась?..

— Да, — промямлил Тема, — прямая спина, строгий взгляд…

— Так вот, я училась в третьей травматологии… А учили меня хирурги, санитарки, да еще гипсовые корсеты, всевозможные приспособления…

— А я ничего этого не знал, — сказал Тема. — Ничего…

Она взглянула на него, продолжила:

— Мне потом пришлось заново учиться жить. Вот выбрала себе занятие по возможностям — фотографию…

— Ничего… ничего, — повторял Тема.

— Ну, что ты, милый, заладил? — улыбнулась она. — Совсем ни к чему это было знать тебе… Все было давным-давно, и все прошло…

— Ничего не прошло! — закричал он. — Я знал про веревки… Но не сказал… Я виноват… Это же я!.. Это я!.. Посмотри на меня!..

— Успокойся, милый! — подошла она к нему, прикоснулась к его руке. — Никто не виноват больше меня самой…

— Я виноват!..

Она поцеловала его:

— Как ты можешь быть виноватым, в том, что произошло за много лет до нашего с тобой знакомства?.. Не нервничай, не кричи — тебе это совсем не идет…

— Так посмотри внимательнее на меня!.. Вот мои уши, они на солнце всегда красные…

Она засмеялась:

— При чем тут уши? У всех людей, по-моему, уши на солнце, как красные сигналы светофоров…

— Это мне ты написала послание на памятнике… — Тема начал было объяснять ей, что это именно он несколько вечеров ждал ее у «Летнего», что он отказался от полета на качелях, но замолк на полуслове — разве он Тима? Не Тема?.. И это тоже нужно ей объяснить?..

Он понял, что она не впустит к себе эту правду, да и правда ли это?

— Успокоился? Вот и чудесно!.. — Граня опустилась в свое ротанговое кресло. — Скоро землемеры должны прийти. У них какой-то землемерный конгресс или симпозиум, и они хотят сняться на память…

— Разве еще не все обмеряли? — спросил он.

— Ты сегодня такой странный, — улыбнулась она. — Как в тот день, когда впервые пришел сюда…

— Я тогда заблудился, кажется… — память опять вытолкнула на поверхность то, что с ним никогда не происходило.

— Точно заблудился! — подсказала она. — Искал аптеку… А нашел фотографию… Нашел меня… Тебя жена тогда послала за аспирином — у нее голова болела, а ты пришел сюда… Странно, странно в жизни устроено все. Но как все-таки хорошо!.. Правда?..

— Да, — сказал он. — Вот и сегодня я прошел мимо аптеки…

В дверь осторожно постучали.

— Садовник таким деликатным делается, когда ты бываешь здесь, — сказала она. — Наверное, землемеры пришли… Ты, дорогой, сегодня останешься, или тебе пора?..

— Пора… сегодня…. Задержался, — кое-как повернулся сухой язык. — Граня…

— Я понимаю все, понимаю… Пока, милый!..

— Как раз траншею закопали, — сказал садовник, просунув голову в дверь. — Можно пройти через калитку…

— Я пошел? — спросил Тема.

— Конечно, — откликнулась она. — Конечно…

— Я вернусь, — сказал он. Дал обещание.

— Да… — подняла она на прощанье руку; по пять жемчужин матово светились на рукавах ее платья.

Он вышел из дома, двинулся к выходу из сада; ему показалось, что яблони ветвями потянулись к нему. А больше всех та, которую они посадили вместе с Граней. Когда посадили, зачем? «Так и не расспросил, что там связано с посадкой этой яблони, — мелькнуло в голове, — ну, ничего, в следующий раз узнаю».

Он никогда не верил этим «следующим разам», чаще всего их не случалось, но иначе успокоить свою совесть не мог.

Он вышел из сада, пройдя под деревянной аркой покосившихся ворот и как обычно попал почти на самую Фурмановскую… До Театральной он шел и не разу не оглянулся, потом посмотрел назад коротко, через плечо. Солнечные блики стеклянной крыши «Модерна» ослепили его, и он не сумел рассмотреть, как чья-то рука у старых ворот перекрестила его. Затем он свернул налево и опять вышел на Советскую, и через десять минут был дома.

Фаня утопала в лавине пододеяльников, труженица.

— Это я, — сказал он.

— Правда? Важная новость. А мы думали, что сегодня не ты, а сивый мерин придет…

Нет, не любила она его…

Она выключила машинку, повернулась к нему.

— Пока ты шлялся где-то, Земле нашей кашпец пришел, полная амба! — сказала она злорадно, как будто на этой Земле жил он один, и вот теперь вместе с этой одинокой Землей и ему наконец наступит крышка. — Ученые все время по телеку выступают, рассказывают, что после уточнения траектории движения кометы оказалось, что она, комета эта, встретится с Землей через 16 лет… Как говорится, бах — трарарах!..

Он подошел к форточке: так и есть, хвост небесной скалы указывал справа налево.

— Но ведь еще сегодня утром хвост указывал направо, — сказал он Фане растерянно, — а теперь наоборот… Разве кометы могут поворачивать назад?..

Она вытерла кулаком непрошенную слезу:

— Вот они-то оказывается, могут. Мы — нет…

Она включила телевизор, и тут же на экране появился какой-то встревоженный очкарик:

— Скорее всего, Землю ожидает нелегкое испытание…некоторые ученые считают, что… мощные наводнения, землетрясения…двадцатиметровые волны…

Тема вспомнил сон про потоп, обелиск с надписью «Дурак, буду ждать тебя…», -

и похолодел.

Он еще раз — осторожно, не спеша, — а вдруг все изменится? — взглянул на небо: хвостатая звездочка упорно склонялась слева направо.

— Что же теперь будет? — спросила у него Фаня. — Конец света, что ли? Конец?..

И впервые она выглядела растерянной

Он пожал плечами: наверное,… конец…

— Наверное, наверное! — закричала она. — Хоть что-нибудь ты можешь знать точно?.. Ах, как болит голова!..

Она, вдруг, вспомнила что-то, сказала почти спокойно:

— Аспирин принес?..

Он пошарил в кармане и протянул ей пачку. Лекарство из другого мира…

Поможет?..

15. 10. 2009-10-15
Минск — Астана